

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://chekhovanton.ru/> Приятного чтения!

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов

Сапоги

Фортипианный настройщик Муркин, бритый человек с желтым лицом, табачным носом и с ватой в ушах, вышел из своего номера в коридор и дребезжащим голосом прокричал:

– Семен! Коридорный!

И, глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка или что он только что у себя в номере увидел привидение.

– Помилуй, Семен! – закричал он, увидев бегущего к нему коридорного. – Что же это такое? Я человек ревматический, болезненный, а ты заставляешь меня выходить босиком! Отчего ты до сих пор не даешь мне сапог? Где они?

Семен вошел в номер Муркина, поглядел на то место, где он имел обыкновение ставить вычищенные сапоги, и почесал затылок: сапог не было.

– Где ж им быть, проклятым? – проговорил Семен. – Вечером, кажись, чистил и тут поставил... Гм!.. Вчерась, признаться, выпивши был... Должно полагать, в другой номер поставил. Именно так и есть, Афанасий Егорыч, в другой номер! Сапог-то много, а чёрт их в пьяном виде разберет, ежели себя не помнишь... Должно, к барыне поставил, что рядом живет... к актрисе...

– Изволь я теперь из-за тебя идти к барыне, беспокоить! Изволь вот из-за пустяка будить честную женщину!

Вздыхая и кашляя, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал.

– Кто там? – послышался через минуту женский голос.

– Это я-с! – начал жалобным голосом Муркин, становясь в позу кавалера, говорящего с великосветской дамой. – Извините за беспокойство, сударыня, но я человек болезненный, ревматический... Мне, сударыня, доктора велели ноги в тепле держать, тем более, что мне сейчас нужно идти настраивать рояль к генеральше Шевелицыной. Не могу же я к ней босиком идти!..

– Да вам что нужно? Какой рояль?

– Не рояль, сударыня, а в отношении сапог! Невежда Семен почистил мои сапоги и по ошибке поставил в ваш номер. Будьте, сударыня, столь достолюбезны, дайте мне мои сапоги!

Послышалось шуршанье, прыжок с кровати и шлепанье туфель, после чего дверь слегка отворилась и пухлая женская ручка бросила к ногам Муркина пару сапог. Настройщик поблагодарил и отправился к себе в номер.

– Странно... – пробормотал он, надевая сапог. – Словно как будто это не правый сапог. Да тут два левых сапога! Оба левые! Послушай, Семен, да это не мои сапоги! Мои сапоги с красными ушками и без латок, а это какие-то порванные, без ушек!

Семен поднял сапоги, перевернул их несколько раз перед своими глазами и нахмурился.

– Это сапоги Павла Александрыча... – проворчал он, глядя искоса.

Он был кос на левый глаз.

– Какого Павла Александрыча?

– Актера... каждый вторник сюда ходит... Стало быть, это он вместо своих ваши надел... Я к ней в номер поставил, значит, обе пары: его и ваши. Комиссия!

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Так поди и перемени!

– Здравствуйте! – усмехнулся Семен. – Поди и перемени... А где ж мне взять его теперь? Уж час времени, как ушел... Поди, ищи ветра в поле!

– Где же он живет?

– А кто ж его знает! Приходит сюда каждый вторник, а где живет – нам неизвестно. Придет, переночует, и жди до другого вторника...

– Вот видишь, свинья, что ты наделал! Ну, что мне теперь делать! Мне к генеральше Шевелицыной пора, анафема ты этакая! У меня ноги озябли!

– Переменить сапоги недолго. Наденьте эти сапоги, походите в них до вечера, а вечером в театр... Актера Блистанова там спросите... Ежели в театр не хотите, то придется до того вторника ждать. Только по вторникам сюда и ходит...

– Но почему же тут два левых сапога? – спросил настройщик, брезгливо берясь за сапоги.

– Какие бог послал, такие и носит. По бедности... Где актеру взять?.. «Да и сапоги же, говорю, у вас, Павел Александрыч! Чистая срамота!» А он и говорит: «Умолкни, говорит, и бледней! В этих самых сапогах, говорит, я графов и князей играл!» Чудной народ! Одно слово, артист. Будь я губернатор или какой начальник, забрал бы всех этих актеров – и в острог.

Бесконечно кряхтя и морщась, Муркин натянул на свои ноги два левых сапога и, прихрамывая, отправился к генеральше Шевелицыной. Целый день ходил он по городу, настраивал фортепиано, и целый день ему казалось, что весь мир глядит на его ноги и видит на них сапоги с латками и с покривившимися каблуками! Кроме нравственных мук, ему пришлось еще испытать и физические: он натер себе мозоль.

Вечером он был в театре. Давали «Синюю Бороду» [1]. Только перед последним действием, и то благодаря протекции знакомого флейтиста, его пустили за кулисы. Войдя в мужскую уборную, он застал в ней весь мужской персонал. Одни переодевались, другие мазались, третьи курили. Синяя Борода стоял с королем Бобешем и показывал ему револьвер.

– Купи! – говорил Синяя Борода. – Сам купил в Курске по случаю за восемь, ну, а тебе отдам за шесть... Замечательный бой!

– Поосторожней... Заряжен ведь!

– Могу ли я видеть господина Блистанова? – спросил вошедший настройщик.

– Я самый! – повернулся к нему Синяя Борода. – Что вам угодно?

– Извините, сударь, за беспокойство, – начал настройщик умоляющим голосом, – но, верьте... я человек болезненный, ревматический. Мне доктора приказали ноги в тепле держать...

– Да вам, собственно говоря, что угодно?

– Видите ли-с... – продолжал настройщик, обращаясь к Синей Бороде. – Того-с... эту ночь вы изволили быть в меблированных комнатах купца Бухтеева... в 64 номере...

– Ну, что врать-то! – усмехнулся король Бобеш. – В 64 номере моя жена живет!

– Жена-с? Очень приятно-с... – Муркин улыбнулся. – Оне-то, ваша супруга, собственно мне и выдали ихние сапоги... Когда они, – настройщик указал на Блистанова, – от них ушли-с, я хватился своих сапог... кричу, знаете ли, коридорного, а коридорный и говорит: «Да я, сударь, ваши сапоги в соседний номер поставил!» Он по ошибке, будучи в состоянии опьянения, поставил в 64 номер мои сапоги и ваши-с, – повернулся Муркин к Блистанову, – а вы, уходя вот от ихней супруги, надели мои-с...

– Да вы что же это? – проговорил Блистанов и нахмурился. – Сплетничать сюда пришли, что ли?

– Нисколько-с! Храни меня бог-с! Вы меня не поняли-с... Я ведь насчет чего? Насчет сапог! Вы ведь изволили ночевать в 64 номере?

– Когда?

– В эту ночь-с.

– А вы меня там видели?

– Нет-с, не видел-с, – ответил Муркин в сильном смущении, садясь и быстро снимая сапоги. – Я не видел-с, но мне ваши сапоги вот ихняя супруга выбросила... Это вместо моих-с.

– Так какое же вы имеете право, милостивый государь, утверждать подобные вещи? Не говорю уж о себе, но вы оскорбляете женщину, да еще в присутствии ее мужа!

За кулисами поднялся страшный шум. Король Бобеш, оскорбленный муж, вдруг побагровел и изо всей силы ударил кулаком по столу, так что в уборной по соседству с двумя актрисами сделалось дурно.

– И ты веришь? – кричал ему Синяя Борода. – Ты веришь этому негодяю? О-о! Хочешь, я убью его, как собаку? Хочешь? Я из него бифштекс сделаю! Я его размозжу!

И все, гулявшие в этот вечер в городском саду около летнего театра, рассказывают теперь, что они видели, как перед четвертым актом от театра по главной аллее промчался босой человек с желтым лицом и с глазами, полными ужаса. За ним гнался человек в костюме Синей Бороды и с револьвером в руке. Что случилось далее – никто не видел. Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, две недели лежал больной и к словам «я человек болезненный, ревматический» стал прибавлять еще «я человек раненый»...

Моя «она»

Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь; я тоже не выказываю поползновения удрать от нее, – связь, стало быть, крепкая, прочная... Но не завидуйте, юная читательница!.. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя «она», не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой... Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом... По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Всё, всё пожирает она, ненасытная! Я ненавижу ее, презираю... Давно бы пора развестись с ней, но не развелся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод четыре тысячи... Детей у нас пока нет... Хотите знать ее имя? Извольте... Оно поэтично и напоминает Лилию, Лелю, Нелли...

Ее зовут – Лень.

Нервы

Дмитрий Осипович Ваксин, архитектор, воротился из города к себе на дачу под свежим впечатлением только что пережитого спиритического сеанса. Раздеваясь и ложась на свое одинокое ложе (мадам Ваксина уехала к Троице), Ваксин стал невольно припоминать всё слышанное и виденное. Сеанса, собственно говоря, не было, а вечер прошел в одних только страшных разговорах. Какая-то барышня ни с того ни с сего заговорила об угадывании мыслей. С мыслью незаметно перешли к духам, от духов к привидениям, от привидений к заживопогребенным... Какой-то господин прочел страшный рассказ о мертвце, перевернувшемся в гробу. Сам Ваксин потребовал блюдечко и показал барышням, как нужно беседовать с духами. Вызвал он, между прочим, дядю своего Клавдия Мироновича и мысленно спросил у него: «Не пора ли мне дом перевести на имя жены?» – на что дядя ответил: «Во благовремени всё хорошо».

«Много таинственного и... страшного в природе... – размышлял Ваксин, ложась под

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
одеяло. – Страшны не мертвецы, а эта неизвестность...»

Пробило час ночи. Ваксин повернулся на другой бок и выглянул из-под одеяла на синий огонек лампадки. Огонь мелькал и еле освещал киот и большой портрет дяди Клавдия Мироныча, висевший против кровати.

«А что, если в этом полумраке явится сейчас дядина тень? – мелькнуло в голове Ваксина. – Нет, это невозможно!»

Привидения – предрассудок, плод умов незрелых, но, тем не менее, все-таки Ваксин натянул на голову одеяло и плотнее закрыл глаза. В воображении его промелькнул перевернувшийся в гробу труп, заходили образы умершей тещи, одного повесившегося товарища, девушки-утопленницы... Ваксин стал гнать из головы мрачные мысли, но чем энергичнее он гнал, тем яснее становились образы и страшнее мысли. Ему стало жутко.

«Чёрт знает что... Боишься, словно маленький... Глупо!»

«Чик... чик... чик», – стучали за стеной часы. В сельской церкви на погосте зазвонил сторож. Звон был медленный, заунывный, за душу тянущий... По затылку и по спине Ваксина пробежали холодные мурашки. Ему показалось, что над его головой кто-то тяжело дышит, точно дядя вышел из рамы и склонился над племянником... Ваксину стало невыносимо жутко. Он стиснул от страха зубы и притаил дыхание. Наконец, когда в открытое окно влетел майский жук и загудел над его постелью, он не вынес и отчаянно дернул за сонетку.

– Дементрий Осипыч, was wollen Sie?[2] – послышался через минуту за дверью голос гувернантки.

– Ах, это вы, Розалия Карловна? – обрадовался Ваксин. – Зачем вы беспокоитесь? Гаврила мог бы...

– Хаврилу ви сами в город отпустил, а Глафира куда-то с вечера ушла... Никого нет дома... was wollen Sie doch?[3]

– Я, матушка, вот что хотел сказать... Тово... Да вы войдите, не стесняйтесь! У меня темно...

В спальную вошла толстая, краснощекая Розалия Карловна и остановилась в ожидательной позе.

– Садитесь, матушка... Видите ли, в чем дело... – «О чем бы ее спросить?» – подумал Ваксин, косясь на портрет дяди и чувствуя, как душа его постепенно приходит в покойное состояние. – Я, собственно говоря, вот о чем хотел просить вас... Когда завтра человек отправится в город, то не забудьте приказать ему, чтобы он... тово... зашел гильз купить... Да вы садитесь!

– Гильз? Хорошо! was wollen Sie noch?[4]

– Ich will...[5] ничего я не will, но... да вы садитесь! Я еще что-нибудь надумаю...

– Неприлично девице стоять в мужчинской комнат... Ви, я вижу, Дементрий Осипыч, шалюн... насмешкин... Я понимаю... Из-за гильз шеловека не будят... Я понимаю...

Розалия Карловна повернулась и вышла. Ваксин, несколько успокоенный беседой с ней и стыдясь своего малодушия, натянул на голову одеяло и закрыл глаза. Минут десять он чувствовал себя сносно, но потом в его голову полезла опять та же чепуха... Он плюнул, нащупал спички и, не открывая глаз, зажег свечу. Но и свет не помог. Напуганному воображению Ваксина казалось, что из угла кто-то смотрит и что у дяди мигают глаза.

– Позвоню ей опять, чёррт бы ее взял... – порешил он. – Скажу ей, что я болен... Попрошу капель.

Ваксин позвонил. Ответа не последовало. Он позвонил еще раз, и словно в ответ на его звон, зазвонили на погосте. Охваченный страхом, весь холодный, он выбежал опрометью из спальни и, крестясь, браня себя за малодушие, полетел босой и в одном нижнем к комнате гувернантки.

– Розалия Карловна! – заговорил он дрожащим голосом, постучавшись в дверь. – Розалия Карловна! Вы... спите? Я... тово... болен... Капель!

Ответа не последовало. Кругом царила тишина...

– Я вас прошу... понимаете? Прошу! И к чему эта... щепетильность, не понимаю, в особенности, если человек... болен? Какая же вы, право, цирлих-манирлих. В ваши годы...

– Я вашей жена буду говорил... Не дает покой честный девушк... Когда я жил у барон Анциг и барон захотел ко мне приходиться за спишки, я понимаю... я сразу понимаю, какие спишки, и сказала баронесс... Я честный девушк...

– Ах, на какого чёрта сдалась мне ваша честность? Я болен... и капель прошу. Понимаете? Я болен!

– Ваша жена честный, хороший человек, и вы должны ее любить. Ja! [6] Она благородный! Я не желаю быть ее враг!

– Дура вы, вот и всё! Понимаете? Дура!

Ваксин оперся о косяк, сложил руки накрест и стал ждать, когда пройдет его страх. Вернуться в свою комнату, где мелькала лампадка и глядел из рамы дядюшка, не хватало сил, стоять же у дверей гувернантки в одном нижнем платье было неудобно во всех отношениях. Что было делать? Пробыло два часа, а страх всё еще не проходил и не уменьшался. В коридоре было темно и из каждого угла глядело что-то темное. Ваксин повернулся лицом к косяку, но тотчас же ему показалось, что кто-то слегка дернул его сзади за сорочку и тронул за плечо...

– Чёрт подери... Розалия Карловна!

Ответа не последовало. Ваксин нерешительно открыл дверь и заглянул в комнату. Добродетельная немка безмятежно спала. Маленький ночник освещал рельефы ее плеч, дышащего здоровьем тела. Ваксин вошел в комнату и сел на плетеный сундук, стоявший около двери. В присутствии спящего, но живого существа он почувствовал себя легче.

«Пусть спит, немчура... – думал он. – Посижу у нее, а когда рассветет, выйду... Теперь рано светает».

В ожидании рассвета, Ваксин прикорнул на сундуке, подложил руку под голову и задумался.

«Что значит нервы, однако! Человек развитый, мыслящий, а между тем... чёрт знает что! Совестно даже»...

Скоро, прислушавшись к тихому, мерному дыханию Розалии Карловны, он совсем успокоился...

В шесть часов утра жена Ваксина, воротившись от Троицы и не найдя мужа в спальне, отправилась к гувернантке попросить у нее мелочи, чтобы расплатиться с извозчиком. Войдя к немке, она увидела картину: на кровати, вся раскинувшись от жары, спала Розалия Карловна, а на сажень от нее, на плетеном сундуке, свернувшись калачиком, похрапывал сном праведника ее муж. Он был бос и в одном нижнем. Что сказала жена и как глупа была физиономия мужа, когда он проснулся, предоставляю изображать другим. Я же, в бессилии, слагаю оружие.

Дачники

По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он держал ее за талию, а она жалась к нему, и оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась: вероятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то, по ту сторону рельсов, кричал коростель...

– Как хорошо, Саша, как хорошо! – говорила жена. – Право, можно подумать, что всё это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок! Как милы эти

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
солидные, молчаливые телеграфные столбы! Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там, где-то, есть люди... цивилизация... А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда?

– Да... Какие, однако, у тебя руки горячие! Это оттого, что ты волнуешься, Варя... Что у нас сегодня к ужину готовили?

– Окрошку и цыпленка... Цыпленка нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык.

Луна, точно табуку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами...

– Поезд идет! – сказала Варя. – Как хорошо!

Вдали показались три огненные глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни.

– Проводим поезд и пойдем домой, – сказал Саша и зевнул. – Хорошо нам с тобой живется, Варя, так хорошо, что даже невероятно!

Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи...

– Ах! Ах! – послышалось из одного вагона. – Варя с мужем вышла нас встретить! Вот они! Варенька!.. Варечка! Ах!

Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показались полная пожилая дама и высокий, тощий господин с седыми бачками, потом два гимназиста, навьюченные багажом, за гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка.

– А вот и мы, а вот и мы, дружок! – начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. – Чай, заждался! Небось, бранил дядю за то, что не едет! Коля, Костя, Нина, Фифа... дети! Целуйте кузена Сашу! Все к тебе, всем выводком, и денька на три, на четыре. Надеюсь, не стесним? Ты, пожалуйста, без церемонии.

Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина: он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяла; балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду, кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят, тетушка целые дни толкует о своей болезни (солитер и боль под ложечкой) и о том, что она урожденная баронесса фон Финтих...

И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей:

– Это они к тебе приехали... чёрт бы их побрал!

– Нет, к тебе! – отвечала она, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. – Это не мои, а твои родственники!

И обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой:

– Милости просим!

Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась; казалось, ей было приятно, что у нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение:

– Милости просим! Милости просим, дорогие гости!

Вверх по лестнице

Провинциальный советник Долбоносков, будучи однажды по делам службы в Питере, попал случайно на вечер к князю Фингалову. На этом вечере он, между прочим, к великому своему удивлению, встретил студента-юриста Щепоткина, бывшего лет пять тому назад репетитором его детей. Знакомых у него на вечере не было, и он от скуки подошел к Щепоткину.

- Вы это... тово... как же сюда попали? – спросил он, зевая в кулак.
- Так же, как и вы...
- То есть, положим, не так, как я... – нахмурился Долбоносков, оглядывая Щепоткина.
- Гм... тово... дела ваши как?
- Так себе... Кончил курс в университете и служу чиновником особых поручений при Подоконникове...
- Да? Это на первых порах недурно... Но... ээ... простите за нескромный вопрос, сколько дает вам ваша должность?
- Восемьсот рублей...
- Пф!.. На табак не хватит... – пробормотал Долбоносков, опять впадая в снисходительно-покровительственный тон.
- Конечно, для безбедного прожития в Петербурге этого недостаточно, но кроме того ведь я состою секретарем в правлении Угаро-Дебоширской железной дороги... Это дает мне полторы тысячи...
- Дааа, в таком случае, конечно... – перебил Долбоносков, причем по лицу его разлилось нечто вроде сияния. – Кстати, милейший мой, каким образом вы познакомились с хозяином этого дома?
- Очень просто, – равнодушно отвечал Щепоткин. – Я встретился с ним у статс-секретаря Лодкина...
- Вы... бываете у Лодкина? – вытаращил глаза Долбоносков...
- Очень часто... Я женат на его племяннице...
- На пле-мян-ни-це? Гм... Скажите... Я, знаете ли... тово... всегда желал вам... пророчил блестящую будущность, высокоуважаемый Иван Петрович...
- Петр Иванов...
- То есть, Петр Иванов... А я, знаете ли, гляжу сейчас и вижу – что-то лицо знакомое... В одну секунду узнал... Дай, думаю, позову его к себе отобедать... Хе-хе... Старику-то, думаю, небось не откажет! Отель «Европа», № 33... от часу до шести...

Стража под стражей
(Сценка)

Видали ли вы когда-нибудь, как навьючивают ослов? Обыкновенно на бедного осла валят всё, что вздумается, не стесняясь ни количеством, ни громоздкостью: кухонный скарб, мебель, кровати, бочки, мешки с грудными младенцами... так что навьюченный азинус представляет из себя громадный, бесформенный ком, из которого еле видны кончики ослиных копыт. Нечто подобное представлял из себя и прокурор Хламовского окружного суда, Алексей Тимофеевич Балбинский, когда после третьего звонка спешил занять место в вагоне. Он был нагружен с головы до ног... Узелки с провизией, картонки, жестянки, чемоданчики, бутыл с чем-то, женская тальма и... чёрт знает чего только на нем не было! С его красного лица лился ручьями пот, ноги гнулись, в глазах светилось страдание. За ним с пестрым зонтичком шла его жена Настасья Львовна, маленькая весноватая блондинка с выдающеюся вперед нижнюю челюстью и с выпуклыми глазами – точь-в-точь молодая щука, когда ее тянут крючком из воды... Заняв после долгих странствований по вагонам место и свалив на скамьи багаж, прокурор вытер со лба пот и направился к выходу.

- Куда это ты? – спросила его жена.
- Хочу, душенька, в вокзал сходить... рюмку водки выпить...
- Нечего там выдумывать... Сиди...

Балбинский вздохнул и покорно сел.

– Возьми на руки эту корзину... Тут посуда...

Балбинский взял на руки большую корзину и с тоской взглянул на окно... На четвертой станции жена послала его в вокзал за горячей водой, и тут около буфета он встретился со своим приятелем, товарищем председателя Плинского окружного суда Фляжкиным, уговорившимся вместе с ним ехать за границу.

– Батенька, да что же это такое? – налетел на него Фляжкин. – Ведь это свинство по меньшей мере. Уговорились вместе в одном вагоне ехать, а вас нелегкая в III класс понесла! Зачем вы в III классе едете? Денег у вас нет, что ли?

Балбинский махнул рукой и замигал глазами.

– Мне теперь всё равно... – проворчал он, – хоть на тендере ехать. Гляжу, гляжу да, кажется, кончу тем, что с собой порешу... под поезд брошусь... Вы не можете себе, голубчик, представить, до чего заездила меня моя благоверная! То есть так заездила, что удивительно, как я еще жив до сих пор. Боже мой! Погода великолепная... воздух этот... ширь, природа... все условия для безмятежного жития. Одна мысль, что за границу едем, должна была бы, кажется, приводить в телячий восторг... Так нет! Нужно было злему року навязать мне на шею это сокровище! И ведь какая насмешка судьбы! Нарочно, чтоб избавиться от супруги, придумал я болезнь печенок... за границу хотел удрать... Всю зиму о свободе мечтал и во сне и наяву себя одиноким видел. И что же? Навязалась со мной ехать! Уж я и так и этак – ничего! «Поеду да поеду», хоть ты тресни! Ну, вот, поехали... Предлагаю ехать во II классе... Ни за что! Как это, мол, можно так тратиться? Я ей все резоны представляю... Говорю, что и деньги у нас есть, и престиж наш падет, ежели мы будем в III классе ездить, что и душно, и вонь... не слушает! Бес экономии обуял... Теперь хоть этот багаж взять... Ну для чего мы такую массу с собой тащим? Для чего все эти узелки, картонки, сундучки и прочая дрянь? Мало того, что в багажный вагон десять пудов сдали, мы еще в нашем вагоне четыре скамьи заняли. Кондуктора то и дело просят расчистить место для публики, пассажиры сердятся, она с ними в пререкания вступает... Совестно! Верите ли? В огне горю! А отойти от нее – сохрани бог! Ни на шаг от себя не отпускает. Сиди около нее и на коленях громадную корзину держи. Сейчас вот за горячей водой послала. Ну, прилично ли прокурору суда с медным чайником ходить? Ведь тут в поезде, небось, свидетели и подсудимые мои едут! Пропал к чёрту престиж! А это, батенька, впредь мне наука! Чтоб знал, что значит личная свобода! Иной раз увлечешься и, знаете ли, ни за что ни про что человечину под стражу упечешь. Ну, теперь я понимаю... проникся... Понимаю, что значит быть под стражей! Ох, как понимаю!

– Небось, рады бы пойти на поруки? – усмехнулся Фляжкин.

– С восторгом! Верите ли? При всей своей бедности десять тысяч залога внес бы... Но однако бегу... Небось, уж горячку порет... Быть головомойке!

В Вержболово Фляжкин, гуляя рано утром по платформе, увидел в окне одного из вагонов III класса сонную физиономию Балбинского.

– На минуточку, – закивал ему прокурор. – Моя еще спит, не просыпалась. Когда она спит, я относительно свободен... Выйти-то из вагона нельзя, но зато корзинку можно пока на пол поставить... Хоть за это спасибо. Ах, да! Я вам не говорил? У меня радость!

– Какая?

– Две картонки и один мешочек у нас украли... Все-таки легче... Вчера съели гуся и все пирожки... Нарочно больше ел, чтоб меньше багажа осталось... Да и воздух же у нас в вагоне! Хоть топор вешай... Пфф... Не езда, а чистая мука...

Прокурор повернулся назад и поглядел со злобой на свою спавшую супругу.

– Варварка ты моя! – зашептал он. – Мучительница, Иродиада ты такая! Скоро ли я, несчастный, избавлюсь от тебя, Ксантиппа? [7] Верите ли, Иван Никитич? Иной раз закрою глаза и мечтаю: а что, если бы да кабы она да попала бы ко мне в когти в качестве подсудимой? Кажется, в каторгу бы упек! Но... просыпается... Тссс...

Прокурор в мгновение ока соорудил невинную физиономию и взял на руки корзину.

В Эйдкунене, идя за горячей водой, он глядел веселее.

– Еще две картонки украли! – похвастался он перед фляжкиным. – И уже мы все калачи съели... Все-таки легче...

В Кенигсберге же он совсем преобразился. Вбежав утром в вагон к фляжкину, он повалился на диван и залился счастливым смехом.

– Голубчик! Иван Никитич! Дай обнять! Извини, что я тебе «ты» говорю, но я так рад, так ехидно счастлив! Я сво-бо-ден! Понимаешь? Сво-бо-ден! Жена бежала!

– То есть как бежала?

– Вышла ночью из вагона, и до сих пор ее нет. Бежала ли она, свалилась ли под вагон, или, быть может, на станции где-нибудь осталась... Одним словом, нет ее!.. Ангел ты мой!

– Но послушай же, – встревожился фляжкин. – В таком случае телеграфировать надо!

– Храни меня создатель! То есть так я теперь эту свободу чувствую, что описать тебе не могу! Пойдем по платформе пройдемся... на свободе подышим!

Приятель вышел из вагона и зашагал по платформе. Прокурор шагал и каждый свой вздох сопровождал восклицаниями: «Как хорошо! Как легко дышится! Неужели же есть такие люди, которым всегда так живется?»

– Знаешь что, брат? – решил он. – Я сейчас к тебе в вагон переберусь. Развалимся и заживем на холостую ногу.

И прокурор опрометью побежал в свой вагон за вещами. Минуты через две он вышел из своего вагона, но уже не сияющий, а бледный, ошеломленный, с медным чайником в руках. Он пошатывался и держался за сердце.

– Вернулась! – махнул он рукой, встретив вопросительный взгляд фляжкина. – Оказывается, что ночью вагоны перепутала и по ошибке в чужой попала. Шабаш, брат!

Прокурор остановился веред фляжкиным и вперил в него взгляд, полный тоски и отчаяния. На глазах его навернулись слезы. Минута прошла в молчании.

– Знаешь что? – сказал ему фляжкин, нежно беря его за пуговицу. – Я на твоём месте... сам бы бежал...

– То есть как?

– Беги – вот и всё... А то ведь этак зачахнешь, на тебя гляючи!

– Бежать... бежать... – задумался прокурор. – А ведь это идея! Так я, братец, вот что сделаю: сяду на встречный поезд и айда! Скажу ей потом, что по ошибке сел. Ну, прощай... В Париже встретимся...

Мои жены

(Письмо в редакцию – Рауля Синей Бороды)

Милостивый государь!

Оперетка «Синяя Борода», возбуждающая в Ваших читателях смех и созидающая лавры гг. Лодию, Чернову[8] и проч., не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство это не обида, нет, а сожаление... Искренно жаль, что печать и сцена стали за последние десятки лет подергиваться плесенью Адамова греха, лжи. Не касаясь сущности оперетки, не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и разоблачать мои семейные тайны, я коснусь только частных, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле Синей Бороде. Все эти частности – возмутительная ложь, которую и считаю нужным, м. г., опровергнуть через посредство Вашего уважаемого журнала, прежде чем возбужденное мною судебное преследование даст мне возможность изобличить автора в наглой лжи, а г. Лентовского в потворстве этому постыдному

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru пороку и в укывательстве. Прежде всего, м. г., я отнюдь не женолюбец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не знаясь с ними, но виноват ли я, что homo sum et humani nihil a me alienum puto?[9] Кроме права выбора, над человеком тяготеет еще «закон необходимости». Я должен был выбирать одно из двух: или поступать в разряд сорви-голов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком. Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек практический, я остановился на второй. Я женился. Да, я женился и во всё время моей женатой жизни денно и ночью завидовал тому слизняку, который в себе самом содержит мужа, жену, а стало быть, и тещу, тестя, свекровь... и которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что всё это не похоже на женолюбие. Далее автор повествует, что я отравлял своих жен на другой же день после свадьбы – post primam noctem[10]. Чтобы не взводить меня такой чудовищной небывлицы, автору стоило только заглянуть в метрические книги или в мой послужной список, но он этого не сделал и очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жен не на вторые сутки медового месяца, не pour plaisir[11], как хотелось бы автору, и не экспромтом. Видит бог, сколько нравственных мук, тяжких сомнений, мучительных дней и недель мне приходилось переживать прежде, чем я решился угостить одно из этих маленьких, тщедушных созданий морфием или фосфорными спичками! Не блажь, не плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, не жестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора. Не оперетка, а целая драматическая, раздирающая опера разыгрывалась в моей душе, когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих жгучих размышлений посылал в лавочку за спичками. (Да простят мне женщины! Револьвер я считаю для них оружием слишком не по чину. Крыс и женщин принято отравлять фосфором.) Из нижеприведенной характеристики всех семи мною отравленных жен читателю и Вам, м. г., станет очевидным, насколько не опереточны были причины, заставлявшие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жен в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой: «Расход на баню, сигары, свадьбы и цирюльню».

№ 1. Маленькая брюнетка с длинными кудрявыми волосами и большими, как у жеребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина, и красива. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и умением постоянно молчать – редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов! Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой, редко читала, ничего никогда не знала, всему всегда удивлялась, но зато за всё время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи, не сделала ни одного фальшивого движения: когда нужно было плакать, она плакала, когда нужно было смеяться, она смеялась, не стесняясь ни местом, ни временем. Была естественна, как глупый, молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку, но, держу пари на что хотите, ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни, от утра до вечера, она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила... Дни и часы, в которые ее большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь, изумляясь... Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она, если спала, то видела меня во сне, если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. Если бы я был романистом, то непременно постарался бы узнать, из каких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жены в часы мрака шлют к небу за своих мужей. Чего они хотят и чего просят? Воображаю, сколько логики в этих молитвах!

Ни у Тестова[12], ни в Ново-Московском никогда не едал я того, что умели готовить ее пальчики. Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха, а в пережаренном бифстексе видела деморализацию своих маленьких нравов. Подозрение, что я голоден или недоволен кушаньем, было для нее одним из ужасных страданий... Но ничто не повергало ее в такое горе, как мои недуги. Когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы... Мое самое недолгое отсутствие заставляло ее думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара... и сколько мучительных секунд сидит в ее памяти! Когда после приятельской попойки я возвращался домой «под шофе» и, благодумствуя, располагался на диване с романом Габорио[13], никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, теплого ватного одеяла и стакана липового чая!

Золотая муха только тогда ласкает взор и приятна, когда она летает перед вашими глазами минуту, другую и... потом улетает в пространство, но если же она начнет гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос – и всё это неотступно, не обращая никакого внимания на ваши отмахивания, то вы, в конце концов, стараетесь поймать ее и лишитесь способности надоедать. Жена моя была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонное преследование моих насморков, кашля, легкой головной боли, заездили меня. В конце концов я не вынес... Да и к тому же ее любовь ко мне была ее страданием. Вечное молчание и голубиная кротость ее глаз говорили за ее беззащитность. Я отравил ее...

№ 2. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько эта была непоседа, шумна и подвижна. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов, я же нимало не ошибался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом, и пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась, не пила, а захлебывалась. Спешила дышать, говорить, любить... Жизнь ее сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов-мужчин, холодные души, бешеный вальс... От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бобеша...[14] Увидав меня в халате, в туфлях и с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за «медведя» Рауля. Втолковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. *Vo!ens-no!ens*[15], чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, палить из пушек, драться... Скоро такая жизнь утомила меня, и я послал за доктором...

№ 3. Высокая стройная блондинка с голубыми глазами. На лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную жизнь, имела своего «собственного бога» и вечно говорила о принципах. Во всем, что касалось ее принципов, она старалась быть беспощадной...

– Нечестно, – говорила она мне, – носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного!

«Боже, отчего она страдает? Что за причина? – спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздохам. – О, эти мне гражданские скорби!»

Человек любит загадки – вот почему полюбил я блондинку. Но скоро загадка была разрешена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки, и я наскочил в нем на следующий перл: «Желание спасти бедного рара, запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка: я вышла за богатого Рауля. Прости меня, мой Поль!» Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии и писал очень плохие стихи. Дульцинеи своей он больше уж не видел... Вместе со своими принципами она отправилась *ad patres*[16].

№ 4. Девица с правильным, но вечно испуганным и удивленным лицом. Купеческая дочка. Вместе с 200 тыс. приданого внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс «Я вновь пред тобою...»[17] Когда она не спала и не ела, она играла, когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы (я теперь без жил), а слова любимого романса «стою очарован» пелись с таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять верх: пришел доктор, и гаммы кончились...

№ 5. Длинноногая гладковолосая женщина с строгим, никогда не улыбающимся лицом. Была близорука и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравиться, одевалась просто и странно: черное платье с узкими рукавами, широкий пояс... во всей одежде какая-то плоскость, уютность – ни одного рельефа, ни одной небрежной складки! Понравилась она мне своею оригинальностью: была не дура. Училась она за границей, где-то у немцев, проглотила всех Боклей и Миллей[18] и

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru мечтала об ученой карьере. Говорила она только об «умном»... Спиритуалисты, позитивисты, материалисты так и сыпались с ее языка... Беседа с нею в первый раз, я мигал глазами и чувствовал себя дураком. По лицу моему догадалась она, что я глуп, но не стала смотреть на меня свысока, а напротив, наивно стала учить меня, как мне перестать быть дураком... Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны!

Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский; тут же кстати научила меня измерять черепа и доказала, что френология как наука никуда не годится. Я слушал, слушал... Дальнейшая наша жизнь состояла из слушанья... Она говорила, а я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю... Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моем черепе...

– Не мешай мне... Я думаю... – говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями...

Через неделю же после свадьбы в моей башке сидело убеждение: умные женщины тяжелы для нашего брата, ужасно тяжелы! Вечно чувствовать себя как на экзамене, видеть перед собою серьезное лицо, бояться сказать глупое слово, согласитесь, ужасно тяжело! Как вор, подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого кали. Спички недостойны такой женщины!

№ 6. Девочка, прельстившая меня своею наивностью и нетронутостью натуры. Это было милое, бесхитрое дитя, через месяц же после свадьбы оказавшееся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками. Тратила у модисток сотни и тысячи и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавеле. Частые истерики, томные мигрени и битье горничных по щекам считала гранд-шиком. Вышла за меня только потому, что я знатен, и изменила мне за два дня до свадьбы. Как-то травя в своей кладовой крыс, я кстати уж отравил и ее...

№ 7. Эта умерла по ошибке: выпила нечаянно яд, приготовленный мною для тещи. (Тещ отравляю я нашатырным спиртом.) Не случись такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе...

Я кончил... Думаю, м. г., что всего вышеписанного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся недобросовестность автора оперетки и г. Лентовского, попавшего впросак, вероятно, по неведению. Во всяком случае жду от г. Лентовского печатного разъяснения. Примите и проч.

Рауль Синяя Борода.

Ратификовал: А. Чехонте.

Надул
(Очень древний анекдот)

Во время оно в Англии преступники, присужденные к смертной казни, пользовались правом при жизни предавать свои трупы анатомам и физиологам. Вырученные таким образом деньги они отдавали своим семьям или же пропивали. Один из них, уличенный в ужасном преступлении, позвал к себе ученого медика и, вдоволь поторговавшись с ним, продал ему собственную особу за две гинеи. Но получивши деньги, он вдруг принялся хохотать...

– Чего вы смеетесь?! – удивился медик.

– Вы купили меня, как человека, который должен быть повешен, – сказал, хохоча, преступник, – но я надул вас! Я буду сожжен! Ха-ха!

Интеллигентное бревно
(Сценка)

Архип Елисеич Помоев, отставной корнет, надел очки, нахмурился и прочел: «Мировой судья ...округа ...участка приглашает вас и т. д. и т. д. в качестве

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru обвиняемого по делу об оскорблении действием крестьянина Григория Власова... Мировой судья П. Шестикрылов».

- Это от кого же? – поднял глаза Помоев на рассыльного.
- От г. мирового судьи-с, Петра Сергеича-с... Шестикрылова-с...
- Гм... От Петра Сергеича? Зачем же это он меня приглашает?
- Должно, на суд... Там написано-с...

Помоев прочел еще раз повестку, поглядел с удивлением на рассыльного и пожал плечами...

– Псс... в качестве обвиняемого... Забавник этот Петр Сергеич! Ну ладно, скажи: хорошо! Пусть только фриштик получше приготовит... Скажи: буду! Наталье Егоровне и деточкам кланяйся!

Помоев расписался и отправился в комнату, где жил брат его жены поручик Ниткин, приехавший к нему в отпуск.

- Посмотри-кася, какую цидулу мне Петька Шестикрылов прислал, – сказал он, подавая Ниткину повестку. – К себе в четверг зовет... Поедешь со мной?
- Да он тебя не в гости зовет, – сказал Ниткин, прочитав повестку. – Он вызывает тебя на суд в качестве обвиняемого... Судить тебя будет...
- Меня-то? Псс... Молоко у него на губах еще не обсохло, чтоб меня судить... Мелко плавает... Это он так, в шутку...
- Вовсе не в шутку! Не понимаешь ты, что ли? Тут ясно сказано: в оскорблении действием... Ты Гришку побил, вот и суд.
- Чудак ты, ей-богу! Да как же он может меня судить, ежели мы с ним, можно сказать, друзья? Какой он мне судья, ежели мы вместе и в карты играли, и пили, и чёрт знает чего только ни делали? И какой он судья? Ха-ха! Петька – судья! Ха-ха!

– Смейся, смейся, а вот он как засадит тебя, не по дружбе, а на основании законов, под арест, так не до смеха будет!

– Ты очумел, брат! Какое тут основание законов, ежели он у меня Ваню крестил? Поедем к нему в четверг, вот и увидишь, какие там законы...

– А я тебе советовал бы вовсе не ездить, а то и себя и его в неловкое положение поставишь... Пусть решает заочно...

– Нет, зачем заочно? Поеду, погляжу, как это он судить будет... Любопытно поглядеть, какой из Петьки судья вышел... Кстати же давно у него не был... неловко...

В четверг Помоев отправился с Ниткиным к Шестикрылову. Мирового застали они в камере за разбирательством.

– Здорово, Петюха! – сказал Помоев, подходя к судейскому столу и подавая руку. – Судишь помаленьку? Крюкотворствуешь? Суди, суди... я погожу, погляжу... Это, рекомендую, брат моей жены... Жена здорова?

– Да... здорова... Посидите там... в публике...

Пробормотавши это, судья покраснел. Вообще начинающие судьи всегда конфузятся, когда видят в своей камере знакомых; когда же им приходится судить знакомых, то они делают впечатление людей, проваливающихся от конфуза сквозь землю. Помоев отошел от стола и сел на передней скамье рядом с Ниткиным.

– Важности-то сколько у бестии! – зашептал он на ухо Ниткину. – Не узнаешь! И не улыбнется! В золотой цепи! Фу ты, ну ты! Словно и не он у меня на кухне сонную Агашку чернилами разрисовал. Потеха! Да нетто такие люди могут судить? Я тебя спрашиваю: могут такие люди судить? Тут нужен человек, который с чинами,

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
солидный... чтоб, знаешь, страх внушал, а то посадили какого-то и – на, суди!
Хе-хе...

– Григорий Власов! – вызвал мировой. – Господин Помоев!

Помоев улыбнулся и подошел к столу. Из публики вылез малый в поношенном сюртуке с высокой тальей, в полосатых брючках, надетых в короткие рыжие голенища, и стал рядом с Помоевым.

– Г-н Помоев! – начал мировой, потупя глаза. – Вы обвиняетесь в том, что-о-о... оскорбили действием вашего служащего... вот Григория Власова. Признаете вы себя виновным?

– Еще бы! Да ты давно таким серьезным стал? Хе-хе...

– Не признаете? – перебил его судья, ерзая от конфуза на стуле. – Власов, расскажите, как было дело!

– Очень просто-с! Я у них, изволите ли видеть, в лакеях состоял, в рассуждении, как бы камельдинер... Известно, наша должность каторжная, ваше в – е... Они сами встают в девятом часу, а ты будь на ногах чуть свет... Бог их знает, наденут ли они сапоги, или щиблеты, или, может, целый день в туфлях проходят, но ты всё чисть: и сапоги, и щиблеты, и ботинки... Хорошо-с... Зовут это они меня утром одеваться. Я, известно, пошел... Надел на них сорочку, надел брючки, сапожки... всё, как надо... Начал надевать жилет... Вот они и говорят: «Поддай, Гришка, гребенку. Она, говорят, в боковом кармане в сюртучке». Хорошо-с... Роюсь я это в боковом кармане, а гребенку словно чёрт слопал – нету! Рылся-рылся и говорю: «Да тут нет гребенки, Архип Елисеич!» Они нахмурились, подошли к сюртуку и достали оттуда гребенку, но не из бокового кармана, как велели, а из переднего. «А это же что? Не гребенка?» – говорят, да тык меня в нос гребенкой. Так всеми зубцами и прошлись по носу. Целый день потом кровь из носу шла. Сами изволите видеть, весь нос распухши... У меня свидетели есть. Все видели.

– Что вы скажете в свое оправдание? – поднял мировой глаза на Помоева.

Помоев поглядел вопросительно на судью, потом на Гришку, опять на судью и побагровел.

– Как я должен это понимать? – пробормотал он. – За насмешку?

– Тут никакой над вами насмешки нет-с, – заметил Гришка, – а вам по чистой совести. Не давайте воли рукам.

– Молчи! – застучал Помоев палкой о пол. – Дурак! шваль!

Мировой быстро снял цепь, выскочил из-за стола и побежал к себе в канцелярию.

– Прерываю заседание на пять минут! – крикнул он по дороге.

Помоев пошел за ним.

– Послушай, – начал мировой, всплескивая руками, – скандал ты мне устроить хочешь, что ли? Или тебе приятно слушать, как твои же кухарки да лакеи в своих показаниях будут тебя чистить, осла этакого? Зачем ты приехал? Без тебя я не мог дела решить, что ли?

– Я же у него и виноват! – растопырил руки Помоев. – Сам комедию эту устроил и на меня же сердится! Посади этого Гришку под арест, и... и всё!

– Гришку под арест! Тьфу! Каким дураком был ты, таким и остался! Ну, как же это можно Гришку под арест!

– Посади, вот и всё! Не меня же сажать!

– Препрежные времена теперь, что ли? Гришку он побил и Гришку же под арест! Удивительная логика! Да ты имеешь какое-нибудь понятие о теперешнем судопроизводстве?

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Отродясь я не судился и судьей не был, а так я понимаю, что явись ко мне с жалобой на тебя этот самый Гришка, я так бы его с лестницы спустил, что и внукам запретил бы жаловаться, а не то, чтобы еще позволять ему замечания свои хамские делать. Скажи просто, что насмеяться хочешь, прыть свою показать... вот и всё! Жена, как прочла повестку да как увидела, что ты всем кухаркам и скотницам повестки прислал, удивилась. Не ожидала она от тебя таких штук. Нельзя так, Петя! Так друзья не делают.

– Но пойми же ты мое положение!

И Шестикрылов принялся объяснять Помоеву свое положение.

– Ты посиди здесь, – кончил он, – а я пойду и заочно решу. Ради бога не выходи! Со своими допотопными понятиями, ты такое ляпнешь там, что, чего доброго, придется протокол составлять.

Шестикрылов пошел в камеру и занялся разбирательством. Помоев, сидя в канцелярии за одним из столиков и перечитывая от нечего делать свежеизготовленные исполнительные листы, слышал, как мировой склонял Гришку к миру. Гришка долго топорщился, но наконец согласился, потребовав за обиду десять рублей.

– Ну, слава богу! – сказал Шестикрылов, входя по прочтении приговора в канцелярию. – Спасибо, что дело так кончилось... Словно тысяча пудов с плеч свалилась. Заплатишь ты Гришке 10 рублей и можешь быть покоен.

– Я Гришке... десять... рублей?! – обомлел Помоев. – Да ты в уме?..

– Ну, да ладно, ладно, я за тебя заплачу, – махнул рукой Шестикрылов, поморщившись. – Я и сто рублей готов дать, только чтоб не заводить неудовольствий. И не дай бог знакомых судить. Лучше, брат, чем Гришек бить, приезжай всякий раз ко мне и лупи меня! Это в тысячу раз легче. Пойдем к Наташе есть!

Через десять минут приятели сидели в апартаментах мирового и завтракали жареными карасями.

– Ну хорошо, – начал Помоев, выпивая третью, – ты Гришке 10 рублей присудил, а на сколько же ты его в арестантскую уpek?

– Я его не уpekал. За что же его?

– Как за что? – вытаращил глаза Помоев. – А за то, чтоб жалобы не подавал! Нешто он смеет на меня жалобы подавать?

Мировой и Ниткин принялись объяснять Помоеву, но он не понимал и стоял на своем.

– Что ни говори, а не годится Петька в судьи! – вздохнул он, беседуя с Ниткиным на обратном пути. – Человек он добрый, образованный, услужливый такой, но... не годится! Не умеет по-настоящему судить... Хоть жалко, а придется его на следующее трехлетье забастовать! Придется!..

Рыбье дело
(Густой трактат по жидкому вопросу)

Сегодняшнюю весьма передовую статью нашу мы посвящаем несчастным дачникам, имеющим привычку садиться на одном конце палки, у которой на другом привязана нитка и червяк... Мы даем (даром, заметьте!) целый трактат советов рыболовам. Чтобы придать нашему труду побольше серьезности и учености, мы глубокомысленно делим его на параграфы и пункты.

1. Рыбу ловят в океанах, морях, озерах, реках, прудах, а под Москвою также в лужицах и канавах.

Примечание. Самая крупная рыба ловится в живорыбных лавках.

2. Ловить нужно вдали от населенных мест, иначе рискуешь поймать за ногу

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
купающуюся дачницу или же услышать фразу: «Какую вы имеете полную праву ловить здесь рыбу? Или, может, по шее захотелось?»

3. Прежде чем закидывать удочку, нужно надеть на крючок приманку, какую угодно, судя по роду рыбы... Можешь ловить и без приманки, так как всё равно ничего не поймашь.

Примечание. Хорошенькие дачницы, сидящие на берегу с удочкой для того только, чтобы привлечь внимание женихов, могут удить и без приманки. Нехорошенькие же дачницы должны пускать в ход приманку: сто – двести тысяч или что-нибудь вроде...

4. Сидя с удочкой, не махай руками, не дрыгай ногами и не кричи караул, так как рыба не любит шума. Ужение не требует особенного искусства: если поплавок неподвижен, то это значит, что рыба еще не клюет; если он шевелится, то торжествуй: твою приманку начинают пробовать; если же он пошел ко дну, то не трудись тащить, так как всё равно ничего не вытащишь.

Эту сторону нашего трактата мы находим достаточно вычерпанной (на дне ничего не осталось). В следующий раз мы подробно уясним животрепещущий вопрос о том, какие породы рыб можно изловить животрепещущими в мутной московской воде.

В прошлом номере «„Будильника“ на даче» мы с непостижимым глубокомыслием и невероятной ученостью «третировали» вопрос о способах ловить рыбу. Переходим теперь к той части нашего трактата, где говорится о рыбьих породах.

В окрестностях Москвы ловятся следующие породы рыб:

а) Щука. Рыба некрасивая, невкусная, но рассудительная, положительная, убежденная в своих щучьих правах. Глотает всё, что только попадает ей на пути: рыб, раков, лягушек, уток, ребят... Каждая щука в отдельности съедает гораздо больше рыбы, чем все посетители Егоровского трактира. Сыта никогда не бывает и постоянно жалуется на упадок дел. Когда ей указывают на ее жадность и на несчастное положение мелкой рыбешки, она говорит: «Поговори мне еще, так живо в моем желудке очутишься!» Когда же подобное указание делают ей старшие чином, она заявляет: «И-и, батюшка, да кто ж таперича рыбешку не ест? Так уж спокон века положено, чтоб мы, щуки, всегда сыты были». Когда ее пугают пропечатанием в газете, она говорит: «А мне плевать!»

б) Головль. Рыбий интеллигент. Галантен, ловок, красив и имеет большой лоб. Состоит членом многих благотворительных обществ, читает с чувством Некрасова, бранит щук, но, тем не менее, поедает рыбешек с таким же аппетитом, как я щука. Впрочем, истребление пескарей и уклек считает горькою необходимостью, потребностью времени... Когда в интимных беседах его попрекают расхождением слова с делом, он вздыхает и говорит:

– Ничего не поделаешь, батенька! Не созрели еще пескари для безопасной жизни, и к тому же, согласитесь, если мы не станем их есть, то что же мы им дадим взамен?

с) Налим. Тяжел, неповоротлив и флегматичен, как театральный кассир. Славится своей громадной печенкой, из чего явствует, что он пьет горькую. Живет под корягами и питается всякой всячиной. По натуре хищен, но умеет довольствоваться падалью, червяками и травой. «Где уж нам со щуками да головлями равняться? Что есть, то и едим. И на том спасибо». Пойманный на крючок, вытаскивается из воды, как бревно, не изъявляя никакого протеста... Ему на всё плевать...

д) Окунь. Красивая рыбка с достаточно острыми зубами. Хищен. Самцы состоят антрепренерами, а самки дают концерты.

е) Ерш. Бойкий и шустрый индивидуум, воображающий, что он защищен от щук и головлей «льготами», данными ему природой, но, тем не менее, преисправно попадающий в уху.

ф) Карась. Сидит в тине, дремлет и ждет, когда его съест щука. Сызмальства приучается, к мысли, что он хорош только в жареном виде. Поговорку «На то и щука

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
в море, чтоб карась не дремал» понимает в смысле благоприятном для щуки...

– Денно и ночью должны мы быть готовы, чтоб угодить госпоже щуке... Без ихних благодеяний...

g) Пескарь. Преисправный посетитель ссудных касс, плохих летних увеселений и передних. Служит на Московско–Курской дороге, подносит благодарственные адреса щукам и день и ночь работает, чтобы головли ходили в енотах.

h) Плотва. Маленькая, получахоточная рыбка, прозябающая в статистах или доставляющая плохие переводы в толстые журналы. В изобилии поедается щукой и окунем. Самки живут на содержании у налимов и линей.

i) Линь. Ленивая, слюнявая и вялая рыба в черно–зеленом вицмундире, дослуживающая до пенсионера. Нюхает табак в одну ноздрю, объегоривает карасей и лечится от завалов.

к) Уклейка. Ловится на муху. Нищенка.

l) Лещ. Держит трактиры на большой дороге и занимается подрядами. Делает вид, что питается постной пищей. Съевши рыбку, быстро вытирает губы, чтобы «господа» не приметили...

Симулянты

Генеральша Марфа Петровна Печонкина, или, как ее зовут мужики, Печончиха, десять лет уже практикующая на поприще гомеопатии, в один из майских вторников принимает у себя в кабинете больных. Перед ней на столе гомеопатическая аптечка, лечебник и счета гомеопатической аптеки. На стене в золотых рамках под стеклом висят письма какого–то петербургского гомеопата, по мнению Марфы Петровны, очень знаменитого и даже великого, и висит портрет отца Аристарха, которому генеральша обязана своим спасением: отречением от зловредной аллопатии и знанием истины. В передней сидят и ждут пациенты, всё больше мужики. Все они, кроме двух–трех, босы, так как генеральша велит оставлять вонючие сапоги на дворе.

Марфа Петровна приняла уже десять человек и вызывает одиннадцатого:

– Гаврила Груздь!

Дверь отворяется и, вместо Гаврилы Груздя, в кабинет входит Замухришин, генеральшин сосед, помещик из оскудевших, маленький старичок с кислыми глазками и с дворянской фуражкой под мышкой. Он ставит палку в угол, подходит к генеральше и молча становится перед ней на одно колено.

– Что вы! Что вы, Кузьма Кузьмич! – ужасается генеральша, вся вспыхивая. – Бога ради!

– Покуда жив буду, не встану! – говорит Замухришин, прижимаясь к ручке. – Пусть весь народ видит мое коленопреклонение, ангел–хранитель наш, благодетельница рода человеческого! Пусть! Которая благодетельная фея даровала мне жизнь, указала мне путь истинный и просветила мудрование мое скептическое, перед тою согласен стоять не только на коленях, но и в огне, целительница наша чудесная, мать сирых и вдовых! Выздоровел! Воскрес, волшебница!

– Я... я очень рада... – бормочет генеральша, краснея от удовольствия. – Это так приятно слышать... Садитесь, пожалуйста! А ведь вы в тот вторник были так тяжело больны!

– Да ведь как болен! Вспомнить страшно! – говорит Замухришин, садясь. – Во всех частях и органах ревматизм стоял. Восемь лет мучился, покою себе не знал... Ни днем ни ночью, благодетельница моя! Лечился я и у докторов, и к профессорам в Казань ездил, и грязями разными лечился, и воды лил, и чего только я не перепробовал! Состояние свое пролечил, матушка–красавица. Доктора эти, кроме вреда, ничего мне не принесли. Они болезнь мою вовнутрь мне вогнали. Вогнать–то вогнали, а выгнать – наука ихняя не дошла... Только деньги любят брать, разбойники, а ежели касательно пользы человечества, то им и горя мало. Пропишет какой–нибудь хиромантии, а ты пей. Душегубцы, одним словом. Если бы не вы, ангел наш, быть бы мне в могиле! Прихожу от вас в тот вторник, гляжу на крупинки, что вы дали тогда, и думаю: «Ну, какой в них толк? Нешто эти песчинки, еле видимые,

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
могут излечить мою громадную застарелую болезнь?» Думаю, маловвер, и улыбаюсь, а как принял крупинку – моментально! словно и болел не был или рукой сняло. Жена глядит на меня выпученными глазами и не верит: «Да ты ли это, Кузя?» – «Я», говорю. И стали мы с ней перед образом на коленки и давай молиться за ангела нашего: «Пошли ты ей, господи, всего, что мы только чувствуем!»

Замухришин вытирает рукавом глаза, поднимается со стула и выказывает намерение снова стать на одно колено, но генеральша останавливает и усаживает его.

– Не меня благодарите! – говорит она, красная от волнения и глядя восторженно на портрет отца Аристарха. – Не меня! Я тут только послушное орудие... Действительно, чудеса! Застарелый, восьмилетний ревматизм от одной крупинки скрофулозо!

– Изволили вы дать мне три крупинки. Из них одну принял я в обед – и моментально! Другую вечером, а третью на другой день, – и с той поры хоть бы тебе что! Хоть бы кольнуло где! А ведь помирать уже собрался, сыну в Москву написал, чтоб приехал! Умудрил вас господь, целительница! Теперь вот хожу, и словно в раю... В тот вторник, когда у вас был, хромал, а теперь хоть за зайцем готов... Хоть еще сто лет жить. Одна только беда – недостатки наши. И здоров, а для чего здоровье, если жить не на что? Нужда одолела плуце болезни... К примеру взять хоть бы такое дело... Теперь время овес сеять, а как его посеешь, ежели Семенов нет? Нужно бы купить, а денег... известно, какие у нас деньги...

– Я вам дам овса, Кузьма Кузьмич... Сидите, сидите! Вы так меня порадовали, такое удовольствие мне доставили, что не вы, а я должна вас благодарить!

– Радость вы наша! Создаст же господь такую доброту! Радуйтесь, матушка, на свои добрые дела гляючи! А вот нам, грешным, и порадоваться у себя не на что... Люди мы маленькие, малодушные, бесполезные... мелкота... Одно звание только, что дворяне, а в материальном смысле те же мужики, даже хуже... Живем в домах каменных, а выходит один мираж, потому – крыша течет... Не на что тесу купить.

– Я дам вам тесу, Кузьма Кузьмич.

Замухришин выпрашивает еще корову, рекомендательное письмо для дочки, которую намерен везти в институт, и... тронутый щедротами генеральши, от наплыва чувств всхлипывает, перекашивает рот и лезет в карман за платком... Генеральша видит, как вместе с платком из кармана его вылезает какая-то, красная бумажка и бесшумно падает на пол.

– Во веки веков не забуду... – бормочет он. – И детям закажу помнить, и внукам... в род и род... Вот, дети, та, которая спасла меня от гроба, которая...

Проводив своего пациента, генеральша минуту глазами, полными слез, глядит на отца Аристарха, потом ласкающим, благоговейным взором обводит аптечку, лечебники, счета, кресло, в котором только что сидел спасенный ею от смерти человек, и взор ее падает на оброненную пациентом бумажку. Генеральша поднимает бумажку, разворачивает ее и видит в ней три крупинки, те самые крупинки, которые она дала в прошлый вторник Замухришину.

– Это те самые... – недоумеваает она. – Даже бумажка та самая... Он и не разворачивал даже! Что же он принимал, в таком случае? Странно... Не станет же он меня обманывать!

И в душу генеральши, в первый раз за все десять лет практики, западает сомнение... Она вызывает следующих больных и, говоря с ними о болезнях, замечает то, что прежде незаметным образом проскальзывало мимо ее ушей. Больные, все до единого, словно сговорившись, сначала славословят ее за чудесное исцеление, восхищаются ее медицинской мудростью, бранят докторов-аллопатов, потом же, когда она становится красной от волнения, приступают к изложению своих нужд. Один просит землицы для запашки, другой дровец, третий позволения охотиться в ее лесах и т. д. Она глядит на широкую, благодушную физиономию отца Аристарха, открывшего ей истину, и новая истина начинает сосать ее за душу. Истина нехорошая, тяжелая...

Лукав человек!

Налим

Летнее утро. В воздухе тишина; только поскрипывает на берегу кузнечик да где-то

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег... Около строящейся купальни, под зелеными ветвями ивняка, барахтается в воде плотник Герасим, высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивняка. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима, по горло в воде, стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими, китайскими глазками. Как Герасим, так и Любим, оба в рубахах и портах. Оба посинели от холода, потому что уж больше часа сидят в воде...

– Да что ты всё рукой тычешь? – кричит горбатый Любим, дрожа как в лихорадке. – Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдет, анафема! Держи, говорю!

– Не уйдет... Куда ему уйтить? Он под корягу забился... – говорит Герасим охрипшим, глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живота. – Скользкий, шут, и ухватить не за что.

– Ты за зебры хватай, за зебры!

– Не видать жабров-то... Пстой, ухватил за что-то... За губу ухватил... Кусается, шут!

– Не тащи за губу, не тащи – выпустишь! За зебры хватай его, за зебры хватай! Опять почал рукой тыкать! Да и беспонятный же мужик, прости царица небесная! Хватай!

– «Хватай»... – дразнит Герасим. – Командер какой нашелся... Шел бы да и хватал бы сам, горбатый чёрт... Чего стоишь?

– Ухватил бы я, коли б можно было... Нешто при моей низкой комплекции можно под берегом стоять? Там глыбоко!

– Ничего, что глыбоко... Ты вплавь...

Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке стать на ноги, он погружается с головой и пускает пузыри.

– Говорил же, что глыбоко! – говорит он, сердито вращая белками. – На шею тебе сяду, что ли?

– А ты на корягу стань... Коряг много, словно лестница...

Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее... Совладавши с равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами. Путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его насккивает на колючие клешни рака...

– Тебя еще тут, чёрта, не видали! – говорит Любим и со злобой выбрасывает на берег рака.

Наконец, рука его нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного.

– Во-от он!.. – улыбается Любим. – Зда-аровый, шут... Оттопырь-ка пальцы, я его сичас... за зебры... Пстой, не толкай локтем... я его сичас... сичас, дай только взяться... Далече, шут, под корягу забился, не за что и ухватиться... Не доберешься до головы... Пузо одно только и слышать... Убей мне на шее комара – жжет! Я сичас... под зебры его... Заходи сбоку, пхай его, пхай! Шпыняй его пальцем!

Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами «под зебры», но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие, – бултых в воду! Слово испуганные, бегут от берега волнистые круги и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает и, фыркая, хватается за ветки.

– Утонешь еще, чёрт, отвечать за тебя придется!.. – хрипит Герасим. – Вылазь, ну ты к лешему! Я сам вытащу!

Начинается ругань... А солнце печет и печет. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки... Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой, приторно-медовый запах. Уж скоро полдень, а Герасим и Любим всё еще барахтаются под ивняком. Хриплый бас и озябший, визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня.

– Тащи его за зебры, тащи! Пстой, я его выпихну! Да куда суешься-то с кулачищем? Ты пальцем, а не кулакам – рыло! Заходи сбоку! Слева заходи, слева, а то вправо колдобина! Угодишь к лешему на ужин! Тяни за губу!

Слышится хлопанье бича... По отлогому берегу к водовою лениво плетется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом, идет, понуря голову, и глядит себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы.

– Потолкай его из-под низу! – слышит он голос Любима. – Просунь палец! Да ты глухой, чё-ёрт, что ли? Тьфу!

– Кого это вы, братцы? – кричит Ефим.

– Налима! Никак не вытащим! Под корягу забился! Заходи сбоку! Заходи, заходи!

Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порты нехватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми, темными руками, лезет в портах в воду... Шагов пятьдесят он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь.

– Пстой, ребяташки! – кричит он. – Пстой! Не вытаскивайте его зря, упустите. Надо умеючи!..

Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пытая и ругаясь, толкуются на одном месте... Горбатый Любим захлебывается, и воздух оглашается резким, судорожным кашлем.

– Где пастух? – слышится с берега крик. – Ефи-им! Пастух! Где ты? Стадо в сад полезло! Гони, гони из саду! Гони! Да где ж он, старый разбойник?

Слышатся мужские голоса, затем женский... Из-за решетки барского сада показывается барин Андрей Андреич в халате из персидской шали и с газетой в руке... Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит к купальне...

– Что здесь? Кто орет? – спрашивает он строго, увидав сквозь ветви ивняка три мокрые головы рыболовов. – Что вы здесь копошитесь?

– Ры... рыбку ловим... – лепечет Ефим, не поднимая головы.

– А вот я тебе задам рыбку! Стадо в сад полезло, а он рыбку!.. Когда же купальня будет готова, черти? Два дня как работаете, а где ваша работа?

– Бу... будет готова... – кряхтит Герасим. – Лето велико, успеешь еще, вашескорodie, помыться... Пфррр... Никак вот тут с налимом не управимся... Забрался под корягу и словно в норе: ни туда ни сюда...

– Налим? – спрашивает барин и глаза его подергиваются лаком. – Так тащите его скорей!

– Ужо дашь полтинничек... Удружим ежели... Здоровенный налим, что твоя купчиха... Стоит, вашескорodie, полтинник... за труды... Не мни его, Любим, не мни, а то замучишь! Подпирай снизу! Тащи-ка корягу кверху, добрый человек... как тебя? Кверху, а не книзу, дьявол! Не болтайте ногами!

Проходит пять минут, десять... Барину становится невтерпеж.

– Василий! – кричит он, повернувшись к усадьбе. – Васька! Позовите ко мне Василия!

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Прибегает кучер Василий. Он что-то жует и тяжело дышит.

– Полезай в воду, – приказывает ему барин, – помоги им вытащить налима... Налима не вытасят!

Василий быстро раздевается и лезет в воду.

– Я сейчас... – бормочет он. – Где налим? Я сейчас... Мы это мигом! А ты бы ушел, Ефим! Нечего тебе тут, старому человеку, не в свое дело мешаться! Который тут налим? Я его сейчас... Вот он! Пустите руки!

– Да чего пустите руки? Сами знаем: пустите руки! А ты вытащи!

– Да нешто его так вытащишь? Надо за голову!

– А голова под корягой! Знамо дело, дурак!

– Ну, не лай, а то влетит! Сволочь!

– При господине барине и такие слова... – лепечет Ефим. – Не вытасите вы, братцы! Уж больно ловко он засел туда!

– Погодите, я сейчас... – говорит барин и начинает торопливо раздеваться. – Четыре вас дурака, и налима вытащить не можете!

Раздевшись, Андрей Андреич дает себе остынуть и лезет в воду. Но и его вмешательство не ведет ни к чему.

– Подрубить корягу надо! – решает, наконец, Любим. – Герасим, сходи за топором! Топор подайте!

– Пальцев-то себе не отрубите! – говорит барин, когда слышатся подводные удары топора о корягу. – Ефим, пошел вон отсюда! Пойдите, я налима вытащу... Вы не тово...

Коряга подрублена. Ее слегка надламывают, и Андрей Андреич, к великому своему удовольствию, чувствует, как его пальцы лезут налиму под жабры.

– Ташу, братцы! Не толпитесь... стойте... ташу!

На поверхности показывается большая налимя голова и за нею черное аршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться.

– Шалишь... Дудки, брат. Попался? Ага!

По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании.

– Знатный налим! – лепечет Ефим, почесывая под ключицами. – Чай, фунтов десять будет...

– Н-да... – соглашается барин. – Печенка-то так и отдувается. Так и прет ее из нутра. А... ах!

Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх и рыболовы слышат сильный плеск... Все растопыряют руки, но уже поздно; налим – поминай как звали.

Из воспоминаний идеалиста

Десятого мая взял я отпуск на 28 дней, выпросил у нашего казначея ста рублей вперед и порешил во что бы то ни стало «пожить», пожить во всю ивановскую, так, чтобы потом в течение десяти лет жить одними только воспоминаниями.

А вы знаете, что значит «пожить» в лучшем смысле этого слова? Это не значит отправиться в летний театр на оперетку, съесть ужин и к утру вернуться домой навеселе. Это не значит отправиться на выставку, а оттуда на скачки и повертеть там кошельком около тотализатора. Если вы хотите пожить, то садитесь в вагон и отправляйтесь туда, где воздух пропитан запахом сирени и черемухи, где, лаская ваш взор своей нежной белизной и блеском алмазных росинок, наперегонку цветут

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
ландыши и ночные красавицы. Там, на просторе, под голубым сводом, в виду зеленого леса и воркующих ручьев, в обществе птиц и зеленых жуков, вы поймете, что такое жизнь! Прибавьте к этому две-три встречи с широкополой шляпкой, быстрыми глазками и белым фартучком... Признаюсь, обо всем этом я мечтал, когда с отпуском в кармане, обласканный щедротами казначея, перебирался на дачу.

Дачу я нанял, по совету одного приятеля, у Софьи Павловны Книгиной, отдававшей у себя на даче лишнюю комнату со столом, мебелью и прочими удобствами. Наем дачи совершился скорее, чем мог я думать. Приехав в Перерву и отыскав дачу Книгиной, я взвошел, помню, на террасу и... сконфузился. Терраска была уютна, мила и восхитительна, но еще милее и (позвольте так выразиться) уютнее была молодая полная дамочка, сидевшая за столом на террасе и пившая чай. Она прищурила на меня глазки.

– Что вам угодно?

– Извините, пожалуйста... – начал я. – Я... я, вероятно, не туда попал... Мне нужна дача Книгиной...

– Я Книгина и есть... Что вам угодно?

Я потерялся... Под квартирными и дачными хозяйками привык я разуместь особ пожилых, ревматических, пахнущих кофейной гущей, но тут... – «спасите нас, о неба херувимы!» [19] – как сказал Гамлет, сидела чудесная, великолепная, изумительная, очаровательная особа. Я, заикаясь, объяснил, что мне нужно.

– Ах, очень приятно! Садитесь, пожалуйста! Мне ваш друг писал уже. Не хотите ли чаю? Вам со сливками или с лимоном?

Есть порода женщин (чаще всего блондинок), с которыми достаточно посидеть две-три минуты, чтобы вы почувствовали себя, как дома, словно вы давным-давно знакомы. Такой именно была и Софья Павловна. Выпивая первый стакан, я уже знал, что она не замужем, живет на проценты с капитала и ждет к себе в гости тетю; я знал причины, какие побудили Софью Павловну отдать одну комнату внаймы. Во-первых, платить сто двадцать рублей за дачу для одной тяжело и, во-вторых, как-то жутко: вдруг вор заберется ночью или днем войдет страшный мужик! И ничего нет предосудительного, если в угловой комнате будет жить какая-нибудь одинокая дама или мужчина.

– Но мужчина лучше! – вздохнула хозяйка, слизывая варенье с ложечки. – С мужчиной меньше хлопот и не так страшно...

Одним словом, через какой-нибудь час я и Софья Павловна были уже друзьями.

– Ах, да! – вспомнил я, прощаясь с ней. – Обо всем поговорили, а о главном ни слова. Сколько же вы с меня возьмете? Жить я у вас буду только 28 дней... Обед, конечно... чай и прочее...

– Ну, нашли о чем говорить! Сколько можете, столько и дайте... Я ведь не из расчета отдаю комнату, а так... чтоб людней было... 25 рублей можете дать?

Я, конечно, согласился, и дачная жизнь моя началась... Эта жизнь интересна тем, что день похож на день, ночь на ночь, и – сколько прелести в этом однообразии, какие дни, какие ночи! Читатель, я в восторге, позвольте мне вас обнять! Утром я просыпался и, нимало не думая о службе, пил чай со сливками. В одиннадцать шел к хозяйке поздравить ее с добрым утром и пил у нее кофе с жирными, топлеными сливками. От кофе до обеда болтали. В два часа обед, но что за обед! Представьте себе, что вы, голодный, как собака, садитесь за стол, хватаете большую рюмку листовки и закусываете горячей солониной с хреном. Затем представьте себе крошку или зеленые щи со сметаной и т. д. и т. д. После обеда безмятежное лежанье, чтение романа и ежеминутное вскакивание, так как хозяйка то и дело мелькает около двери – и «лежите! лежите!»... Потом купанье. Вечером до глубокой ночи прогулка с Софьей Павловной... Представьте себе, что в вечерний час, когда всё спит, кроме соловья да изредка вскрикивающей цапли, когда слабо дышащий ветерок еле-еле доносит до вас шум далекого поезда, вы гуляете в роще или по насыпи железной дороги с полной блондиночкой, которая кокетливо пожимается от вечерней прохлады и то и дело поворачивает к вам бледное от луны личико... Ужасно хорошо!

Не прошло и недели, как случилось то, чего вы давно уже ждете от меня, читатель, и без чего не обходится ни один порядочный рассказ... Я не устоял... Мои объяснения Софья Павловна выслушала равнодушно, почти холодно, словно давно уже ждала их, только сделала милую гримаску губами, как бы желая сказать:

– И о чем тут долго говорить, не понимаю!

28 дней промелькнули, как одна секунда. Когда кончился срок моего отпуска, я, тоскующий, неудовлетворенный, прощался с дачей и Соней. Хозяйка, когда я укладывал чемодан, сидела на диване и утирала глазки. Я, сам едва не плача, утешал ее, обещая навещать ее на дачу по праздникам и бывать у нее зимой в Москве.

– Ах... когда же мы, душа моя, с тобой посчитаемся? – вспомнил я. – Сколько с меня следует?

– Когда-нибудь после... – проговорил мой «предмет», всхлипывая.

– Зачем после? Дружба дружбой, а денежки врозь, говорит пословица, и к тому же я нисколько не желаю жить на твой счет. Не ломайся же, Соня... Сколько тебе?

– Там... пустяки какие-то... – проговорила хозяйка, всхлипывая и выдвигая из стола ящичек. – Мог бы и после заплатить...

Соня порылась в ящичке, достала оттуда бумажку и подала ее мне.

– Это счет? – спросил я. – Ну, вот и отлично... и отлично... (я надел очки) расквитаемся и ладно... (я пробежал счет). Итого... Постой, что же это? Итого... Да это не то, Соня! Здесь «итого 212 р. 44 к.». Это не мой счет!

– Твой, Дудочка! Ты погляди!

– Но... откуда же столько? За дачу и стол 25 р. – согласен... За прислугу 3 р. – ну, пусть, и на это согласен...

– Я не понимаю, Дудочка, – сказала протяжно хозяйка, взглянув на меня удивленно, заплаканными глазами. – Неужели ты мне не веришь? Сочти в таком случае! Листовку ты пил... не могла же я подавать тебе к обеду водки за ту же цену! Сливки к чаю и кофе... потом клубника, огурцы, вишни... Насчет кофе тоже... Ведь ты не договаривался пить его, а пил каждый день! Впрочем, всё это такие пустяки, что я, изволь, могу сбросить тебе 12 руб. Пусть останется только 200.

– Но... тут поставлено 75 руб. и не обозначено за что... За что это?

– Как за что? Вот это мило!

Я посмотрел ей в личико. Оно глядело так искренне, ясно и удивленно, что язык мой уже не мог выговорить ни одного слова. Я дал Соне сто рублей и вексель на столько же, взвалил на плечи чемодан и пошел на вокзал.

Нет ли, господа, у кого-нибудь займы ста рублей?

В аптеке

Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеич Свойкин, чтобы не терять попусту времени, от доктора отправился прямо в аптеку.

«Словно к богатой содержанке идешь или к железнодорожнику, – думал он, забираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами. – Ступить страшно!»

Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За желтой, лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой, строгим

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
лицом и с выхоленными бакенами – по всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плечи на голове и кончая длинными розовыми ногтями, всё на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз, на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В стороне за проволочной решеткой сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выутюженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал:

– Calomedi grana duo, sacchari albi grana quinque, numero decem! [20]

– Ja! [21] – послышался из глубины аптеки резкий, металлический голос.

Провизор продиктовал тем же глухим, мерным голосом микстуру.

– Ja! – послышалось из другого угла.

Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету.

– Через час будет готово, – процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился.

– Нельзя ли поскорее? – пробормотал Свойкин. – Мне решительно невозможно ждать.

Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать мелочь, глубоко вздохнул и щелкнул ключом. В глубине одна из темных фигур завозилась около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы.

Свойкин был болен. Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, в отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флер, а однообразный стук о мраморную ступку и медленное тиканье часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове... Разбитость и головной туман овладевали его телом всё больше и больше, так что, подождав немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтоб подбодрить себя, решил заговорить с провизором...

– Должно быть, у меня горячка начинается, – сказал он. – Доктор сказал, что еще трудно решить, какая у меня болезнь, но уж больно я ослаб... Еще счастье мое, что я в столице заболел, а не дай бог этакую напасть в деревне, где нет докторов и аптек!

Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему Свойкину он не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал... Кассир громко зевнул и чиркнул о панталоны спичкой... Стук мраморной ступки становился всё громче и звонче. Видя, что его не слушают, Свойкин поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи... Перед ним замелькали сначала всевозможные «радиксы»: генциана, пимпинелла, торментилла, зедоария и проч. За радикасами замелькали тинктуры, oleum'ы, semen'ы, с названиями одно другого мудренее и допотопнее.

«Сколько, должно быть, здесь ненужного балласта! – подумал Свойкин. – Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время как всё это солидно и внушительно!»

С полок Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьерро, капли Адельгейма, косметические мыла, мазь для ращения волос...

В аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 коп. бычачьей желчи.

– Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь? – обратился учитель к провизору, обрадовавшись теме для разговора.

Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую,

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
надменно–ученую физиономию провизора.

«Странные люди, ей-богу! – подумал он. – Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для рращения волос, а глядя на их лица, можно подумать, что они и в самом деле жрецы науки. Пишут по-латыни, говорят по-немецки... Средневековое из себя что-то корчат... В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, черствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной утюжной фигуры...»

Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь, во что бы то ни стало, подальше от света, ученой физиономии и стука мраморной ступки... Болезненное утомление овладело всем его существом... Он подошел к прилавку и, состроив умоляющую гримасу, попросил:

– Будьте так любезны, отпустите меня! Я... я болен...

– Сейчас... Пожалуйста, не облакачивайтесь!

Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир.

«Полчаса еще только прошло, – подумал он. – Еще осталось столько же... Невыносимо!»

Но вот, наконец, к провизору подошел маленький, черненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью... Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами... Засим он написал сигнатуру, привязал ее к горлышку склянки и потянулся за печаткой...

«Ну, к чему эти церемонии? – подумал Свойкин. – Трата времени, да и деньги лишние за это возьмут».

Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое и с порошками.

– Получите! – проговорил он наконец, не глядя на Свойкина. – Взнесите в кассу рубль шесть копеек!

Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него, кроме этого рубля, нет больше ни копейки...

– Рубль шесть копеек? – забормотал он, конфузясь. – А у меня только всего один рубль... Думал, что рубля хватит... Как же быть-то?

– Не знаю! – отчеканил провизор, принимаясь за газету.

– В таком случае уж вы извините... Шесть копеек я вам завтра занесу или пришлю...

– Этого нельзя... У нас кредита нет...

– Как же мне быть-то?

– Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарства получите.

– Пожалуй, но... мне тяжело ходить, а прислать некого...

– Не знаю... Не мое дело...

– Гм... – задумался учитель. – Хорошо, я схожу домой...

Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой... Пока он добрался до своего номера, то садился отдыхать раз пять... Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть... Какая-то сила потянула его голову к подушке... Он прилег, как бы на минутку... Туманные образы в виде облаков и закутаных фигур стали завлакивать сознание... Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку, долго заставлял себя встать, но болезнь взяла свое. Медяки

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
высыпались из кулака, и больному стало сниться, что он уже пошел в аптеку и
вновь беседует там с провизором.

Лошадиная фамилия

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но всё это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он наковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние – жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

– Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, – сказал он, – лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы – первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет – и как рукой! Сила ему такая дадена...

– Где же он теперь?

– А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели, у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает... Тамошних, саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.

– Ерунда! Шарлатанство!

– А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

– Пошли, Алеша! – взмолилась генеральша. – Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

– Ну, ладно, – согласился Булдеев. – Тут не только что к акцизному, но и к чёрту депешу пошлешь... Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

– Его в Саратове каждая собака знает, – сказал приказчик. – Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть... Его благородию господину Якову Васильичу... Васильичу...

– Ну?

– Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии... А фамилию вот и забыл!.. Васильичу... Чёрт... Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил... Позвольте-с...

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

– Ну, что же? Скорей думай!

– Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте... Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая – из головы вышибло...

– Жеребятников?

– Никак нет. Постойте... Кобылицын... Кобылятников... Кобелев...

– Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

– Нет, и не Жеребчиков... Лошаднин... Лошаков... Жеребкин... Всё не то!

– Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Сейчас. Лошадкин... Кобылкин... Коренной...

– Коренников? – спросила генеральша.

– Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!

– Так зачем же, чёрт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? – рассердился генерал. – Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

– Ой, батюшки! – вопил он. – Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

– Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский...

Немного погодя его позвали к господам.

– Вспомнил? – спросил генерал.

– Никак нет, ваше превосходительство.

– Может быть, конявский? Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию...

Приказчика то и дело требовали в дом.

– Табунов? – спрашивали у него. – Копытин? Жеребовский?

– Никак нет, – отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. – Коненко... Конченко... Жеребеев... Кобылеев...

– Папа! – кричали из детской. – Тройкин! Уздечкин!

Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами...

– Гнедов! – говорили ему. – Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия всё еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

– Не Меринов ли? – спросил он плачущим голосом.

– Нет, не Меринов, ваше превосходительство, – ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

– Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

– Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню.

– Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Пускай рвет! – решил он. – Нет больше сил терпеть...

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича... Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны...

– Буланов... Чересседельников... – бормотал он. – Засупонин... Лошадский...

– Иван Евсеич! – обратился к нему доктор. – Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой...

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

– Надумал, ваше превосходительство! – закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. – Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

– На-кося! – сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. – Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На-кося!

Не судьба!

Часу в десятом утра два помещика, Гадюкин и Шилохвостов, ехали на выборы участкового мирового судьи. Погода стояла великолепная. Дорога, по которой ехали приятели, зеленела на всем своем протяжении. Старые березы, насаженные по краям ее, тихо шептались молодой листвой. Направо и налево тянулись богатые луга, оглашаемые криками перепелов, чибисов и куличков. На горизонте там и сям белели в синеве дали церкви и барские усадьбы с зелеными крышами.

– Взять бы сюда нашего председателя и носом его потыкать... – проворчал Гадюкин, толстый седовласый барин в грязной соломенной шляпе и с развязавшимся пестрым галстуком, когда бричка, подпрыгивая и звякая всеми своими суставами, объезжала мостик. – Наши земские мосты для того только и строятся, чтобы их объезжали. Правду сказал на прошлом земском собрании граф Дублеве, что земские мосты построены для испытания умственных способностей: ежели человек объехал мост, то, стало быть, он умный, ежели же въехал на мостик и, как водится, шею сломал, то дурак. А всё председатель виноват. Будь у нас председателем другой кто-нибудь, а не пьяница, не соня, не размазня, не было бы таких мостов. Тут нужен человек с понятием, энергический, зубастый, как ты, например... Нелегкая тебя несет в мировые судьи! Баллотировался бы, право, в председатели!

– А вот погоди, как прокатят сегодня на вороных, – скромно заметил Шилохвостов, высокий рыжий человек в новой дворянской фуражке, – то поневоле придется баллотироваться в председатели.

– Не прокатят... – зевнул Гадюкин. – Нам нужны образованные люди, а университетских-то у нас в уезде всего-навсего один – ты! Кого же и выбирать, как не тебя? Так уж и решили... Только напрасно ты в мировые лезешь... В председателях ты нужнее был бы...

– Всё равно, друг... И мировой получает 2 400 и председатель 2 400. Мировой знай сиди себе дома, а председатель то и дело трясись в бричке в управу... Мировому не в пример легче, и к тому же...

Шилохвостов не договорил... Он вдруг беспокойно задвигался и вперил взор вперед на дорогу. Затем он побагровел, плюнул и откинулся на задок.

– Так и знал! Чужало мое сердце! – пробормотал он, снимая фуражку и вытирая со лба пот. – Опять не выберут!

– Что такое? Почему?

– Да нешто не видишь, что отец Онисим навстречу едет? Уж это как пить дать... Встретится тебе на дороге этакая фигура, можешь назад воротиться, потому – ни

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
черта не выйдет. Это уж я знаю! Митька, поворачивай назад! Господи, нарочно пораньше выехал, чтоб с этим иезуитом не встречаться, так нет, пронюхал, что еду! Чутье у него такое!

– Да полно, будет тебе! Выдумываешь, ей-богу!

– Не выдумываю! Ежели священник на дороге встретится, то быть беде, а он каждый раз, как я еду на выборы, всегда норовит мне навстречу выехать. Старый, чуть живой, помирать собирается, а такая злоба, что не приведи создатель! Недаром уж двадцать лет за штатом сидит! И за что мстит-то? За образ мыслей! Мысли мои ему не нравятся! Были мы, знаешь, однажды у Ульева. После обеда, выпивши, конечно, сел я за фортепианы и давай без всякой, знаешь, задней мысли петь «Настоечка травная» да «Грянем в хороводе при всем честном народе», а он услышал и говорит: «Не подобает судии быть с таким образом мыслей касательно иерархии. Не допущу до избрания!» И с той поры каждый раз навстречу ездит... Уж я и ругался с ним и дороги менял – ничего не помогает! Чутьем слышит, когда я выезжаю... Что ж? Теперь надо ворочаться! Всё равно не выберут! Это уж как пить дать... В прошлые разы не выбирали, – а почему? По его милости!

– Ну, полно, образованный человек, в университете кончил, а в бабы предрассудки веришь...

– Не верю я в предрассудки, но у меня примета: как только начну что-нибудь 13-го числа или встречу с этой фигурой, то всегда кончаю плохо. Всё это, конечно, чепуха, вздор, нельзя этому верить, но... объясни, почему всегда так случается, как приметы говорят? Не объяснишь же вот! По-моему, верить не нужно, но на всякий случай не мешает подчиняться этим проклятым приметам... Вернемся! Ни меня, ни тебя, брат, не выберут, и вдобавок еще ось сломается или проиграем... Вот увидишь!

С бричкой поравнялась крестьянская телега, в которой сидел маленький, дряхленький иерей в широкополом, позеленевшем от времени цилиндре и в парусиновой ряске. Поравнявшись с бричкой, он снял цилиндр и поклонился.

– Так нехорошо делать, батюшка! – замахал ему рукой Шилохвостов. – Такие ехидные поступки неприличны вашему сану! Да-с! За это вы ответ должны дать на страшном судилище!.. Воротимся! – обратился он к Гадюкину. – Даром только едем...

Но Гадюкин не согласился вернуться...

Вечером того же дня приятели ехали обратно домой... Оба были багровы и сумрачны, как вечерняя заря перед плохой погодой.

– Говорил ведь я тебе, что нужно было вернуться! – ворчал Шилохвостов. – Говорил ведь. Отчего не послушался? Вот тебе и предрассудки! Будешь теперь не верить! Мало того, что на вороних, подлецы, прокатили, но еще и на смех подняли, анафемы! «Кабак, говорят, на своей земле держишь!» Ну, и держу! Кому какое дело? Держу, да!

– Ничего, через месяц в председатели будешь баллотироваться... – успокоил Гадюкин. – Тебя нарочно сегодня прокатили, чтоб в председатели тебя выбрать...

– Пой соловьем! Всегда ты меня, ехида, утешаешь, а сам первый норовишь черняков набросать! Сегодня ни одного белого не было, все черняки, стало быть, и ты, друг, черняка положил... Мерси...

Через месяц приятели по той же дороге ехали на выборы председателя земской управы, но уже ехали не в десятом часу утра, а в седьмом. Шилохвостов ерзал в бричке и беспокойно поглядывал на дорогу...

– Он не ожидает, что мы так рано выедем, – говорил он, – но все-таки надо спешить... Чёрт его знает, может быть, у него шпионы есть! Гони, митька! Шибче!.. Вчера, брат, – обратился он к Гадюкину, – я послал отцу Онисиму два мешка овса и фунт чаю... Думал его лаской умилостивить, а он взял подарки и говорит Федору:

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
«Кланяйся барину и поблагодари его за дар совершен, но, говорит, скажи ему, что я неподкупен. Не токмо овсом, но и золотом он не поколеблет моих мыслей». Каков? Погоди же... Поедешь и чёрта пухлого встретишь... Гони, Митька!

Бричка въехала в деревню, где жил отец Онисим... Проезжая мимо его двора, приятели заглянули в ворота... Отец Онисим суетился около телеги и торопился запрячь лошадь. Одной рукой он застегивал себе пояс, другой рукой и зубами надевал на лошадь шлею...

– Опоздал! – захохотал Шилохвостов. – Донесли шпионы, да поздно! Ха, ха! На-кося выкуси! Что, съел? Вот тебе и неподкупен! Ха, ха!

Бричка выехала из деревни, и Шилохвостов почувствовал себя вне опасности. Он заликовал.

– Ну, у меня, брат, таких мостов не будет! – начал бравировать будущий председатель, подмигивая глазом. – Я их подтяну, этих подрядчиков! У меня, брат, не такие школы будут! Чуть замечу, что который из учителей пьяница или социалист – айда, брат! чтоб и духу твоего не было! У меня, брат, земские доктора не посмеют в красных рубахах ходить! Я, брат... ты, брат... Гони, Митька, чтоб другой какой поп не встретился!.. Ну, кажись, благополучно доеха... Ай!

Шилохвостов вдруг побледнел и вскочил, как ужаленный.

– Заяц! Заяц! – закричал он. – Заяц дорогу перебежал! Аа... чёрт подери, чтоб его разорвало!

Шилохвостов махнул рукой и опустил голову. Он помолчал немного, подумал и, проведя рукой по бледному, вспотевшему лбу, прошептал:

– Не судьба, знать, мне 2 400 получать... Ворочай назад, Митька! Не судьба!

Необходимое предисловие

Молодая, только что повенчанная пара едет из церкви восвояси.

– Ну-ка, Варя, – говорит муж, – возьми-ка меня за бороду и рвани изо всех сил.

– Бог знает что ты выдумываешь!

– Нет, нет, пожалуйста! Прошу тебя! Возьми и рвани без всяких церемоний...

– Полно, для чего тебе это?

– Варя, я прошу... требую наконец! Если ты любишь меня, то возьмешь меня за бороду и дернешь... Вот моя борода, рви!

– Ни за что! Причинять боль человеку, которого я люблю больше жизни... нет, никогда!

– Но я прошу! – начинает сердиться новоиспеченный супруг. – Понимаешь? Я прошу и... требую!

Наконец, после долгих ломаний, недоумевающая жена запускает свои маленькие ручки в мужнину бороду и рвет ее, насколько хватает сил... Муж даже не морщится...

– Представь, а мне ведь нисколько не больно! – говорит он. – Ей-богу, не больно! А ну-ка, стой, теперь я тебя...

Муж берет жену за несколько волосков, что около виска, и сильно дергает. Жена громко взвизгивает.

– Теперь, мой друг, – резюмирует муж, – ты видишь, что я во много раз сильнее и выносливее тебя. Это тебе необходимо знать на случай, если когда-нибудь в будущем полезешь на меня с кулаками или пообещаешь выцарапать мне глаза... Одним словом, жена да убоится мужа своего!

Нечто серьезное

Ввиду пересмотра «Уложения о наказаниях» [22] не мешало бы кстати внести в него

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
статьи:

О составляющих сообщества любителей сценического искусства и равно о тех, кои, зная о существовании таковых сообществ, не доносят о том, куда следует.

О тех, кои, не имея таланта и дарования, ради корысти, суетной славы или другой личной выгоды, позволяют себе на публичных концертах и семейных вечерах петь романсы или куплеты. (Для таковых самой лучшей исправительной мерой может служить намордник.)

О гимназистах, употребляющих в любовных письмах цитаты из известных авторов (Прудон[23], Бокль и проч.) без указания источников.

О болеющих писательским зудом и изолировании таковых от общества.

О постройке за городом на счет земства толстостенных зданий специально для девиц, уличаемых в злоупотреблении гаммами.

Об изгнании из отечества лиц, кои, выдавая себя за женихов, обедают ежедневно на счет отцов, имеющих дочерей.

О предании рецензентов суду за лихоимство.

О статских советниках, присваивающих себе титул превосходительства.

О педагогах, занимающихся лесоистреблением.

О супругах вице-губернаторов, предводителей и старших советников, кои, пользуясь галантностью и услужливостью секретарей, экзекуторов и чинов полиции, неустанно распространяют подписные листы «в пользу одного бедного семейства», «на обед в честь Ивана Ивановича» и проч., чем и порождают в обывателях малодушный страх перед филантропией.

О девицах, из каких-либо видов скрывающих свой возраст.

О браке муз с безумными и сумасшедшими поэтами.

В вагоне
(Разговорная перестрелка)

– Сосед, сигарочку не угодно ли?

– Мерсі... Великолепная сигара! Почем такие за десяток?

– Право, не знаю, но думаю, что из дорогих... гаванна ведь! После бутылочки Эль-де-Пердри, которую я только что выпил на вокзале, и после анчоусов недурно выкурить такую сигару. Пфф!

– Какая у вас массивная брелока!

– М-да... Триста рубликов-с! Теперь, знаете ли, недурно бы после этой сигары рейнского выпить... Шлос-Иоганисберга, что ли, № 85 S, десятирублевый... А? Или красного... Из красных я пью Кло-де-Вужо-вье-сеп или, пожалуй, Кло-де-Руа-Кортон... Впрочем, если уж пить бургонское, то не иначе как Шамбертен № 38 s. Из бургонских оно самое здоровое...

– Извините, пожалуйста, за нескромный вопрос: вы, вероятно, принадлежите к здешним крупным землевладельцам, или вы... банкир?

– Не-ет, какой банкир! Я пакгаузный надзиратель w-й таможни...

– Жена моя читает «Новости» и «Новое время», сам же я предпочитаю московские газеты. По утрам читаю газеты, а вечером приказываю которой-нибудь из дочерей читать вслух «Русскую старину» или «Вестник Европы». Признаться, я не охотник до толстых журналов, отдаю их знакомым читать, сам же угощаюсь больше иллюстрациями... Читаю «Ниву», «Всемирную»...[24] ну, конечно, и юмористические...

– Неужели вы выписываете все эти газеты и журналы? Вероятно, вы содержите библиотеку?

– Нет-с, я приемщик в почтовом отделении...

– Конечно, лошадиному способу путей сообщения никогда не сравняться с железной дорогой, но и лошади, батенька, хорошая штука... Запряжешь, этак, пять-шесть троек, насажаешь туда бабенок и – ах вы, кони, мои кони, мчитесь сокола быстрее! Едешь, и только искры сыплются! Верст тридцать промчишься и назад... Лучшего удовольствия и выдумать нельзя, особливо зимой... Был, знаете ли, такой случай... Приказываю я однажды людям запрячь десять троек... гости у меня были...

– Виноват... вероятно, у вас свой конский завод?

– Нет-с, я брандмейстер...

– Я не корыстолюбив, не люблю денег... тьфу на них!.. Много я из-за них, поганых, выстрадал, но все-таки говорил и буду говорить: деньги хорошая штука! Ну, что может быть приятнее, когда стоишь, этак, с глазу на глаз с обывателем и вдруг чувствуешь на ладони некоторое бумажное, так сказать, соприкосновение... Так и бегают по жилам искры, когда в кулаке бумаженцию чувствуешь...

– Вы, вероятно, доктор?

– Храни бог! я становой...

– Кондуктор! Где я нахожусь?! В каком я обществе?! В каком я веке живу?!

– Да вы сами кто такой?

– Сапожных дел мастер Егоров...

– Что ни говорите, а тяжел наш писательский труд! (величественный вздох). Недаром коллега Некрасов сказал, что в нашей судьбе что-то лежит роковое...[25] Правда, мы получаем большие деньги, нас всюду знают... наш удел слава, но... всё это суета... Слава, по выражению одного из моих коллег, есть яркая заплатка на грязном рубище слепца...[26] Так тяжело и трудно, что, верите ли, иной раз взял бы и променял славу, деньги и всё на долю пахаря...

– А вы где изволите писать?

– Пишу в «Луче» статьи по еврейскому вопросу...[27]

– Мой муж уходил каждую субботу к министру, и я оставалась одна... Вдруг в одну из суббот приезжают от графа Фикина и спрашивают мужа. «Нужен во что бы то ни стало! Хоть из земли выкапывайте, а давайте нам вашего мужа!» Такие, ей-богу... Где же, говорю, я возьму вам мужа? Сейчас он у министра, оттуда же, чего доброго, заедет к княгине Хронской-Запятой...

– Ааа... Сударыня, ваш супруг по какому министерству изволит служить?

– Он по парикмахерской части... В парикмахерах...

Мыслитель

Знойный полдень. В воздухе ни звуков, ни движений... Вся природа похожа на одну очень большую, забытую богом и людьми, усадьбу. Под опустившейся листвой старой липы, стоящей около квартиры тюремного зрителя Яшкина, за маленьким треногим

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
столом сидят сам Яшкин и его гость, штатный смотритель уездного училища Пимфов. Оба без сюртуков; жилетки их расстегнуты; лица потны, красны, неподвижны; способность их выражать что-нибудь парализована зноем... Лицо Пимфова совсем скисло и заплыло ленью, глаза его посоловели, нижняя губа отвисла. В глазах же и на лбу у Яшкина еще заметна кое-какая деятельность; по-видимому, он о чем-то думает... Оба глядят друг на друга, молчат и выражают свои мучения пыхтением и хлопаньем ладонями по мухам. На столе графин с водкой, мочалистая вареная говядина и коробка из-под сардин с серой солью. Выпиты уже первая, вторая, третья...

– Да-с! – издает вдруг Яшкин, и так неожиданно, что собака, дремлющая недалеко от стола, вздрагивает и, поджав хвост, бежит в сторону. – Да-с! Что ни говорите, Филипп Максимыч, а в русском языке очень много лишних знаков препинания!

– То есть, почему же-с? – скромно вопрошает Пимфов, вынимая из рюмки крылышко мухи. – Хотя и много знаков, но каждый из них имеет свое значение и место.

– Уж это вы оставьте! Никакого значения не имеют ваши знаки. Одно только мудрование... Наставит десяток запятых в одной строчке и думает, что он умный. Например, товарищ прокурора Меринов после каждого слова запятую ставит. Для чего это? Милостивый государь – запятая, посетив тюрьму такого-то числа – запятая, я заметил – запятая, что арестанты – запятая... тьфу! В глазах рябит! Да и в книгах то же самое... Точка с запятой, двоеточие, кавычки разные. Противно читать даже. А иной франт, мало ему одной точки, возьмет и натывает их целый ряд... Для чего это?

– Наука того требует... – вздыхает Пимфов.

– Наука... Умопомрачение, а не наука... Для форсу выдумали... пыль в глаза пущать... Например, ни в одном иностранном языке нет этого ять, а в России есть... Для чего он, спрашивается? Напиши ты хлеб с ятем или без ятя, нешто не всё равно?

– Бог знает что вы говорите, Илья Мартыныч! – обижается Пимфов. – Как же это можно хлеб через е писать? Такое говорят, что слушать даже неприятно.

Пимфов выпивает рюмку и, обиженно моргая глазами, отворачивает лицо в сторону.

– Да и секли же меня за этот ять! – продолжает Яшкин. – Помню это, вызывает меня раз учитель к черной доске и диктует: «Лекарь уехал в город». Я взял и написал лекарь с е. Выпорол. Через неделю опять к доске, опять пиши: «Лекарь уехал в город». Пишу на этот раз с ятем. Опять пороть. За что же, Иван Фомич? Помилуйте, сами же вы говорили, что тут ять нужно! «Тогда, говорит, я заблуждался, прочитав же вчера сочинение некоего академика о ять в слове лекарь, соглашаюсь с академией наук. Порю же я тебя по долгу присяги»... Ну, и порол. Да и у моего Васютки всегда ухо вслухши от этого ять... Будь я министром, запретил бы я вашему брату ятем людей морочить.

– Прощайте, – вздыхает Пимфов, моргая глазами и надевая сюртук. – Не могу я слышать, ежели про науки...

– Ну, ну, ну... уж и обиделся! – говорит Яшкин, хватая Пимфова за рукав. – Я ведь это так, для разговора только... Ну, сядем, выпьем!

Оскорбленный Пимфов садится, выпивает и отворачивает лицо в сторону. Наступает тишина. Мимо пьющих кухарка Феона пронесет лохань с помоями. Слышится помойный плеск и визг облитой собаки. Безжизненное лицо Пимфова раскисает еще больше; вот-вот растает от жары и потечет вниз на жилетку. На лбу Яшкина собираются морщинки. Он сосредоточенно глядит на мочалистую говядину и думает... Подходит к столу инвалид, угрюмо косится на графин и, увидев, что он пуст, приносит новую порцию... Еще выпивают.

– Да-с! – говорит вдруг Яшкин.

Пимфов вздрагивает и с испугом глядит на Яшкина. Он ждет от него новых ересей.

– Да-с! – повторяет Яшкин, задумчиво глядя на графин. – По моему мнению, и наук много лишних!

– То есть, как же это-с? – тихо спрашивает Пимфов. – Какие науки вы находите

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
лишними?

– Всякие... Чем больше наук знает человек, тем больше он мечтает о себе. Гордости больше... Я бы перевешал все эти... науки... Ну, ну... уж и обиделся! Экий какой, ей-богу, обидчивый, слова сказать нельзя! Сядем, выпьем!

Подходит Феона и, сердито тыкая в стороны своими пухлыми локтями, ставит перед приятелями зеленые щи в миске. Начинается громкое хлебание и чавканье. Словно из земли вырастают три собаки и кошка. Они стоят перед столом и умильно поглядывают на жующие рты. За щами следует молочная каша, которую Феона ставит с такой злобой, что со стола сыплются ложки и корки. Перед кашей приятели молча выпивают.

– Всё на этом свете лишнее! – замечает вдруг Яшкин.

Пимфов роняет на колени ложку, испуганно глядит на Яшкина, хочет протестовать, но язык ослабел от хмеля и запутался в густой каше... Вместо обычного «то есть, как же это-с?» получается одно только мычание.

– Всё лишнее... – продолжает Яшкин. – И науки, и люди... и тюремные заведения, и мухи... и каша... И вы лишние... Хотя вы и хороший человек, и в бога веруете, но и вы лишние...

– Прощайте, Илья Мартыныч! – лепечет Пимфов, сиюсь надеть сюртук и никак не попадая в рукава.

– Сейчас вот мы натрескались, налопались, – а для чего это? Так... Всё это лишнее... Едим и сами не знаем, для чего... Ну, ну... уж и обиделся! Я ведь это так только... для разговора! И куда вам идти? Посидим, потолкуем... выпьем!

Наступает тишина, изредка только прерываемая звяканьем рюмок да пьяным побрякиваньем... Солнце начинает уже клониться к западу, и тень липы всё растет и растет. Приходит Феона и, фыркая, резко махая руками, расстилает около стола коврик. Приятели молча выпивают по последней, располагаются на ковре и, повернувшись друг к другу спинами, начинают засыпать...

«Слава богу, – думает Пимфов, – сегодня не дошел до сотворения мира и иерархии, а то бы волосы дыбом, хоть святых выноси...»

Заблудшие

Дачная местность, окутанная ночным мраком. На деревенской колокольне бьет час. Присяжные поверенные Козявкин и Лаев, оба в отменном настроении и слегка пошатываясь, выходят из лесу и направляются к дачам.

– Ну, слава создателю, пришли... – говорит Козявкин, переводя дух. – В нашем положении пройти пехтурой пять верст от полустанка – подвиг. Страшно умаялся! И, как на зло, ни одного извозчика...

– Голубчик, Петя... не могу! Если через пять минут я не буду в постели, то умру, кажется...

– В по-сте-ли? Ну, это шалишь, брат! Мы сначала поужинаем, выпьем красненького, а потом уж и в постель. Мы с Верочкой не дадим тебе спать... А хорошо, братец ты мой, быть женатым! Ты не понимаешь этого, черствая душа! Приду я сейчас к себе домой утомленный, замученный... меня встретит любящая жена, попоит чайком, даст поесть и, в благодарность за мой труд, за любовь, взглянет на меня своими черненькими глазенками так ласково и приветливо, что забуду я, братец ты мой, и усталость, и кражу со взломом, и судебную палату, и кассационный департамент... Хоррошо!

– Но... у меня, кажется, ноги отломались... Я едва иду... Пить страшно хочется...

– Ну, вот мы и дома.

Приятели подходят к одной из дач и останавливаются перед крайним окном.

– Дачка славная, – говорит Козявкин. – Вот завтра увидишь, какие здесь виды! Темно в окнах. Стало быть, Верочка уже легла, не захотела дожидаться. Лежит и,

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru должно быть, мучится, что меня до сих пор нет... (пихает тростью окно, которое отворяется). Этакая ведь бесстрашная, ложится в постель и не запирает окон (снимает крылатку и бросает ее вместе с портфелем в окно). Жарко! Давай-ка затынем серенаду, посмешим ее... (поет): «Месяц плывет по ночным небесам... Ветерочек чуть-чуть дышит... ветерочек чуть колышет»...[28] Пой, Алеша! Верочка, спеть тебе серенаду Шуберта? (поет): «Пе-еснь моя-я-я... лети-ит с мольбо-о-о-ю»...[29] (голос обрывается судорожным кашлем). Тьфу! Верочка, скажи-ка Аксинье, чтобы она отперла нам калитку! (пауза). Верочка! Не ленись же, встань, милая! (становится на камень и глядит в окно). Верунчик, мумочка моя, веревьюнчик... ангелочек, жена моя бесподобная, встань и скажи Аксинье, чтобы она отперла нам калитку! Ведь не спишь же! Мамочка, ей-богу, мы так утомлены и обессилены, что нам вовсе не до шуток. Ведь мы пешком от станции шли! Да ты слышишь или нет? А, чёрт возьми! (делает попытку влезть в окно и срывается). Может быть, гостю неприятны эти шутки! Ты, я вижу, Вера, такая же институтка, как была, всё бы тебе шалить...

– А может быть, Вера Степановна спит! – говорит Лаев.

– Не спит! Ей, вероятно, хочется, чтобы я поднял шум и взбудоражил всех соседей! Я уже начинаю сердиться, Вера! А, чёрт возьми! Подсади меня, Алеша, я влезу! Девчонка ты, школьница и больше ничего!.. Подсади!

Лаев с пыхтеньем подсаживает Козявкина. Тот влезает в окно и исчезает во мраке комнаты.

– Верка! – слышит через минуту Лаев. – Где ты? Чёррт... Тьфу, во что-то руку выпачкал! Тьфу!

Слышится шорох, хлопанье крыльев и отчаянный крик курицы.

– Вот те на! – слышит Лаев. – Вера, откуда у нас куры? Чёрт возьми, да тут их пропасть! Плетушка с индейкой... Клюется, п-подлая!

Из окна с шумом вылетают две курицы и, крича во всё горло, мчатся по улице.

– Алеша, да мы не туда попали! – говорит Козявкин плачущим голосом. – Тут куры какие-то... Я, должно быть, обознался... Да ну вас к чёрту, разлетались тут, анафемы!

– Так ты выходи поскорей! Понимаешь? Умираю от жажды!

– Сейчас... Найду вот крылатку и портфель...

– Ты спичку зажги!

– Спички в крылатке... Угораздило же меня сюда забраться! Все дачи одинаковые, сам чёрт не различит их в потемках. Ой, индейка в щёку клюнула! П-подлая...

– Выходи поскорее, а то подумают, что мы кур ворует!

– Сейчас... Крылатки никак не найду. Тряпья здесь валяется много, и не разберешь, где тут крылатка. Брось-ка мне спички!

– У меня нет спичек!

– Положение, нечего сказать! Как же быть-то? Без крылатки и портфеля никак нельзя. Надо отыскать их.

– Не понимаю, как это можно не узнать своей собственной дачи, – возмущается Лаев. – Пьяная рожа... Если б я знал, что будет такая история, ни за что бы не поехал с тобой. Теперь бы я был дома, спал безмятежно, а тут изволь вот мучиться... Страшно утомлен, пить хочется... голова кружится!

– Сейчас, сейчас... не умрешь...

Через голову Лаева с криком пролетает большой петух. Лаев глубоко вздыхает и, безнадежно махнув рукой, садится на камень. Душа у него горит от жажды, глаза слипаются, голову клонит вниз... Проходит минут пять, десять, наконец, двадцать, а

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Козьявкин всё еще возится с курами.

– Петр, скоро ли ты?

– Сейчас. Нашел было портфель, да опять потерял.

Лаев подпирает голову кулаками и закрывает глаза. Куриный крик становится всё громче. Обитательницы пустой дачи вылетают из окна и, кажется ему, как совы кружатся во тьме над его головой. От их крика в ушах его стоит звон, душой овладевает ужас.

«Сскотина!.. – думает он. – Пригласил в гости, обещал угостить вином да простоквашей, а вместо того заставил пройтись от станции пешком и этих кур слушать...»

Возмущаясь, Лаев сует подбородок в воротник, кладет голову на свой портфель и мало-помалу успокаивается. Утомление берет свое, и он начинает засыпать.

– Нашел портфель! – слышит он торжествующий крик Козьявкина. – Найду сейчас крылатку и – баста, идем!

Но вот сквозь сон слышит он собачий лай. Лаает сначала одна собака, потом другая, третья... и собачий лай, мешаясь с куриным кудахтаньем, дает какую-то дикую музыку. Кто-то подходит к Лаеву и спрашивает о чем-то. Засим слышит он, что через его голову лезут в окно, стучат, кричат... Женщина в красном фартуке стоит около него с фонарем в руке и о чем-то спрашивает.

– Вы не имеете права говорить это! – слышит он голос Козьявкина. – Я присяжный поверенный, кандидат прав Козьявкин. Вот вам моя визитная карточка!

– На что мне ваша карточка! – говорит кто-то хриплым басом. – Вы у меня всех кур поразгоняли, вы подавили яйца! Поглядите, что вы наделали! Не сегодня-завтра индюшата должны были вылупиться, а вы подавили. На что же, сударь, сдалась мне ваша карточка?

– Вы не смеете меня удерживать! Да-с! Я не позволю!

«Пить хочется»... – думает Лаев, стараясь открыть глаза и чувствуя, как через его голову кто-то лезет из окна.

– Я – Козьявкин! Тут моя дача, меня тут все знают!

– Никакого Козьявкина мы не знаем!

– Что ты мне рассказываешь? Позвать старосту! Он меня знает!

– Не горячитесь, сейчас урядник приедет... Всех дачников тутошних мы знаем, а вас отродясь не видели.

– Я уж пятый год в Гнилых Выселках на даче живу!

– Эва! Нешто это Выселки? Здесь Хилово, а Гнилые Выселки правее будут, за спичечной фабрикой. Версты за четыре отсюда.

– Чёрт меня возьми! Это, значит, я не той дорогой пошел!

Человеческие и птичьи крики мешаются с собачьим лаем, и из смеси звукового хаоса выделяется голос Козьявкина:

– Вы не смеете! Я заплачу! Вы узнаете, с кем имеете дело!

Наконец, голоса мало-помалу стихают. Лаев чувствует, что его треплют за плечо.

Егерь

Знойный и душный полдень. На небе ни облачка... Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадежно: хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей... Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то.

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
По краю сечи лениво, вразвалку, плетется высокий узкоплечий мужчина лет сорока, в красной рубахе, латаных господских штанах и в больших сапогах. Плетется он по дороге. Направо зеленеет сеча, налево, до самого горизонта, тянется золотистое море поспевшей ржи... Он красен и вспотел. На его красивой белокурой голове ухарски сидит белый картузик с прямым, жокейским козырьком, очевидно подарок какого-нибудь расщедрившегося барича. Через плечо перекинут ягдташ, в котором лежит скомканный петух-тетерев. Мужчина держит в руках двустволку со взведенными курками и щурит глаза на своего старого, тощего пса, который бежит впереди и обнюхивает кустарник. Кругом тихо, ни звука... Всё живое попряталось от зноя.

– Егор Власыч! – слышит вдруг охотник тихий голос.

Он вздрагивает и, оглядевшись, хмурит брови. Возле него, словно из земли выросши, стоит бледнолицая баба лет тридцати, с серпом в руке. Она старается заглянуть в его лицо и застенчиво улыбается.

– А, это ты, Пелагея! – говорит охотник, останавливаясь и медленно спуская курки. – Гм!.. Как же это ты сюда попала?

– Тут из нашей деревни бабы работают, так вот и я с ими... В работницах, Егор Власыч.

– Тэк... – мычит Егор Власыч и медленно идет дальше.

Пелагея за ним. Проходят молча шагов двадцать.

– Давно уж я вас не видала, Егор Власыч... – говорит Пелагея, нежно глядя на двигающиеся плечи и лопатки охотника. – Как заходили вы на Святой в нашу избу воды напиться, так с той поры вас и не видали... На Святой на минутку зашли, да и то бог знает как... в пьяном виде... Побранили, побили и ушли... Уж я ждала, ждала... глаза все проглядела, вас поджидаячи... Эх, Егор Власыч, Егор Власыч! Хоть бы разочек зашли!

– Что ж мне у тебя делать-то?

– Оно, конечно, делать нечего, да так... все-таки ж хозяйство... Поглядеть, как и что... Вы хозяин... Ишь ты, тетерьку подстрелили. Егор Власыч! Да вы бы сели, отдохнули...

Говоря всё это, Пелагея смеется, как дурочка, и глядит вверх на лицо Егора... От лица ее так и дышит счастьем...

– Посидеть? Пожалуй... – говорит равнодушным тоном Егор и выбирает местечко между двумя рядом растущими елками. – Что ж ты стоишь? Садись и ты!

Пелагея садится поодаль на припеке и, стыдась своей радости, закрывает рукой улыбающийся рот. Минуты две проходят в молчании.

– Хоть бы разочек зашли, – говорит тихо Пелагея.

– Зачем? – вздыхает Егор, снимая свой картузик и вытирая рукавом красный лоб. – Нет никакой надобности. Зайти на час-другой – канитель одна, только тебя взбаламутишь, а постоянно жить в деревне – душа не терпит... Сама знаешь, человек я балованный... Мне чтоб и кровать была, и чай хороший, и разговоры деликатные... чтоб все степени мне были, а у тебя там на деревне беднота, копоть... Я и дня не выживу. Ежели б указ такой, положим, вышел, чтоб беспрременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или руки бы на себя наложил. Сызмалетства во мне это баловство сидит, ничего не поделаешь.

– Таперя вы где живете?

– У барина, Дмитрия Иваныча, в охотниках. К его столу дичь поставляю, а больше так... из-за удовольствия меня держит.

– Не степенное ваше дело, Егор Власыч... Для людей это баловство, а у вас оно, словно как бы и ремесло... занятие настоящее...

– Не понимаешь ты, глупая, – говорит Егор, мечтательно глядя на небо. – Ты

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru отродясь не понимала и век тебе не понять, что я за человек... По-твоему, я шальной заблудящий человек, а который понимающий, для того я что ни на есть лучший стрелок во всем уезде. Господа это чувствуют и даже в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется со мной по охотничьей части... А что я вашим деревенским занятием брезгаю, так это не из баловства, не из гордости. С самого младенчества, знаешь, я окромя ружья и собак никакого занятия не знал. Ружье отнимают, я за удочку, удочку отнимают, я руками промышляю. Ну, и по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились, а сама знаешь, что ежели который мужик записался в охотники или в лошадики, то прощай соха. Раз сядет в человека вольный дух, то ничем его не выковыришь. Тоже вот ежели который барин пойдет в ахтеры или по другим каким художествам, то не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках. Ты баба, не понимаешь, а это понимать надо.

– Я понимаю, Егор Власыч.

– Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься...

– Я... я не плачу... – говорит Пелагея, отворачиваясь. – Грех, Егор Власыч! Хоть бы денек со мной, несчастной, пожил. Уж двенадцать лет, как я за вас вышла, а... а промеж нас ни разу любви не было!.. Я... я не плачу...

– Любви... – бормочет Егор, почесывая руку. – Никакой любви не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена, а нешто это так и есть? Я для тебя дикий человек есть, ты для меня простая баба, не понимающая. Нешто мы пара? Я вольный, балованный, гулящий, а ты работница, лапотница, в грязи живешь, спины не разгибаешь. О себе я так понимаю, что я по охотничьей части первый человек, а ты с жалостью на меня глядишь... Где же тут пара?

– Да ведь венчаны, Егор Власыч! – всхлипывает Пелагея.

– Не волей венчаны... Нешто забыла? Графа Сергея Павлыча благодари... и себя. Граф из зависти, что я лучше его стреляю, месяц целый вином меня спаивал, а пьяного не токмо что перевенчать, но и в другую веру совратить можно. Взял и в отместку пьяного на тебе женил... Егеря на скотнице! Ты видала, что я пьяный, зачем выходила? Не крепостная ведь, могла супротив пойти! Оно, конечно, скотнице счастье за егеря выйти, да ведь надо рассуждение иметь. Ну, вот теперь и мучайся, плачь. Графу смешки, а ты плачь... бейся об стену...

Наступает молчание. Над сечей пролетают три дикие утки. Егор смотрит на них и провожает их глазами до тех пор, пока они, превратившись в три едва видные точки, не опускаются далеко за лесом.

– Чем живешь? – спрашивает он, переводя глаза с уток на Пелагею.

– Таперя на работу хожу, а зимой ребеночка из воспитательного дома беру, кормлю соской. Полтора рубля в месяц дают.

– Тэк...

Опять молчание. С сжатой полосы несется тихая песня, которая обрывается в самом начале. Жарко петь...

– Сказывают, что вы Акулине новую избу поставили, – говорит Пелагея.

Егор молчит.

– Стало быть, она вам по сердцу...

– Счастье уж твое такое, судьба! – говорит охотник, потягиваясь. – Терпи, сирота. Но, одначе, прощай, заболтался... К вечеру мне в Болтово поспеть нужно...

Егор поднимается, потягивается и перекидывает ружье через плечо. Пелагея встает.

– А когда же в деревню придете? – спрашивает она тихо.

– Незачем. Тверезый никогда не приду, а от пьяного тебе мало корысти. Злоблюсь я пьяный... Прощай!

– Прощайте, Егор Власыч...

Егор надевает картуз на затылок и, чмокнув собаке, продолжает свой путь. Пелагея стоит на месте и смотрит ему вслед... Она видит его двигающиеся лопатки, молодецкий затылок, ленивую, небрежную поступь, и глаза ее наполняются грустью и нежной лаской... Взгляд ее бежит по тощей, высокой фигуре мужа и ласкает, нежит его... Он, словно чувствуя этот взгляд, останавливается и оглядывается... Молчит он, но по его лицу, по приподнятым плечам Пелагее видно, что он хочет ей сказать что-то. Она робко подходит к нему и смотрит на него умоляющими глазами.

– На тебе! – говорит он, отворачиваясь.

Он подает ей истрепанный рубль и быстро уходит.

– Прощайте, Егор Власыч! – говорит она, машинально принимая рубль.

Он идет по длинной, прямой, как вытянутый ремень, дороге... Она, бледная, неподвижная, как статуя, стоит и ловит взглядом каждый его шаг. Но вот красный цвет его рубахи сливается с темным цветом брюк, шаги не видны, собаку не отличишь от сапог. Виден только один картузик, но... вдруг Егор круто поворачивает направо в сечу и картузик исчезает в зелени.

– Прощайте, Егор Власыч! – шепчет Пелагея и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидеть белый картузик.

Злоумышленник

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонко в пестрядиной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесанных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.

– Денис Григорьев! – начинает следователь. – Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?

– Чаво?

– Так ли всё это было, как объясняет Акинфов?

– Знамо, было.

– Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

– Чаво?

– Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

– Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, – хрипит Денис, косясь на потолок.

– Для чего же тебе понадобилась эта гайка?

– Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...

– Кто это – мы?

– Мы, народ... Климовские мужики, то есть.

– Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

– Отродясь не врал, а тут вру... – бормочет Денис, мигая глазами. – Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выполозка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру... – усмехается Денис. – Чёрт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
то редко... В нашей реке не живет шилишпер... Эта рыба простор любит.

– Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?

– Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан...

– Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?

– А то что же? Не в бабки ж играть!

– Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой-нибудь...

– Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить... И тяжелая, и дыра есть.

– Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!

– Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было... Спаси и помилуй, царица небесная... Что вы-с!

– А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!

Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.

– Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогда, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка!

– Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

– Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...

Денис зеваает и крестит рот.

– В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, – говорит следователь. – Теперь понятно, почему...

– Чего изволите?

– Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов... Я понимаю!

– На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши... Господь знал, кому понятие давал... Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит... Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано – мужик, мужицкий и ум... Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.

– Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку... Эту в каком месте ты отвинтил и когда?

– Это вы про ту гайку, что под красным сундучком-лежала?

– Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?

– Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.

– С каким Митрофаном?

– С Митрофаном Петровым... Нешто не слышали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять...

– Послушай... 1081 статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье... понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание... он приговаривается к ссылке в каторжные работы.

– Конечно, вы лучше знаете... Мы люди темные... нешто мы понимаем?

– Всё ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

– Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите... Без грузила только уклею ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.

– Ты еще про шилишпера расскажи! – улыбается следователь.

– Шилишпер у нас не водится... Пуцаем леску без грузила поперх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.

– Ну, молчи...

Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, смотрит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.

– Мне идтить? – спрашивает Денис после некоторого молчания.

– Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно смотрит на чиновника.

– То есть, как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить...

– Молчи, не мешай.

– В тюрьму... Было б за что, пошел бы, а то так... здорово живешь... За что? И не крал, кажись, и не дрался... А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте... Вы господина неперменного члена спросите... Креста на нем нет, на старосте-то...

– Молчи!

– Я и так молчу... – бормочет Денис. – А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой... Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев...

– Ты мне мешаешь... Эй, Семен! – кричит следователь. – Увести его!

– Нас три брата, – бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. – Брат за брата не ответчик... Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай... Судья! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям... Надо судить умеючи, не зря... Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести...

Жених и папенька
(нечто современное)
Сценка

– А вы, я слышал, женитесь! – обратился к Петру Петровичу Милкину на дачном балу один из его знакомых. – Когда же мальчишник справлять будете?

– Откуда вы взяли, что я женюсь? – вспыхнул Милкин. – Какой это дурак вам сказал?

– Все говорят, да и по всему видно... Нечего скрытничать, батенька... Вы думаете, что нам ничего не известно, а мы вас насквозь видим и знаем! Хе-хе-хе... По всему видно... Целые дни просиживаете вы у Кондрашкиных, обедаете там, ужинаете, романсы поете... Гуляете только с Настенькой Кондрашкиной, ей одной только букеты и таскаете... Всё видим-с! Намедни встречается мне сам Кондрашкин-папенька и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете с дачи в город, то сейчас же и свадьба... Что ж? дай бог! Не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина... Ведь семь дочек у бедняги! Семь! Шутка ли? Хоть бы одну бог привел пристроить...

«Чёрт побери... – подумал Милкин. – Это уж десятый говорит мне про женитьбу на Настеньке. И из чего заключили, чёрт их возьми совсем! Из того, что ежедневно обедаю у Кондрашкиных, гуляю с Настенькой... Не-ет, пора уж прекратить эти толки, пора, а то того и гляди, что женят, анафемы!.. Схожу завтра объяснюсь с этим болваном Кондрашкиным, чтоб не надеялся попусту, и – айда!»

На другой день после описанного разговора Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина.

– Петру Петровичу! – встретил его хозяин. – Как живем-можем? Соскучились, ангел? Хе-хе-хе... Сейчас Настенька придет... На минутку к Гусевым побежала...

– Я, собственно говоря, не к Настасье Кирилловне, – пробормотал Милкин, почесывая в смущении глаз, – а к вам... Мне нужно поговорить с вами кое о чем... В глаз что-то попало...

– О чем же это вы собираетесь поговорить? – мигнул глазом Кондрашкин. – Хе-хе-хе... Чего же вы смущены так, милаша? Ах, мужчина, мужчина! Беда с вами, с молодежью! Знаю, о чем это вы хотите поговорить! Хе-хе-хе... Давно пора...

– Собственно говоря, некоторым образом... дело, видите ли, в том, что я... пришел проститься с вами... Уезжаю завтра...

– То есть как уезжаете? – спросил Кондрашкин, вытаращив глаза.

– Очень просто... Уезжаю, вот и всё... Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство... Дочери ваши такие милые... Никогда не забуду минут, которые...

– Позвольте-с... – побагровел Кондрашкин. – Я не совецем вас понимаю. Конечно, каждый человек имеет право уезжать... можете вы делать всё, что вам угодно, но, милостивый государь, вы... отвиливаете... Нечестно-с!

– Я... я... я не знаю, как же это я отвиливаю?

– Ходил сюда целое лето, ел, пил, обнадеживал, балясы тут с девчонками от зари до зари точил, и вдруг, на тебе, уезжаю!

– Я... я не обнадеживал...

– Конечно, предложения вы не делали, да разве не видно было, к чему клонились ваши поступки? Каждый день обедал, с Настей по целым ночам под ручку... да нешто всё это спроста делается? Женихи только ежедневно обедают, а не будь вы женихом, нешто я стал бы вас кормить? Да-с! нечестно! Я и слушать не желаю! Извольте делать предложение, иначе я... тово...

– Настасья Кирилловна очень милая... хорошая девица... Уважаю я ее и... лучшей жены не желал бы себе, но... мы не сошлись убеждениями, взглядами.

– В этом и причина? – улыбнулся Кондрашкин. – Только-то? Да душенька ты моя, разве можно найти такую жену, чтоб взглядами была на мужа похожа? Ах, молодец, молодец! Зелень, зелень! Как запустит какую-нибудь теорию, так ей-богу... хе-хе-хе... в жар даже бросает... Теперь взглядами не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости и сгладятся... Мостовая, пока новая – ездить нельзя, а как пообъездят ее немножко, то мое почтение!

– Так-то так, но... я недостоин Настасьи Кирилловны...

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Достоин, достоин! Пустяки! Ты славный парень!

– Вы не знаете всех моих недостатков... Я беден...

– Пустое! Жалованье получаете и слава богу...

– Я... пьяница...

– Ни-ни-ни!.. Ни разу не видал пьяным!.. – замахал руками Кондрашкин. – Молодежь не может не пить... Сам был молод, переливал через край. Нельзя без этого...

– Но ведь я запоем. Во мне наследственный порок!

– Не верю! Такой розан и вдруг – запой! Не верю!

«Не обманешь чёрта! – подумал Милкин. – Как ему, однако, дочек спихнуть хочется!»

– Мало того, что я запоем страдаю, – продолжал он вслух, – но я наделен еще и другими пороками. Взятки беру...

– Милаша, да кто же их не берет? Хе-хе-хе. Эка, поразил!

– И к тому же я не имею права жениться до тех пор, пока я не узнаю решения моей судьбы... Я скрывал от вас, но теперь вы должны всё узнать... Я... я состою под судом за растрату...

– Под су-дом? – обомлел Кондрашкин. – Н-да... новость... Не знал я этого. Действительно, нельзя жениться, покуда судьбы не узнаешь... А вы много растратили?

– Сто сорок четыре тысячи.

– Н-да, сумма! Да, действительно, Сибирью история пахнет... Этак девчонка может ни за грош пропасть. В таком случае нечего делать, бог с вами...

Милкин свободно вздохнул и потянулся к шляпе...

– Впрочем, – продолжал Кондрашкин, немного подумав, – если Настенька вас любит, то она может за вами туда следовать. Что за любовь, ежели она жертв боится? И к тому же, Томская губерния плодородная. В Сибири, батенька, лучше живется, чем здесь. Сам бы поехал, коли б не семья. Можете делать предложение!

«Экий чёрт несговорчивый! – подумал Милкин. – За нечистого готов бы дочку выдать, лишь бы только с плеч спихнуть».

– Но это не всё... – продолжал он вслух. – Меня будут судить не за одну только растрату, но и за подлог.

– Всё равно! Одно наказание!

– Тьфу!

– Чего это вы так громко плюете?

– Так... Послушайте, я вам еще не всё открыл... Не заставляйте меня высказывать вам то, что составляет тайну моей жизни... страшную тайну!

– Не желаю я знать ваших тайн! Пустяки!

– Не пустяки, Кирилл Трофимыч! Если вы услышите... узнаете, кто я, то отшатнетесь... Я... я беглый каторжник!!.

Кондрашкин отскочил от Милкина, как ужаленный, и окаменел. Минуту он стоял молча, неподвижно и глазами, полными ужаса, глядел на Милкина, потом упал в кресло и простонал:

– Не ожидал... – промычал он. – Кого согрел на груди своей! Идите! Ради бога уходите! Чтoб я и не видел вас! Ох!

Милкин взял шляпу и, торжествуя победу, направился к двери...

– Пойдите! – остановил его Кондрашкин. – Отчего же вас до сих пор еще не задержали?

– Под чужой фамилией живу... Трудно меня задержать...

– Может быть, вы и до самой смерти этак проживете, что никто и не узнает, кто вы... Пойдите! Теперь ведь вы честный человек, раскаялись уже давно... Бог с вами, так и быть уж, женитесь!

Милкина бросило в пот... Врать дальше беглого каторжника было бы уже некуда, и оставалось одно только: позорно бежать, не мотивируя своего бегства... И он готов уж был юркнуть в дверь, как в его голове мелькнула мысль...

– Послушайте, вы еще не всё знаете! – сказал он. – Я... я сумасшедший, а безумным и сумасшедшим брак возбраняется...

– Не верю! Сумасшедшие не рассуждают так логично...

– Стало быть, не понимаете, если так рассуждаете! Разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в известное время сумасшествуют, а в промежутках ничем не отличаются от обыкновенных людей?

– Не верю! И не говорите!

– В таком случае я вам от доктора свидетельство доставлю!

– Свидетельству поверю, а вам нет... Хорош сумасшедший!

– Через полчаса я принесу вам свидетельство... Пока прощайте...

Милкин схватил шляпу и поспешно выбежал. Минут через пять он уже входил к своему приятелю доктору Фитюеву, но, к несчастью, попал к нему именно в то время, когда он поправлял свою куафюру после маленькой ссоры со своей женой.

– Друг мой, я к тебе с просьбой! – обратился он к доктору. – Дело вот в чем... Меня хотят открутить во что бы то ни стало... Чтобы избежать этой напасти, я придумал показать себя сумасшедшим... Гамлетовский прием, в некотором роде... Сумасшедшим, понимаешь, нельзя жениться... Будь другом, дай мне удостоверение в том, что я сумасшедший!

– Ты не хочешь жениться? – спросил доктор.

– Ни за какие коврижки!

– В таком случае не дам я тебе свидетельства, – сказал доктор, трогаясь за свою куафюру. – Кто не хочет жениться, тот не сумасшедший, а напротив, умнейший человек... А вот когда захочешь жениться, ну тогда приходи за свидетельством... Тогда ясно будет, что ты сошел с ума...

Гость
(Сценка)

У частного поверенного Зельтерского слипались глаза. Природа погрузилась в потемки. Затихли ветерки, замолкли птичек хоры, и прилегли стада. [30] Жена Зельтерского давно уже пошла спать, прислуга тоже спала, вся живность уснула, одному только Зельтерскому нельзя было идти в спальную, хотя на его веках и висела трехпудовая тяжесть. Дело в том, что у него сидел гость, сосед по даче, отставной полковник Перегарин. Как пришел он после обеда и как сел на диван, так с той поры ни разу не поднимался, словно прилип. Он сидел и хриплым, гнусавым голосом рассказывал, как в 1842 г. в городе Кременчуге его бешеная собака укусила. Рассказал и опять начал снова. Зельтерский был в отчаянии. Чего он только ни делал, чтобы выжить гостя! Он то и дело посматривал на часы, говорил, что у него голова болит, то и дело выходил из комнаты, где сидел гость, но ничто не помогало. Гость не понимал и продолжал про бешеную собаку.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
«Этот старый хрыч до утра просидит! – злился Зельтерский. – Такая дубина! Ну, уж если он не понимает обыкновенных намеков, то придется пустить в ход более грубые приемы».

– Послушайте, – сказал он вслух, – знаете, чем нравится мне дачная жизнь?

– Чем-с?

– Тем, что здесь можно жизнь регулировать. В городе трудно держаться какого-нибудь определенного режима, здесь же наоборот. В девять мы встаем, в три обедаем, в десять ужинаем, в двенадцать спим. В двенадцать я всегда в постели. Храни меня бог лечь позже: не отделаться на другой день от мигрени!

– Скажите... Кто как привык, это действительно. Был у меня, знаете ли, один знакомый, некто Ключкин, штабс-капитан. Познакомился я с ним в Серпухове. Ну-с, так вот этот самый Ключкин...

И полковник, заикаясь, причмокивая и жестикулируя жирными пальцами, начал рассказывать про Ключкина. Пробило двенадцать, часовую стрелку потянуло к половине первого, а он всё рассказывал. Зельтерского бросило в пот.

«Не понимает! Глуп! – злился он. – Неужели он думает, что своим посещением доставляет мне удовольствие? Ну как его выжить?»

– Послушайте, – перебил он полковника, – что мне делать? У меня ужасно болит горло! Чёрт меня дернул зайти сегодня утром к одному знакомому, у которого ребенок лежит в дифтерите. Вероятно, я заразился. Да, чувствую, что заразился. У меня дифтерит!

– Случается! – невозмутимо прогнусавил Перегарин.

– Болезнь опасная! Мало того, что я сам болен, но могу еще и других заразить. Болезнь в высшей степени прилипчивая! Как бы мне вас не заразить, Парфений Саввич!

– Меня-то? Ге-ге! В тифозных госпиталях живал – не заражался, а у вас вдруг заражусь! Хе-хе... Меня, батенька, старую кочерыжку, никакая болезнь не возьмет. Старики живучи. Был у нас в бригаде один старенький старичок, подполковник Требьен... французского происхождения. Ну-с, так вот этот Требьен...

И Перегарин начал рассказывать о живучести Требьена. Часы пробили половину первого.

– Виноват, я вас перебую, Парфений Саввич, – простонал Зельтерский. – Вы в котором часу ложитесь спать?

– Когда в два, когда в три, а бывает так, что и вовсе не ложусь, особенно ежели в хорошей компании просидишь или ревматизм разгуляется. Сегодня, например, я часа в четыре лягу, потому до обеда выспался. Я в состоянии вовсе не спать. На войне мы по целым неделям не ложились. Был такой случай. Стояли мы под Ахалцыхом... [31]

– Виноват. А вот я так всегда в двенадцать ложусь. Встаю я в девять часов, так поневоле приходится раньше ложиться.

– Конечно. Раньше вставать и для здоровья хорошо. Ну-с, так вот-с... стоим мы под Ахалцыхом...

– Чёрт знает что. Знобит меня, в жар бросает. Всегда этак у меня перед припадком бывает. Надо вам сказать, что со мною случаются иногда странные, нервные припадки. Часу этак в первом ночи... днем припадков не бывает... вдруг в голове начинается шум: жжж... Я теряю сознание, вскакиваю и начинаю бросать в домашних чем попало. Попадется под руку нож – я ножом, стул – я стулом. Сейчас знобит меня, вероятно, перед припадком. Всегда знобом начинается.

– Ишь ты... А вы полечились бы!

– Лечился, не помогает... Ограничиваюсь только тем, что занеоддо до припадка

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
предупреждаю знакомых и домашних, чтоб уходили, а лечение давно уже бросил...

– Пссс... Каких только на свете нет болезней! И чума, и холера, и припадки разные...
Полковник покачал головой и задумался. Наступило молчание.

«Почитаю-ка ему свое произведение, – надумал Зельтерский. – Там у меня где-то роман валяется, в гимназии еще писал... Авось службу сослужит...»

– Ах, кстати, – перебил Зельтерский размышления Перегарина, – не хотите ли, я почитаю вам свое сочинение? На досуге как-то состряпал... Роман в пяти частях с прологом и эпилогом...

И, не дожидаясь ответа, Зельтерский вскочил и вытащил из стола старую, заржавленную рукопись, на которой крупными буквами было написано: «Мертвая зыбь. Роман в пяти частях».

«Теперь наверное уйдет, – мечтал Зельтерский, перелистывая грехи своей юности. – Буду читать ему до тех пор, пока не вззоет...»

– Ну, слушайте, Парфений Саввич...

– С удовольствием... я люблю-с...

Зельтерский начал. Полковник положил ногу на ногу, поудобней уселся и сделал серьезное лицо, очевидно, приготовился слушать долго и добросовестно... Чтец начал с описания природы. Когда часы пробили час, природа уступила свое место описанию замка, в котором жил герой романа граф Валентин Бленский.

– Пожить бы в этаком замке! – вздохнул Перегарин. – И как хорошо написано! Век бы сидел да слушал!

«Ужо погоди! – подумал Зельтерский. – Взвоешь!»

В половину второго замок уступил свое место красивой наружности героя... Ровно в два чтец тихим, подавленным голосом читал:

– «Вы спрашиваете, чего я хочу? О, я хочу, чтобы там, вдали, под сводами южного неба ваша маленькая ручка томно трепетала в моей руке... Только там, там живет забьется мое сердце под сводами моего душевного здания... Любви, любви!..» Нет, Парфений Саввич... сил нет... Замучился!

– А вы бросьте! Завтра дочитаете, а теперь поговорим... Так вот-с, я не рассказал вам еще, что было под Ахалцыхом...

Измученный Зельтерский повалился на спинку дивана и, закрыв глаза, стал слушать...

«Все средства испробовал, – думал он. – Ни одна пуля не пробила этого мастодонта. Теперь до четырех часов будет сидеть... Господи, сто целковых дал бы теперь, чтобы сию минуту завалиться дрыхнуть... Ба! Попрошу-ка у него денег займы! Прелестное средство...»

– Парфений Саввич! – перебил он полковника. – Я опять вас перебыю. Хочется мне попросить вас об одном маленьком одолжении... Дело в том, что в последнее время, живя здесь на даче, я ужасно истратился. Денег нет ни копейки, а между тем в конце августа мне предстоит получка.

– Однако... я у вас засиделся... – пропыхтел Перегарин, ища глазами фуражки. – Уж третий час... Так вы о чем же-с?

– Хотелось бы у кого-нибудь взять займы рублей двести, триста... Не знаете ли вы такого человечка?

– Где ж мне знать? Однако... вам бай-бай пора... Будемте здоровы... Супруге вашей...

Полковник взял фуражку и сделал шаг к двери.

– Куда же вы?.. – заторжествовал Зельтерский. – А мне хотелось вас попросить...

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Зная вашу доброту, я надеялся...

– Завтра, а теперь к жене марш! Чай, заждалась друга сердешного... Хе-хе-хе...
Прощайте, ангел... Спать!

Перегарин быстро пожал Зельтерскому руку, надел фуражку и вышел. Хозяин торжествовал.

Конь и трепетная лань
Третий час ночи. Супруги Фибровы не спят. Он ворочается с боку на бок и то и дело сплевывает, она, маленькая худощавая брюнеточка, лежит неподвижно и задумчиво смотрит на открытое окно, в которое нелюдимо и сурово глядится рассвет...

– Не спится! – вздыхает она. – Тебя мутит?

– Да, немножко.

– Не понимаю, Вася, как тебе не надоест каждый день являться домой в таком виде! Не проходит ночи, чтоб ты не был болен. Стыдно!

– Ну, извини... Я это нечаянно. Выпил в редакции бутылку пива, да в «Аркадии» немножко перепустил. Извини.

– Да что извинять? Самому тебе должно быть противно и гадко. Плюет, икает... Бог знает на что похож. И ведь это каждую ночь, каждую ночь! Я не помню, когда ты являлся домой трезвым.

– Я не хочу пить, да оно как-то само собой пьется. Должность такая анафемская. Целый день по городу рыскаешь. Там рюмку выпьешь, в другом месте пива, а там, глядь, приятель пьющий встретился... нельзя не выпить. А иной раз и сведения не получишь без того, чтоб с какой-нибудь свиной бутылку водки не стрескать. Сегодня, например, на пожаре нельзя было с агентом не выпить.

– Да, проклятая должность! – вздыхает брюнетка. – Бросил бы ты ее, Вася!

– Бросить? Как можно!

– Очень можно. Добро бы ты писатель настоящий был, писал бы хорошие стихи или повести, а то так, репортер какой-то, про кражи да пожары пишешь. Такие пустяки пишешь, что иной раз и читать совестно. Хорошо бы еще, пожалуй, если б зарабатывал много, этак рублей двести-триста в месяц, а то получаешь какие-то несчастные пятьдесят рублей, да и то неаккуратно. Живем мы бедно, грязно. Квартира прачечной пропахла, кругом всё мастеровые да развратные женщины живут. Целый день только и слышишь неприличные слова и песни. Ни мебели у нас, ни белья. Ты одет неприлично, бедно, так что хозяйка на тебя тыкает, я хуже модистки всякой. Едим мы хуже всяких поденщиков... Ты где-то на стороне в трактирах какую-то дрянь ешь, и то, вероятно, не на свой счет, я... одному только богу известно, что я ем. Ну, будь мы какие-нибудь плебеи, необразованные, тогда бы помирилась я с этим житьем, а то ведь ты дворянин, в университете кончил, по-французски говоришь. Я в институте кончила, избалована.

– погоди, Катюша, пригласят меня в «Куриную слепоту» отдел хроники вести, тогда иначе заживем. Я номер тогда возьму.

– Это уж ты мне третий год обещаешь. Да что толку, если и пригласят? Сколько бы ты ни получал, всё равно пропьешь. Не перестанешь же водить компанию со своими писателями и актерами! А знаешь что, Вася? Написала бы я к дяде Дмитрию Федорычу в Тулу. Нашел бы он тебе прекрасное место где-нибудь в банке или казенном учреждении. Хорошо, Вася? Ходил бы ты, как люди, на службу, получал бы каждое 20-е число жалованье – и горя мало! Наняли бы мы себе дом-особнячок с двором, с сараями, с сенником. Там за двести рублей в год отличный дом можно нанять. Купили бы мебели, посуды, скатертей, наняли бы кухарку и обедали бы каждый день. Пришел бы ты со службы в три часа, взглянул на стол, а на нем чистенькие приборы, редиска, закуска разная. Завели бы мы себе кур, уток, голубей, купили бы корову. В провинции, если не роскошно жить и не пропивать, всё это можно иметь за тысячу рублей в год. И дети бы наши не умирали от сырости, как теперь, и мне бы не приходилось таскаться то и дело в больницу. Вася, богом молю тебя,

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
поедем жить в провинцию!

– Там с дикарями от скуки подохнешь.

– А здесь разве весело? Ни общества у нас, ни знакомства... С чистенькими, мало-мальски порядочными людьми у тебя только деловое знакомство, а семейно ни с кем ты не знаком. Кто у нас бывает? Ну, кто? Эта Клеопатра Сергеевна. По-твоему, она знаменитость, фельетоны музыкальные пишет, а по-моему – она содержанка, распущенная женщина. Ну, можно ли женщине пить водку и при мужчинах корсет снимать? Пишет статьи, говорит постоянно о честности, а как взяла в прошлом году у меня рубль взаймы, так до сих пор не отдает. Потом, ходит к тебе этот твой любимый поэт. Ты гордишься, что знаком с такой знаменитостью, а рассуди ты по совести: сто́ит ли он этого?

– Честнейший человек!

– Но веселого в нем очень мало. Приходит к нам для того только, чтобы напиться... Пьет и рассказывает неприличные анекдоты. Третьего дня, например, нализался и проспал здесь на полу целую ночь. А актеры! Когда я была девушкой, то боготворила этих знаменитостей, с тех пор же, как вышла за тебя, я не могу на театр глядеть равнодушно. Вечно пьяны, грубы, не умеют держать себя в женском обществе, надменны, ходят в грязных ботфортах. Ужасно тяжелый народ! Не понимаю, что веселого ты находишь в их анекдотах, которые они рассказывают с громким, хриплым смехом! И глядишь ты на них как-то заискивающе, словно одолжение делают тебе эти знаменитости, что знакомы с тобой... Фи!

– Оставь, пожалуйста!

– А там, в провинции, ходили бы к нам чиновники, учителя гимназии, офицеры. Народ всё воспитанный, мягкий, без претензий. Напьются чаю, выпьют по рюмке, если подашь, и уйдут. Ни шуму, ни анекдотов, всё так степенно, деликатно. Сидят, знаешь, на креслах и на диване и рассуждают о разных разностях, а тут горничная разносит им чай с вареньем и с сухариками. После чаю играют на рояле, поют, пляшут. Хорошо, Вася! Часу в двенадцатом легонькая закуска: колбаса, сыр, жаркое, что от обеда осталось... После ужина ты идешь дам провожать, а я остаюсь дома и прибираю.

– Скучно, Катюша!

– Если дома скучно, то ступай в клуб или на гулянье... Здесь на гуляньях души знакомой не встретишь, поневоле запьешь, а там кого ни встретил, всякий тебе знаком. С кем хочешь, с тем и беседуй... Учителя, юристы, доктора – есть с кем умное слово сказать... Образованными там очень интересуются, Вася! Ты бы там одним из первых был...

И долго мечтает вслух Катюша... Серо-свинцовый свет за окном постепенно переходит в белый... Тишина ночи незаметно уступает свое место утреннему оживлению. Репортер не спит, слушает и то и дело приподнимает свою тяжелую голову, чтобы сплунуть... Вдруг, неожиданно для Катюши, он делает резкое движение и вскакивает с постели... Лицо его бледно, на лбу пот...

– Чертовски меня мутит, – перебивает он мечтания Катюши. – Постой, я сейчас...

Накинув на плечи одеяло, он быстро выбегает из комнаты. С ним происходит неприятный казус, так знакомый по своим утренним посещениям пьющим людям. Минуты через две он возвращается бледный, томный... Его пошатывает... На лице его выражение омерзения, отчаяния, почти ужаса, словно он сейчас только понял всю внешнюю неприглядность своего житья-бытья. Дневной свет освещает перед ним бедность и грязь его комнаты, и выражение безнадежности на его лице становится еще живее.

– Катюша, напиши дяде! – бормочет он.

– Да? Ты согласен? – торжествует брюнетка. – Завтра же напишу и даю тебе честное слово, что ты получишь прекрасное место! Вася, ты это... не нарочно?

– Катюша, прошу... ради бога...

И Катюша опять начинает мечтать вслух. Под звук своего голоса и засыпает она.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Снится ей дом-особнячок, двор, по которому солидно шагают ее собственные куры и утки. Она видит, как из слухового окна глядят на нее голуби, и слышит, как мычит корова. Кругом всё тихо: ни соседей-жильцов, ни хриплого смеха, не слышно даже этого ненавистного, спешащего скрипа перьев. Вася чинно и благородно шагает около палисадника к калитке. Это идет он на службу. И душу ее наполняет чувство покоя, когда ничего не желается, мало думается...

К полудню просыпается она в прекраснейшем настроении духа. Сон благотворно повлиял на нее. Но вот, протерев глаза, она глядит на то место, где так недавно ворочался Вася, и обхватывавшее ее чувство радости сваливается с нее, как тяжелая пуля. Вася ушел, чтобы возвратиться поздно ночью в нетрезвом виде, как возвращался он вчера, третьего дня... всегда... Опять она будет мечтать, опять на лице его мелькнет омерзение.

– Незачем писать дяде! – вздыхает она.

Делец

Он маклер, биржевой заяц, дирижер в танцах, комиссионер, шафер, кум, плакальщик на похоронах и ходатай по делам. Иванову известен он как рьяный консерватор, Петрову же – как отъявленный нигилист. Радуетса чужим свадьбам, носит детям конфеты и терпеливо беседует со старухами. Одет всегда по моде и причесан à la Капуть. [32] Скрытен. Имеет большую памятную книжку, которую держит втайне. Делаем из нее выдержки:

«Потрачено на угощение княжеского камердинера 5 р. 20 к. Сбыл акцию Лозово-Севастопольской дороги, причем потерпел 14 коп. убытку».

«Не забыть показать графине Дыриной новый пасьянс под названием „Принцесса“: 12 первых карт, вынутых из колоды, размещаются в форме круга; следующие кладутся, как знаешь, на одну или другую из этих карт, невзирая на масть до появления червонной дамы и проч. Напомнить кстати о Пете Сивухине, желающем поступить в Дримадерский полк. Тут же переговорить с горничной Олей касательно выкромек для купчихи Выбухиной».

«За сватовство Ерыгин недодал 7 руб. Того же дня на крестинах следил я за Куцыным, либерально заговаривал с ним о политике, но подозрительного ничего не добился. Придется подождать».

«Инженер Фунин заказал нанять квартиру для его новой содержанки и просил старую, т. е. Елену Михайловну, сбыть кому-нибудь. Обещал сделать то и другое к 20 августа».

«Княгиня Хлыдина дает за свои любовные письма к поручику Скотову 1 000 р. Просить 5 000, уступить за 3 000, но ни в каком разе не отдавать ей всех. То письмо, в котором описывается свидание в саду, продать ей особо в будущем».

«Был свидетелем на суде. Помазал прокурора по губам, а потому, когда защитник стал меня пощипывать, то председатель за меня вступился».

«Не забыть дать по морде агенту Янкелю, чтоб не врал».

«Вчера у Букашиных во время винта следили за мной. Пришлось для блезиру проиграть 15 р. Все-таки получил оплеуху».

«Гусин дал 25 р. для отдачи их в газету „Хрюкало“ за то, что не печатали судебного отчета. Будет с них и десяти»...

Утопленник (Сценка)

На набережной большой, судоходной реки суматоха, какая обыкновенно бывает в летние полудни. Нагрузка и разгрузка барок в разгаре. Слышатся, не переставая, ругань и шипенье пароходов.

– Тирли... тирли... – стонут блоки-лебедки.

В воздухе стоит запах вяленой рыбы и дегтя... К агенту общества пароходства «Щелкопер», сидящему на берегу у самой воды и поджидающему грузоотправителя,

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
подходит приземистая фигура, с страшно испитым, опухшим лицом, в рваном пиджаке и латаных полосатых брюках. На голове ее полинявшая фуражка с полупившимся козырьком и с пятном, оставшимся от когда-то бывшей кокарды... Гастух сполз с воротничка и ерзает по шее...

– Виват господину купцу! – хрипит фигура, делая под козырек. – Живьо! Не желаете ли, ваше высокостепенство, утопленника посмотреть?

– А где утопленник? – спрашивает агент.

– В действительности утопленника не существует, но я могу вам его представить. Прыжок в воду и – пред вами гибель утопающего человека! Картина не столь печальная, сколько ироническая в смысле своих комедийных свойств... Позвольте, господин купец, представить!

– Я не купец.

– Виноват... Миль пардон... Нынче и купцы стали ходить в партикулярном, так что сам Ной не сумел бы отделить чистых от нечистых. Но тем лучше, что вы интеллигент... Мы пойдем друг друга... Я тоже из благородных... Обер-офицерский сын и в свое время был представлен к чину XIV класса... Итак, милорд, артист художеств предлагает вам свои услуги... Один прыжок в воду, и перед вами картина.

– Нет, благодарю вас...

– Если вас тревожат соображения материального свойства, то спешу вас успокоить... С вас я возьму недорого... За утопление себя в сапогах – два рубля, без сапог – только рубль...

– Почему же такая разница!

– Потому что сапоги составляют самую дорогую часть одежды и сушить их весьма трудно. Ergo, вы позволяете заработать?

– Нет, я не купец и не люблю таких сильных ощущений...

– Гм... Вы, насколько я понимаю вас, вероятно, незнакомы с сущностью дела... Вы думаете, что я предлагаю вам нечто грубое, невежественное, но тут кроме юмористического и сатирического ничего не будет-с... Вы лишний раз улыбнетесь и – только... Ведь смешно видеть, как человек плавает в одежде и борется с волнами! И к тому же... дадите заработать.

– А вы бы, чем утопленников изображать, делом бы занялись.

– Делом... Каким же делом? Благородного занятия мне не дадут, благодаря склонности моей к алкоголизму, да и протекция необходима-с, а за простое, чернорабочее ремесло мешает мне взяться мое благородство.

– А вы наплюйте на ваше благородство.

– То есть как же это наплевать? – спрашивает фигура, гордо поднимая голову и усмехаясь. – Если птица понимает, что она птица, то как же благородному человеку не понимать своего звания? Я хоть и беден, оборван, нищ, но я горррд... Кровью своей горд!

– Однако гордость не мешает вам плавать в одежде...

– Краснею! Ваше замечание имеет свою долю горькой истины. Сейчас видно просвещенного человека! Но прежде, чем бросать камнем в грешника, вы должны выслушать... Точно, между нами есть много субъектов, которые, забыв свое достоинство, позволяют невежественным купцам мазать себе голову горчицей, мазаться в бане сажей и изображать дьявола, одеваться в бабье платье и выделять непристойности, но я... я далек от всего этого! Сколько бы мне купец ни давал денег, я не позволю вымазать свою голову горчицей и другим, хотя бы благородным, веществом. В изображении же утопленника я не вижу ничего позорного... Вода предмет мокрый, чистый. От окунутия не запачкаешься, а напротив, еще чище станешь. И медицина не против этого... Впрочем, если вы не согласны, то я могу взять и дешевле... Извольте, я за рубль в сапогах...

– Нет, не нужно...

– Почему же-с?

– Не нужно, вот и всё...

– Поглядели бы, как я захлебываюсь... Лучше меня по всей реке никто не умеет тонуть... Ежели б господра доктора убедились, как я делаю мертвое лицо, они бы меня возвысили... Извольте, я с вас только шесть гривен возьму! Почин дороже денег... С другого бы я и трех рублей не взял, но по лицу замечаю, что вы хороший господин. С ученых я беру дешевле...

– Оставьте меня, пожалуйста!

– Как знаете!.. Вольному воля, спасенному рай, только напрасно вы не соглашаетесь... В другой раз захотите и десять рублей дать, да не найдете утопленника...

Фигура садится на берегу повыше агента и, громко сопя, начинает рыться в карманах...

– Гм... чёррт... – бормочет она. – Где ж это мой табак? Знать, на пристани забыл... Заспорил с офицером о политике и куда-то сгоряча портсигар сунул... Нынче в Англии перемена министерства...[33] Чудят люди! Позвольте, ваше высокоблагородие, папироску!

Агент подает фигуре папиросу. В это время на берегу показывается грузоотправитель-купец, которого поджидает агент. Фигура вскакивает, прячет папиросу в рукав и делает под козырек.

– Виват, ваше степенство! – хрипит он. – Живьо!

– Ааа... Это вы! – говорит агент купцу. – Долгонько заставили ждать себя! А тут без вас вот этот ферт меня замучил! Лезет со своими представлениями! Предлагает за шесть гривен утопленника представить...

– Шесть гривен? Ну это, брат, облопаешься, – говорит купец. – Красная цена четвертак. Вчера нам тридцать человек на реке кораблекрушение представляли и всего-навсего пятерку взяли, а ты... ишь ты! Шесть гривен! Так и быть, бери три гривенника!

Фигура надувает щеки и презрительно усмехается.

– Три гривенника... Нынче кочан капусты эту цену стоит, а вы хотите утопленника... Жирно будет...

– Ну, не надо... Некогда с тобой тут...

– Так и быть уж, для почину... Только вы не рассказывайте купцам, что я так дешево взял.

Фигура снимает сапоги и, нахмурившись, задрав вверх подбородок, подходит к воде и делает неловкий прыжок... Слышится звук падения тяжелого тела в воду... Всплывши наверх, фигура нелепо размахивает руками, болтает ногами и старается изобразить на лице своем испуг... Но вместо испуга получается дрожь от холода...

– Тони! Тони! – кричит купец. – Будет плавать, тони!..

Фигура мигает глазами и, растопырив руки, погружается с головой. В этом и заключается всё представление. «Утонув», фигура вылезает из воды и, получив свои три гривенника, мокрая и дрожащая от холода, продолжает свой путь по берегу.

Реклама

Нет более пожаров! Огнегасительные средства Бабаева и Гардена[34] составляют славу нашего времени. Доказательством их идеальной огнеупорности может служить следующее. Спичечный фабрикант Лапшин вымазал ими свои «шведские» спички, не загорающиеся, как известно, даже при поднесении их к горячей свече. Горелки

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
пушкаревских свеч[35] обмазаны именно этими веществами. Театральные барышники, содержатели ссудных касс, аблакаты из-под Иверской никогда не сгорают от стыда только потому, что покрыты бабае-гарденовским веществом. Чтобы не показаться голословными, мы рекомендуем почтеннейшей публике приобрести новоизобретенные средства и намазать ими:

вспыльчивых людей,
прогорающих антрепренеров,
сердца влюбчивых людей,
вспыхивающих дочек и пламенеющих маменек,
горячие головы наших юных земцев,
людей, пламенеющих на службе усердием, клонящимся к явному вреду.

Свистуны

Алексей Федорович Восьмеркин водил по своей усадьбе приехавшего к нему погостить брата – магистра и показывал ему свое хозяйство. Оба только что позавтракали и были слегка навеселе.

– Это, братец ты мой, кузница... – пояснял Восьмеркин. – На этой виселице лошадей подковывают... А вот это, братец ты мой, баня... Тут в бане длинный диван стоит, а под диваном индейки сидят в решетках на яйцах... Как взглянешь на диван, так и вспомнишь толика многая... Баню только зимой топлю... Важная, брат, штукенция! Только русский человек и мог выдумать баню! За один час на верхней полочке столько переживешь, чего итальянцу или немцу в сто лет не пережить... Лежишь, как в пекле, а тут Авдотья тебя веником, веником, чики-чики... чики-чики... Встанешь, выпьешь холодного квасу и опять чики-чики... Слезешь потом с полки, как сатана красный... А вот это людская... Тут мои вольнонаемники... Зайдем?

Помещик и магистр нагнулись и вошли в похилившуюся, нештукатуренную развалюшку с продавленной крышей и разбитым окном. При входе их обдало запахом варева. В людской обедали... Мужики и бабы сидели за длинным столом и большими ложками ели гороховую похлебку. Увидев господ, они перестали жевать и поднялись.

– Вот они, мои... – начал Восьмеркин, окидывая глазами обедающих. – Хлеб да соль, ребята!

– Алалаблблбл...

– Вот они! Русь, братец ты мой! Настоящая Русь! Народ на подбор! И что за народ! Какому, прости господи, скоту немцу или французу сравняться? Супротив нашего народа всё то свиньи, тля!

– Ну не говори... – залепетал магистр, закуривая для чистоты воздуха сигару. – У всякого народа свое историческое прошлое... свое будущее...

– Ты западник! Разве ты понимаешь? Вот то-то и жаль, что вы, ученые, чужое выучили, а своего знать не хотите! Вы презираете, чуждаетесь! А я читал и согласен: интеллигенция протухла, а ежели в ком еще можно искать идеалов, так только вот в них, вот в этих лодырях... Взять хоть бы фильку...

Восьмеркин подошел к пастуху фильке и потряс его за плечо. Филька ухмыльнулся и издал звук «гы-ы»...

– Взять хоть бы этого фильку... Ну, чего, дурак, смеешься? Я серьезно говорю, а ты смеешься... Взять хоть этого дурня... Погляди, магистр! В плечах – косая сажень! Грудница, словно у слона! С места, анафему, не сдвинешь! А сколько в нем силы-то этой нравственной таится! Сколько таится! Этой силы на десяток вас, интеллигентов, хватит... Дерзай, филька! Бди! Не отступай от своего! Крепко держись! Ежели кто будет говорить тебе что-нибудь, совращать, то плюй, не слушай... Ты сильнее, лучше! Мы тебе подражать должны!

– Господа наши милостивые! – замигал глазами степенный кучер Антип. – Нешто он это чувствует? Нешто понимает господскую ласку? Ты в ножки, простофиля,

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru поклонись и ручку поцелуй... Милостивцы вы наши! На что хуже человека, как филька, да и то вы ему прощаете, а ежели человек чверезый, не баловник, так такому не жисть, а рай... дай бог всякому... И награждаете и взыскиваете.

– Вво! Самая суть заговорила! Патриарх лесов! Понимаешь, магистр! «И награждаете и взыскиваете»... В простых словах идея справедливости!.. Преклоняюсь, брат! Верить ли? Учусь у них! Учусь!

– Это верно-с... – заметил Антип.

– Что верно?

– Насчет ученья-с...

– Какого ученья? Что ты мелешь?

– Я насчет ваших слов-с... насчет учения-с... На то вы и господа, чтоб всякие учения постигать... Мы темень! Видим, что вывеска написана, а что она, какой смысл обозначает, нам и невдомек... Носом больше понимаем... Ежели водкой пахнет, то значит – кабак, ежели дегтем, то лавка...

– Магистр, а? Что скажешь? Каков народ? Что ни слово, то с закорючкой, что ни фраза, то глубокая истина! Гнездо, брат, правды в Антипкиной голове! А погляди-ка на Дуняшку! Дуняшка, пошла сюда!

Скотница Дуняша, весноватая, с вздернутым носом, застыдилась и зацарапала стол ногтем.

– Дуняшка, тебе говорят, пошла сюда! Чего, дура, стыдишься? Не укусим!

Дуняша вышла из-за стола и остановилась перед баринном.

– Какова? Так и дышит силищей! Видал ты таких у себя там, в Питере? Там у вас спички, жилы да кости, а эта, гляди, кровь с молоком! Простота, ширь! Улыбку погляди, румянец щек! Всё это натура, правда, действительность, не так, как у вас там! Что это у тебя за щеками набито?

Дуняша пожевала и проглотила что-то...

– А погляди-ка, братец ты мой, на плечищи, на ножищи! – продолжал Восьмеркин. – Небось, как бултыхнет этим кулачищем в спину своего любезного, так звон пойдет, словно из бочки... Что, всё еще с Андрюшкой валандаешься? Смотри мне, Андрюшка, задам я тебе пфеферу. Смейся, смейся... Магистр, а? Формы-то, формы...

Восьмеркин нагнулся к уху магистра и зашептал... Дворня стала смеяться.

– Вот и дождалась, что тебя на смех подняли, непутящая... – заметил Антип, глядя с укоризной на Дуняшу. – Что, красней рака стала? Про путную девку не стали бы так рассказывать...

– Теперь, магистр, на Любку посмотри! – продолжал Восьмеркин. – Эта у нас первая запевала... Ты там ездешь меж своих чухонцев и собираешь плоды народного творчества... Нет, ты наших послушай! Пусть тебе наши спюют, так слюной истечешь! Ну-кося, ребята! Ну-кося! Любка, начинай! Да ну же, свиньи! Слушаться!

Люба стыдливо кашлянула в кулак и резким, сиплым голосом затянула песню. Ей вторили остальные... Восьмеркин замахал руками, замигал глазами и, стараясь прочесть на лице магистра восторг, закудахтал.

Магистр нахмурился, стиснул губы и с видом глубокого знатока стал слушать.

– М-да... – сказал он. – Вариант этой песни имеется у Киреевского, выпуск седьмой, разряд третий, песнь одиннадцатая... [36] М-да... Надо записать...

Магистр вынул из кармана книжку и, еще больше нахмурившись, стал записывать... Пропев одну песню, «люди» начали другую... А похлебка между тем простыла, и каша, которую вынули из печи, перестала уже испускать из себя дымок.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Так его! – притопывал Восьмеркин. – Так его! Важно! Преклоняюсь!

Дело, вероятно, дошло бы и до танцев, если бы не вошел в людскую лакей Петр и не доложил господам, что кушать подано.

– А мы, отщепенцы, отбросы, осмеливаемся еще считать себя выше и лучше! – негодовал плаксивым голосом Восьмеркин, выходя с братом из людской. – Что мы? Кто мы? Ни идеалов, ни науки, ни труда... Ты слышишь, они хохочут? Это они над нами!.. И они правы! Чуют фальшь! Тысячу раз правы и... и... А видал Дуняшку? Ше-ельма девчонка! Ужо, погоди, после обеда я позову ее...

За обедом оба брата всё время рассказывали о самобытности, нетронутости и целостности, бранили себя и искали смысла в слове «интеллигент».

После обеда легли спать. Выспавшись, вышли на крыльцо, приказали подать себе зельтерской и опять начали о том же...

– Петька! – крикнул Восьмеркин лакею. – Поди позови сюда Дуняшку, Любку и прочих! Скажи, хоромы водить! Да чтоб скорей! Живо у меня!

Отец семейства

Это случается обыкновенно после хорошего проигрыша или после попойки, когда разыгрывается катар. Степан Степаныч Жилин просыпается в необычайно пасмурном настроении. Вид у него кислый, помятый, разлохмаченный; на сером лице выражение недовольства: не то он обиделся, не то брезгает чем-то. Он медленно одевается, медленно пьет свое виши и начинает ходить по всем комнатам.

– Желал бы я знать, какая ссскотина ходит здесь и не затворяет дверей? – ворчит он сердито, запахиваясь в халат и громко отплевываясь. – Убрать эту бумагу! Зачем она здесь валяется? Держим двадцать прислуг, а порядка меньше, чем в корчме. Кто там звонил? Кого принесло?

– Это бабушка Анфиса, что нашего Федю принимала, – отвечает жена.

– Шляются тут... дармоеды!

– Тебя не поймешь, Степан Степаныч. Сам приглашал ее, а теперь бранишься.

– Я не бранюсь, а говорю. Занялась бы чем-нибудь, матушка, чем сидеть этак, сложа руки, и на спор лезть! Не понимаю этих женщин, клянусь честью! Не по-ни-маю! Как они могут проводить целые дни без дела? Муж работает, трудится, как вол, как ссскотина, а жена, подруга жизни, сидит, как цапочка, ничего не делает и ждет только случая, как бы побраниться от скуки с мужем. Пора, матушка, оставить эти институтские привычки! Ты теперь уже не институтка, не барышня, а мать, жена! Отворачиваешься? Ага! Неприятно слушать горькие истины?

– Странно, что горькие истины ты говоришь только когда у тебя печень болит.

– Да, начинай сцены, начинай...

– Ты вчера был за городом? Или играл у кого-нибудь?

– А хотя бы и так? Кому какое дело? Разве я обязан отдавать кому-нибудь отчет? Разве я проигрываю не свои деньги? То, что я сам трачу, и то, что тратится в этом доме, принадлежит мне! Слышите ли? Мне!

И так далее, всё в таком роде. Но ни в какое другое время Степан Степаныч не бывает так рассудителен, добродетелен, строг и справедлив, как за обедом, когда около него сидят все его домочадцы. Начинается обыкновенно с супа. Проглотив первую ложку, Жилин вдруг морщится и перестает есть.

– Чёрт знает что... – бормочет он. – Придется, должно быть, в трактире обедать.

– А что? – тревожится жена. – Разве суп не хорош?

– Не знаю, какой нужно иметь свиный вкус, чтобы есть эту бурду! Пересолен, тряпкой воняет... клопы какие-то вместо лука... Просто возмутительно, Анфиса Ивановна! – обращается он к гостье-бабушке. – Каждый день даешь прорву денег на

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
провизию... во всем себе отказываешь, и вот тебя чем кормят! Они, вероятно, хотят, чтобы я оставил службу и сам пошел в кухню стряпать.

– Суп сегодня хорош... – робко замечает гувернантка.

– Да? Вы находите? – говорит Жилин, сердито щурясь на нее. – Впрочем, у всякого свой вкус. Вообще, надо сознаться, мы с вами сильно расходимся во вкусах, Варвара Васильевна. Вам, например, нравится поведение этого мальчишки (Жилин трагическим жестом указывает на своего сына Федю), вы в восторге от него, а я... я возмущаюсь. Да-с!

Федя, семилетний мальчик с бледным, болезненным лицом, перестает есть и опускает глаза. Лицо его еще больше бледнеет.

– Да-с, вы в восторге, а я возмущаюсь... Кто из нас прав, не знаю, но смею думать, что я, как отец, лучше знаю своего сына, чем вы. Поглядите, как он сидит! Разве так сидят воспитанные дети? Сядь хорошенько!

Федя поднимает вверх подбородок и вытягивает шею, и ему кажется, что он сидит ровнее. На глазах у него навертываются слезы.

– Ешь? Держи ложку как следует! погоди, доберусь я до тебя, скверный мальчишка! Не смей плакать! Гляди на меня прямо!

Федя старается глядеть прямо, но лицо его дрожит и глаза переполняются слезами.

– Ааа... ты плакать! Ты виноват, ты же и плачешь? Пошел, стань в угол, скотина!

– Но... пусть он сначала пообедает! – вступается жена.

– Без обеда! Такие мерз... такие шалуны не имеют права обедать!

Федя, кривя лицо и подергивая всем телом, сползает со стула и идет в угол.

– Не то еще тебе будет! – продолжает родитель. – Если никто не желает заняться твоим воспитанием, то, так и быть, начну я... У меня, брат, не будешь шалить да плакать за обедом! Болван! Дело нужно делать! Понимаешь? Дело делать! Отец твой работает и ты работай! Никто не должен даром есть хлеба! Нужно быть человеком! Че-ло-ве-ком!

– Перестань, ради бога! – просит жена по-французски. – Хоть при посторонних не ешь нас... Старуха всё слышит и теперь, благодаря ей, всему городу будет известно...

– Я не боюсь посторонних, – отвечает Жилин по-русски. – Анфиса Ивановна видит, что я справедливо говорю. Что ж, по-твоему, я должен быть доволен этим мальчишкой? Ты знаешь, сколько он мне стоит? Ты знаешь, мерзкий мальчишка, сколько ты мне стоишь? Или ты думаешь, что я деньги фабрикую, что мне достаются они даром? Не реветь! Молчать! Да ты слышишь меня или нет? Хочешь, чтоб я тебя, подлеца эдакого, высек?

Федя громко взвизгивает и начинает рыдать.

– Это, наконец, невыносимо! – говорит его мать, вставая из-за стола и бросая салфетку. – Никогда не даст покойно пообедать! Вот где у меня твой кусок сидит!

Она показывает на затылок и, приложив платок к глазам, выходит из столовой.

– Оне обиделись... – ворчит Жилин, насильно улыбаясь. – Нежно воспитаны... Так-то, Анфиса Ивановна, не любят нынче слушать правду... Мы же и виноваты!

Проходит несколько минут в молчании. Жилин обводит глазами тарелки и, заметив, что к супу еще никто не прикасался, глубоко вздыхает и глядит в упор на покрасневшее, полное тревоги лицо гувернантки.

– Что же вы не едите, Варвара Васильевна? – спрашивает он. – Обиделись, стало быть? Тэк-с... Не нравится правда. Ну, извините-с, такая у меня натура, не могу лицемерить... Всегда режу правду-матку (вздых). Однако, я замечая, что присутствие мое неприятно. При мне не могут ни говорить, ни кушать... Что ж? Сказали бы мне, я

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
бы ушел... Я и уйду.

Жилин поднимается и с достоинством идет к двери. Проходя мимо плачущего Федя, он останавливается.

– После всего, что здесь произошло, вы ссвободны! – говорит он Феде, с достоинством закидывая назад голову. – Я больше в ваше воспитание не вмешиваюсь. Умываю руки! Прошу извинения, что, искренно, как отец, желая вам добра, беспокоил вас и ваших руководительниц. Вместе с тем раз навсегда слагаю с себя ответственность за вашу судьбу...

Федя взвизгивает и рыдает еще громче. Жилин с достоинством поворачивает к двери и уходит к себе в спальную.

Выспавшись после обеда, Жилин начинает чувствовать угрызения совести. Ему совестно жены, сына, Анфисы Ивановны и даже становится невыносимо жутко при воспоминании о том, что было за обедом, но самолюбие слишком велико, не хватает мужества быть искренним, и он продолжает дуться и ворчать...

Проснувшись на другой день утром, он чувствует себя в отличном настроении и, умываясь, весело посвистывает. Придя в столовую пить кофе, он застаёт там Федю, который при виде отца поднимается и глядит на него растерянно.

– Ну, что, молодой человек? – спрашивает весело Жилин, садясь за стол. – Что у вас нового, молодой человек? Живешь? Ну, иди, бутуз, поцелуй своего отца.

Федя, бледный, с серьезным лицом, подходит к отцу и касается дрожащими губами его щеки, потом отходит и молча садится на свое место.

Староста
(Сценка)

В одном из грязных трактирчиков уездного городишка N сидит за столом староста Шельма и ест жирную кашу. Он ест и после каждых трех ложек выпивает «последнюю».

– Так-то, душа ты моя, тяжело вести крестьянские дела! – говорят он трактирщику, застегивая под столом пуговицы, которые то и дело расстегиваются. – Да, милаша! Крестьянские дела это такая политика, что Бисмарка мало. Чтобы вести их, нужно иметь особую умственность, сноровку. Почему вот меня мужики любят? Почему они ко мне, как мухи, льнут? А? По какой это причине я ем кашу с маслом, а другие адвокаты без масла? А потому, что в моей голове талант есть, дар.

Шельма выпивает с сопеньем рюмку и с достоинством вытягивает свою грязную шею. Не одна шея грязна у этого человека. Руки, сорочка, брюки, салфетка, уши... всё грязно.

– Я не ученый. Зачем врать? Курсов я не кончал, во фраках по-ученому не ходил, но, брат, могу без скромности и всяких там репрессалий сказать тебе, что и за миллион не найдешь другого такого юриста. То есть скопинского дела я тебе не решу и за Сарру Беккер не возьмусь [37], но ежели что по крестьянской части, то никакие защитники, никакие там прокуроры... никто супротив меня не годится. Ей-богу. Один только я могу крестьянские дела решать, а больше никто. Будь ты хоть Ломоносов, хоть Бетховен, но ежели в тебе нет моего таланта, то лучше и не суйся. К примеру взять хоть дело репловского старосты. Слыхал ты про это дело?

– Нет, не слыхал.

– Хорошее дело, политичное! Плевако бы осекся [38], а у меня выгорело. Да-с. Есть, братец ты мой, недалече от Москвы колокольный завод. На этом заводе, душа ты моя, служит старшим мастером наш репловский мужик Евдоким Петров. Служит он там уж лет двадцать. По пачпорту он, конечно, мужик, лапотник, кацап, но вид наружности у него совсем не мужицкий. За двадцать лет и обтесался и обшлифовался. Ходит, понимаешь, в триковом костюме, на руках кольца, через всё пузо золотая цепка перетянута – не подходи! Совсем не мужик. Еще бы, братец ты мой! Тыщи полторы жалованья, квартира, харчи, хозяин с ним запанибрата, так поневоле в баре полезешь. И физиомордия, знаешь, этакая тово... (говорящий выпивает) внушительная. Только вот, братец ты мой, вздумалось этому Евдокиму Петрову съездить в гости к себе на родину, то есть в наше Реплово. Жил-жил, да

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
вдруг соскучился. Житье на колокольном заводе медовое, не с чего, кажись бы, старшему мастеру скучать, но, знаешь, дым отечества. Поезжай ты в Америку, сядь там по горло в сторублевки, а тебя всё в твой трактир тянуть будет. Так вот и его, сердечного, потянуло. Ну-с. Отпросился у своего хозяина на недельку и поехал. Приезжает в Реплово. Первым делом идет к родственникам. «Тут, говорит, я когда-то жил. Тут вот пас стада отца моего, тут вот я спал и проч.»... воспоминания детства, одним словом. Ну, не без того, чтоб и похвастать: «Вот, братцы, глядите! Таким лапотником был, как и вы, а трудом и потом достиг степеней, богат и сыт. Трудитесь, мол, и вы»... Косолапые сначала слушали и величали, а потом и думают: «Так-то так, милый человек, всё это очень даже великолепно, только какой нам с тебя толк? Неделя уж, как у нас живешь, а хоть бы косушку»... Послали к нему сотского... «Давай, Евдоким, сто рублей денег!» – «Почему такое?» – «Миру на водку... Мир за твоё здоровье погулять хочет»...

А Евдоким человек степенный, божественный. Ни водки не пьет, ни табаку не курит и другим этого не дозволяет. «На водку, говорит, и полушки не дам». – «Как так! По какому полному праву? Нешто ты не наш?» – «Что ж такое, что ваш? Недоимки за мной не значится... всё как следует. С какой же стати мне платить?»

И пошло, и пошло. Евдоким свое, мир ему свое. Озлобился мир. Знаешь дураков-то! Им не втолкуешь. Захотели погулять, так ты тут хоть на двенадцати языках объясняй им, хоть из пушек пали, ничего не поймут. Выпить хочется, и шабаш! Да и досадно: богатый земляк и вдруг ни шерсти, ни молока! Стали придирки выдумывать, как из Евдокима сто рублей выцыганить. Думали всем миром, думали и ничего не выдумали. Ходят около избы и только пугают: мы тебя, да я тебя! А он сидит себе и в ус не дует. «Чист я, думает, и перед богом, и перед законом, и перед миром, чего ж мне бояться? Вольная я птица!» Хорошо. Видят мужики, что денег им не видать, как ушей своих, стали думать, как бы этой вольной птице за неуважение крылья ощипать. Своего ума нет, посылают за мной. Приезжаю в Реплово. «Так и так, говорят, Денис Семеныч, денег не дает! Выдумай-ка закорючку!» Что ж, братец ты мой? Ничего выдумать нельзя, всё как на ладони видно, все Евдокимовы права налицо. Никакой прокурор тут закорючки не выдумает, хоть три года он думай... сам чёрт не прицепится.

Шельма выпивает рюмку и подмигивает глазом.

– А я нашел, к чему прицепиться! – хихикает он. – Да-с! Угадай-ка, что я придумал! Во веки веков не угадаешь! «Вот что, говорю, ребята, выбирайте вы его в свои сельские старосты». Те смекнули и выбрали. Слушай же. Приносят Евдокиму старостову бляху. Тот смеется. «Шутите, говорит, не желаю я быть вашим старостой». – «А мы желаем!» – «А я не желаю! Завтра же уеду!» – «Нет, не уедешь. Права не имеешь. Староста не может, по закону, свое место бросать». – «Так я, – говорит Евдоким, – слагаю с себя это звание». – «Не имеешь права. Староста обязан пробыть на месте не менее трех лет и только по суду лишается сего звания. Уж раз тебя выбрали, так ни ты, ни мы... никто не может тебя отставить!»

Взвыл мой Евдоким. Летит, как угорелый, к волостному старшине. Тот с писарем ему все законы.

«По таким-то и таким-то статьям раньше трех лет не можешь оставить этого звания. Послужи три года, тогда и езжай!» – «Какое тут три года! И месяца мне ждать нельзя! Без меня хозяин как без рук! Он тысячные убытки терпит! Да и, кроме завода, у меня там дом, семейство!»

И прочее. Проходит месяц. Евдоким сует миру уж не сто, а триста рублей, только отпустите Христа ради. Те рады бы деньги взять, да уж поделаться нечего, поздно. Едет Евдоким к господину непременно члену.

«Так и так, ваше высокоблагородие, по домашним обстоятельствам не могу служить. Отпустите, богом молю!» – «Не имею права. Нет законных причин для увольнения. Ты, во-первых, не болен и, во-вторых, нет опорачивающих обстоятельств. Ты должен служить».

А надо тебе сказать, там на всех тыкают. Волостной старшина или сельский староста не малая шишка в государстве, почище и поважнее любого канцелярского, а меж тем на него тыкают, словно на лакея. Каково-то Евдокиму в триковом костюме это тыканье слышать! Молит он непременно члена Христом богом.

«Не имею права, – говорит член. – Ежели не веришь, то спроси вот уездное присутствие. Все тебе скажут. Не только я, но даже и губернатор не может тебя уволить. Приговор мирского схода, ежели форма не нарушена, не подлежит кассации».

Едет Евдоким к предводителю, от предводителя к исправнику. Весь уезд объездил, и все ему одно и то же: «Служи, не имеем права». Что тут делать? А из завода письмо за письмом, депеша за депешей. Посоветовала родня Евдокиму послать за мной. Так он – веришь ли? – не то что послал, а сам прискакал. Приехал и, ни слова не говоря, сует мне в руки красненькую. Одна, мол, надежда.

«Что ж? – говорю. – Извольте, за сто рублей устрою вам увольнение».

Взял сто рублей и устроил.

– Как? – спрашивает трактирщик.

– Угадай-ка. Ларчик просто открывается. В самом законе загадка разгадывается.

Шельма подходит к трактирщику и, хохоча, шепчет ему на ухо:

– Посоветовал ему украсть что-нибудь, под суд попасть. А? Какова закорючка? Сначала, братец ты мой, он опешил. «Как так украсть?» – «Да так, говорю, украдь у меня вот этот самый пустой портмоне, вот тебе и тюрьма на полтора месяца». Сначала он фордыбачился: доброе имя и прочее. «На чертей тебе, говорю, твое доброе имя? Нешто у тебя, говорю, формуляр, что ли? Отсидишь в тюрьме полтора месяца, тем дело и кончится, да зато опорочивающие обстоятельства у тебя будут, бляху снимут!» Подумал человечина, махнул рукой и украл у меня портмоне. Теперь он уж отсидел свой срок и за меня бога молит. Так вот, братец ты мой, какая умственность! Во всем вселенном шаре другой такой политики не найдешь, как в крестьянских делах, и ежели кто может решать эти дела, так только я. Никто не может кассировать, а я могу. Да.

Шельма требует себе еще бутылку водки и начинает другой рассказ – о пропитии репловскими мужиками чужого хлеба на корню.

Унтер Пришибеев

– Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что 3-го сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?

Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

– Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Всё это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю – стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей...

– Позвольте, вы ведь не урядник, не староста, – разве это ваше дело народ разгонять?

– Не его! Не его! – слышатся голоса из разных углов камеры. – Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!

– Именно так, вашескородие! – говорит свидетель староста. – Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой... Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит,

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
такого нет, чтоб песни петь.

– Погодите, вы еще успеете дать показание, – говорит мировой, – а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

– Слушаю-с! – хрипит унтер. – Вы, ваше высококорodie, изволите говорить, не мое это дело народ разгонять... Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно позволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу позволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высококорodie, знаю, как обходиться с людьми простого звания, и, ваше высококорodie, я могу всё понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как в чистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил... Все порядки знаю-с. А мужик – простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому – для его же пользы. Взять хоть это дело к примеру... Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утопый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утопый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство... А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу». Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие, или удавившие, и прочее тому подобное, – нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское... Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, всё слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высококорodie. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела не подсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? – обращается унтер к уряднику Жигину.

– Сказывал.

– Все слышали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела не подсудны». Все слышали, как ты это самое... Меня, ваше высококорodie, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказал! Он опять эти самые слова... Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснить про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали... Как же, говорю, ты смеешь власть уничтожать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма: «Пооди, говорю, сюда, кавалер», – и всё ему докладываю. А тут, в деревне кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высококорodie такие слова говорить... За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника... И пошло... Погорячился, ваше высококорodie, ну да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо, ежели за дело... ежели беспорядок...

– Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский...

– Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю...

– Но поймите, что это не ваше дело!

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с... Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне хвалить их, что ли? Они вот жалуются вам, что я песни петь запрещаю... Да что хорошего в песнях-то? Вместо того, чтоб делом каким заниматься, они песни... А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!

– Что у вас записано?

– Кто с огнем сидит.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:

– Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров.

– Довольно! – говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

– За что?! – говорит он, разводя в недоумении руками. – По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

– Наррод, расходишь! Не толпись! По домам!

Мертвое тело

Тихая августовская ночь. С поля медленно поднимается туман и матовой пеленой застилает всё, доступное для глаза. Освещенный луною, этот туман дает впечатление то спокойного, беспредельного моря, то громадной белой стены. В воздухе сыро и холодно. Утро еще далеко. На шаг от проселочной дороги, идущей по опушке леса, светится огонек. Тут, под молодым дубом, лежит мертвое тело, покрытое с головы до ног новой белой холстиной. На груди большой деревянный образок. Возле трупа, почти у самой дороги, сидит «очередь» – два мужика, исполняющих одну из самых тяжелых и неприглядных крестьянских повинностей. Один – молодой высокий парень с едва заметными усами и с густыми черными бровями, в рваном полушубке и лаптях, сидит на мокрой траве, протянув вперед ноги, и старается скоротать время работой. Он нагнул свою длинную шею и, громко сопя, делает из большой угловатой деревяжки ложку. Другой – маленький мужичонко со старческим лицом, тощий, рябой, с жидкими усами и козлиной бородкой, свесил на колени руки и, не двигаясь, глядит безучастно на огонь. Между обоими лениво догорает небольшой костер и освещает их лица в красный цвет. Тишина. Слышно только, как скрипит под ножом деревяжка и потрескивают в костре сырые бревнышки.

– А ты, Сема, не спи... – говорит молодой.

– Я... не сплю... – заикается козлиная бородка.

– То-то... Одному сидеть жутко, страх берет. Рассказал бы что-нибудь, Сема!

– Не... не умею...

– Чудной ты человек, Семушка! Другие люди и посмеются, и небылицу какую расскажут, и песню споют, а ты – бог тебя знает, какой. Сидишь, как пугало огородное, и глаза на огонь тарачишь. Слова путем сказать не умеешь... Говоришь и будто боишься. Чай, уж годов пятьдесят есть, а рассудка меньше, чем в дите... И тебе не жалко, что ты дурачок?

– Жалко... – угрюмо отвечает козлиная бородка.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– А нам нешто не жалко глядеть на твою глупость? Мужик ты добрый, тверезый, одно только горе – ума в голове нету. А ты бы, ежели господь тебя обидел, рассудка не дал, сам бы ума набирался... Ты понатужься, Сема... Где что хорошее скажут, ты и вникай, бери себе в толк, да всё думай, думай... Ежели какое слово тебе непонятно, ты понатужься и рассуди в голове, в каких смыслах это самое слово. Понял? Понатужься! А ежели сам до ума доходить не будешь, то так и помрешь дурачком, последним человеком.

Вдруг в лесу раздается протяжный, стонущий звук. Что-то, как будто сорвавшись с самой верхушки дерева, шелестит листвою и падает на землю. Всему этому глухо вторит эхо. Молодой вздрагивает и вопросительно глядит на своего товарища.

– Это сова пташек забирает, – говорит угрюмо Сема.

– А что, Сема, ведь уж время птицам лететь в теплые края!

– Знамо, время.

– Холодные нынче зори стали. Х-холодно! Журавль зябкая тварь, нежная. Для него такой холод – смерть. Вот я не журавль, а замерз... Подложи-ка дровец!

Сена поднимается и исчезает в темной чаще. Пока он возится за кустами и ломает сухие сучья, его товарищ закрывает руками глаза и вздрагивает от каждого звука. Сема приносит охапку хворосту и кладет ее на костер. Огонь нерешительно облизывает язычками черные сучья, потом вдруг, словно по команде, охватывает их и освещает в багровый цвет лица, дорогу, белую холстину с ее рельефами от рук и ног мертвеца, образок... «Очередь» молчит. Молодой еще ниже нагибает шею и еще нервнее принимается за работу. Козлиная бородка сидит по-прежнему неподвижно и не сводит глаз с огня...

– «Ненавидящие Сиона... посрамятся от господя»...[39] – слышится вдруг в ночной тишине поющая фистула, потом слышатся тихие шаги и на дороге в багровых лучах костра вырастает темная человеческая фигура в короткой монашеской ряске, широкополой шляпе и с котомкой за плечами.

– Господи, твоя воля! Мать честная! – говорит эта фигура сиплым дискантом. – Увидал огонь во тьме кромешной и взыгрался духом... Сначала думал – ночное, потом же и думаю: какое же это ночное, ежели коней не видать? Не тати ли сие, думаю, не разбойники ли, богатого Лазаря поджидающие? Не цыганская ли это нация, жертвы идолам приносящая? И взыгрался дух мой... Иди, говорю себе, раб Феодосий, и прими венец мученический! И понесло меня на огонь, как мотыля легкокрылого. Теперь стою перед вами и по наружным физиогномиям вашим сужу о душах ваших: не тати вы и не язычники. Мир вам!

– Здорово.

– Православные, не знаете ли вы, как тут пройтись до Макухинских кирпичных заводов?

– Близко. Вот это, стало быть, пойдете прямо по дороге; версты две пройдете, там будет Ананово, наша деревня. От деревни, батюшка, возьмишь вправо, берегом, и дойдешь до заводов. От Ананова версты три будет.

– Дай бог здоровья. А вы чего тут сидите?

– Понятыми сидим. Вишь, мертвое тело...

– Что? Какое тело? Мать честная!

Странник видит белую холстину с образком и вздрагивает так сильно, что его ноги делают легкий прыжок. Это неожиданное зрелище действует на него подавляюще. Он весь съеживается и, раскрыв рот, выпуча глаза, стоит, как вкопанный... Минуты три он молчит, словно не верит глазам своим, потом начинает бормотать:

– Господи! Мать честная!! Шел себе, никого не трогал, и вдруг этакое наказание...

– Вы из каких будете? – спрашивает парень. – Из духовенства?

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Не... нет... Я по монастырям хожу... Знаешь Ми... Михайлу Поликарпыча, заводского управляющего? Так вот я ихний племянник... Господи, твоя воля! Зачем же вы тут?

– Сторожим... Велят.

– Так, так... – бормочет ряска, поводя рукой по глазам. – А откуда покойник-то?

– Прохожий.

– Жизнь наша! Одначе, братцы, я тово... пойду... Оторопь берет. Боюсь мертвецов пуще всего, родимые мои... Ведь вот, скажи на милость! Покеда этот человек жив был, не замечали его, теперь же, когда он мертв и тлену предается, мы трепещем перед ним, как перед каким-нибудь славным полководцем или преосвященным владыкою... Жизнь наша! Что ж, его убили, что ли?

– Христос его знает! Может, убили, а может и сам помер.

– Так, так... Кто знает, братцы, может, душа его теперь сладости райские вкушает!

– Душа его еще здесь около тела ходит... – говорит парень. – Она три дня от тела не идет.

– М-да... Холода какие нынче! Зуб на зуб не попадет... Так, стало быть, идти всё прямо и прямо...

– Покеда в деревню не упрешься, а там возьмешь вправо берегом.

– Берегом... Так... Что же это я стою? Идти надо... Прощайте, братцы!

Ряска делает шагов пять по дороге и останавливается.

– Забыл копеечку на погребение положить, – говорит она. – Православные, можно монетку положить?

– Тебе это лучше знать, ты по монастырям ходишь. Ежели настоящей смертью он помер, то пойдет за душу, ежели самоубивец, то грех.

– Верно... Может, и в самом деле самоубийца! Так уж лучше я свою монетку при себе оставлю. Ох, грехи, грехи! Дай мне тыщу рублей, и то б не согласился тут сидеть... Прощайте, братцы!

Ряска медленно отходит и опять останавливается.

– Ума не приложу, как мне быть... – бормочет она. – Тут около огня остаться, рассвета подождать... страшно. Идти тоже страшно. Всю дорогу в потемках покойник будет мерещиться... Вот наказал господь! Пятсот верст пешком прошел, и ничего, а к дому стал подходить, и горе... Не могу идти!

– Это правда, что страшно...

– Не боюсь ни волков, ни татей, ни тьмы, а покойников боюсь. Боюсь, да и шабаш! Братцы православные, молю вас коленопреклоненно, проводите меня до деревни!

– Нам не велено от тела отходить.

– Никто не увидит, братцы! Ей же ей, не увидит! Господь вам сторицею воздаст! Борода, проводи, сделай милость! Борода! Что ты всё молчишь?

– Он у нас дурачок... – говорит парень.

– Проводи, друг! Пятачок дам!

– За пятак бы можно, – говорит парень, почесывая затылок, – да не велено... Ежели вот Сема, дурачок-то, один посидит, то провожу. Сема, посидишь тут один?

– Посижу... – соглашается дурачок.

– Ну и ладно. Пойдем!

Парень поднимается и идет с ряской. Через минуту их шаги и говор смолкают. Сема закрывает глаза и тихо дремлет. Костер начинает тухнуть, и на мертвое тело ложится большая черная тень...

Женское счастье

Хоронили генерал-лейтенанта Запупырина. К дому покойника, где гудела похоронная музыка и раздавались командные слова, со всех сторон бежали толпы, желавшие поглядеть на вынос. В одной из групп, спешивших к выносу, находились чиновники Пробкин и Свистков. Оба были со своими женами.

– Нельзя-с! – остановил их помощник частного пристава с добрым, симпатичным лицом, когда они подошли к цепи. – Не-ельзя-с! Пра-ашу немножко назад! Господа, ведь это не от нас зависит! Прошу назад! Впрочем, так и быть, дамы могут пройти... пожалуйста, mesdames, но... вы, господа, ради бога...

Жены Пробкина и Свисткова зарделись от неожиданной любезности помощника пристава и юркнули сквозь цепь, а мужья их остались по сю сторону живой стены и занялись созерцанием спин пеших и конных блюстителей.

– Пролезли! – сказал Пробкин, с завистью и почти ненавистью глядя на удалявшихся дам. – Счастье, ей-богу, этим шиньонам! Мужскому полу никогда таких привилегий не будет, как ихнему, дамскому. Ну, что вот в них особенного? Женщины, можно сказать, самые обыкновенные, с предрассудками, а их пропустили; а нас с тобой, будь мы хоть статские советники, ни за что не пустят.

– Странно вы рассуждаете, господа! – сказал помощник пристава, укоризненно глядя на Пробкина. – Впусти вас, так вы сейчас толкаться и безобразить начнете; дама же, по своей деликатности, никогда себе не позволит ничего подобного!

– Оставьте, пожалуйста! – рассердился Пробкин. – Дама в толпе всегда первая толкается. Мужчина стоит и смотрит в одну точку, а дама растопыривает руки и толкается, чтоб ее нарядов не забыли. Говорить уж нечего! Женскому полу всегда во всем фортуна. Женщин и в солдаты не берут, и на танцевальные вечера им бесплатно, и от телесного наказания освобождают... А за какие, спрашивается, заслуги? Девица платок уронила – ты поднимай, она входит – ты вставай и давай ей свой стул, уходит – ты провожай... А возьмите чины! Чтоб достигнуть, положим, статского советника, мне или тебе нужно всю жизнь протрубить, а девица в какие-нибудь полчаса обвенчалась со статским советником – вот уж она и персона. Чтоб мне князем или графом сделаться, нужно весь свет покорить, шипку взять, в министрах побывать, а какая-нибудь, прости господи, Варенька или Катенька, молоко на губах не обсохло, покрутит перед графом шлейфом, пощурит глазки – вот и ваше сиятельство... Ты сейчас губернский секретарь... Чин этот себе ты, можно сказать, кровью и потом добыл; а твоя Марья фоминшна? За что она губернская секретарша? Из поповен и прямо в чиновницы. Хороша чиновница! Дай ты ей наше дело, так она тебе и впишет входящую в исходящие.

– Зато она в болезнях чад родит, – заметил Свистков.

– Велика важность! Постояла бы она перед начальством, когда оно холоду напускает, так ей бы эти самые чада удовольствием показались. Во всем и во всем им привилегия! Какая-нибудь девица или дама из нашего круга может генералу такое выпалить, чего ты и при экзекуторе не посмеешь сказать. Да... Твоя Марья фоминшна может смело со статским советником под ручку пройти, а возьми-ка ты статского советника под руку! Возьми-ка попробуй! В нашем доме, как раз под нами, брат, живет какой-то профессор с женой... Генерал, понимаешь, Анну первой степени имеет, а то и дело слышишь, как его жена чешет: «Дурак! дурак! дурак!» А ведь баба простая, из мещанок. Впрочем, тут законная, так тому и быть... испокон века так положено, чтоб законные ругались, но ты возьми незаконных! Что эти себе дозволяют! Во веки веков не забыть мне одного случая. Чуть было не погиб, да так уж, знать, за молитвы родителей уцелел. В прошлом году, помнишь, наш генерал, когда уезжал в отпуск к себе в деревню, меня взял с собой, корреспонденцию вести... Дело пустяковое, на час работы. Отработал свое и ступай по лесу ходить или в лакейскую романсы слушать. Наш генерал – человек холостой. Дом – полная чаша, прислуги, как собак, а жены нет, управлять некому. Народ всё распущенный, непослушный... и над всеми командует баба, экономка Вера Никитишна. Она и чай наливают, и обед заказывает, и на лакеев кричит... Баба, братец ты мой, скверная, ядовитая, сатаной глядит. Толстая, красная, визгливая... Как начнет на кого

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru кричать, как поднимет визг, так хоть святых выноси. Не так руготня донимала, как этот самый визг. О господи! Никому от нее житья не было. Не только прислугу, но и меня, бестия, задирала... Ну, думаю, погоди; улучу минутку и всё про тебя генералу расскажу. Он погружен, думаю, в службу и не видит, как ты его обкрадываешь и народ жуешь, постой же, открою я ему глаза. И открыл, брат, глаза, да так открыл, что чуть было у самого глаза не закрылись навеки, что даже теперь, как вспомню, страшно делается. Иду я однажды по коридору, и вдруг слышу визг. Сначала думал, что свинью режут, потом же прислушался и слышу, что это Вера Никитишна с кем-то бранится: «Тварь! Дрянь ты этакая! Чёрт!» – кого это? – думаю. И вдруг, братец ты мой, вижу, отворяется дверь и из нее вылетает наш генерал, весь красный, глаза выпученные, волосы, словно чёрт на них подул. А она ему вслед: «Дрянь! Чёрт!»

– Врешь!

– Честное мое слово. Меня, знаешь, в жар бросило. Наш убежал к себе, а я стою в коридоре и, как дурак, ничего не понимаю. Простая, необразованная баба, кухарка, смерд – и вдруг позволяет себе такие слова и поступки! Это значит, думаю, генерал хотел ее расчитать, а она воспользовалась тем, что нет свидетелей, и отчеканила его на все корки. Всё одно, мол, уходить! Взорвало меня... Пошел я к ней в комнату и говорю: «Как ты смела, негодница, говорить такие слова высокопоставленному лицу? Ты думаешь, что как он слабый старик, так за него некому вступить?» – Взял, знаешь, да и смазал ее по жирным щекам разика два. Как подняла, братец ты мой, визг, как заорала, так будь ты трижды неладна, унеси ты мое горе! Заткнул я уши и пошел в лес. Этак часика через два бежит навстречу мальчишка. «Пожалуйте к барину». Иду. Вхожу. Сидит, насупившись, как индюк, и не глядит.

– «Вы что же, говорит, это у меня в доме выстраиваете?» – «То есть как? – говорю. Ежели, говорю, это вы насчет Никитишны, ваше –ство, то я за вас же вступился». – «Не ваше дело, говорит, вмешиваться в чужие семейные дела!» – Понимаешь? Семейные! И как начал, брат, он меня отчитывать, как начал печь – чуть я не помер! Говорил-говорил, ворчал-ворчал, да вдруг, брат, как захохочет ни с того ни с сего. – «И как, говорит, это вы смогли?! Как это у вас хватило храбрости? Удивительно! Но надеюсь, друг мой, что всё это останется между нами... Ваша горячность мне понятна, но согласитесь, что дальнейшее пребывание ваше в моем доме невозможно...» – Вот, брат! Ему даже удивительно, как это я смог такую важную паву побить. Слепила баба! Тайный советник, Белого Орла имеет[40], начальства над собой не знает, а бабе поддался... Ба-альшие, брат, привилегии у женского пола! Но... снимай шапку! Несут генерала... Орденов-то сколько, батюшки светлы! Ну, что, ей-богу, пустили дам вперед, разве они понимают что-нибудь в орденах?

Заиграла музыка.

Кухарка женится

Гриша, маленький, семилетний карапузик, стоял около кухонной двери, подслушивал и заглядывал в замочную скважину. В кухне происходило нечто, по его мнению, необыкновенное, доселе невиданное. За кухонным столом, на котором обыкновенно рубят мясо и крошат лук, сидел большой, плотный мужик в извозчичьем кафтане, рыжий, бородатый, с большой каплей пота на носу. Он держал на пяти пальцах правой руки блюдечко и пил чай, причем так громко кусал сахар, что Гришину спину подирал мороз. Против него на грязном табурете сидела старуха нянька Аксинья Степановна и тоже пила чай. Лицо у няньки было серьезно и в то же время сияло каким-то торжеством. Кухарка Пелагея возилась около печки и, видимо, старалась спрятать куда-нибудь подальше свое лицо. А на ее лице Гриша видел целую иллюминацию: оно горело и переливалось всеми цветами, начиная с красно-багрового и кончая смертельно-бледным. Она, не переставая, хваталась дрожащими руками за ножи, вилки, дрова, тряпки, двигалась, ворчала, стучала, но в сущности ничего не делала. На стол, за которым пили чай, она ни разу не взглянула, а на вопросы, задаваемые нянькой, отвечала отрывисто, сурово, не поворачивая лица.

– Кушайте, Данило Семеныч! – угощала нянька извозчика. – Да что вы всё чай да чай? Вы бы водочки выкушали!

И нянька придвигала к гостю сороковушку и рюмку, причем лицо ее принимало ехиднейшее выражение.

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Не потребляю-с... нет-с... – отнекивался извозчик. – Не невольте, Аксинья Степановна.

– Какой же вы... Извозчики, а не пьете... Холостому человеку невозможно, чтоб не пить. Выкушайте!

Извозчик косился на водку, потом на ехидное лицо няньки, и лицо его самого принимало не менее ехидное выражение: нет, мол, не поймаешь, старая ведьма!

– Не пью-с, увольте-с... При нашем деле не годится это малодушество. Мастеровой человек может пить, потому он на одном месте сидит, наш же брат завсегда на виду в публике. Не так ли-с? Пойдешь в кабака, а тут лошадь ушла; напьешься ежели – еще хуже: того и гляди, уснешь или с козел свалишься. Дело такое.

– А вы сколько в день выручаете, Данило Семеныч?

– Какой день. В иной день на зелененькую выездишь, а в другой раз так и без гроша ко двору поедешь. Дни разные бывают-с. Нониче наше дело совсем ничего не стоит. Извозчиков, сами знаете, хоть пруд пруди, сено дорогое, а седок пустяковый, норovit всё на конке проехать. А всё ж, благодарить бога, не на что жалиться. И сыты, и одеты, и... можем даже другого кого осчастливить... (извозчик покосился на Пелагею)... ежели им по сердцу.

Что дальше говорилось, Гриша не слышал. Подошла к двери мамаша и послала его в детскую учиться.

– Ступай учиться. Не твое дело тут слушать!

Придя к себе в детскую, Гриша положил перед собой «Родное слово»[41], но ему не читалось. Всё только что виденное и слышанное вызвало в его голове массу вопросов.

«Кухарка женится... – думал он. – Странно. Не понимаю, зачем это жениться? Мамаша женилась на папаше, кузина Верочка – на Павле Андреиче. Но на папе и Павле Андреиче, так и быть уж, можно жениться: у них есть золотые цепочки, хорошие костюмы, у них всегда сапоги вычищенные; но жениться на этом страшном извозчике с красным носом, в валенках... фи! И почему это няньке хочется, чтоб бедная Пелагея женилась?»

Когда из кухни ушел гость, Пелагея явилась в комнаты и занялась уборкой. Волнение еще не оставило ее. Лицо ее было красно и словно испуганно. Она едва касалась веником пола и по пяти раз мела каждый угол. Долго она не выходила из той комнаты, где сидела мамаша. Ее, очевидно, тяготило одиночество и ей хотелось высказаться, поделиться с кем-нибудь впечатлениями, излить душу.

– Ушел! – проворчала она, видя, что мамаша не начинает разговора.

– А он, заметно, хороший человек, – сказала мамаша, не отрывая глаз от вышиванья. – Трезвый такой, степенный.

– Ей-богу, барыня, не выйду! – крикнула вдруг Пелагея, вся вспыхнув. – Ей-богу, не выйду!

– Ты не дури, не маленькая. Это шаг серьезный, нужно обдумать хорошенько, а так, зря, нечего кричать. Он тебе нравится?

– Выдумываете, барыня! – застыдилась Пелагея. – Такое скажут, что... ей-богу...

«Сказала бы: не нравится!» – подумал Гриша.

– Какая ты, однако, ломака... Нравится?

– Да он, барыня, старый! Гы-ы!

– Выдумывай еще! – окрысилась на Пелагею из другой комнаты нянька. – Сорока годов еще не исполнилось. Да на что тебе молодой? С лица, дура, воды не пить... Выходи, вот и всё!

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Ей-богу, не выйду! – взвизгнула Пелагея.

– Блажишь! Какого лешего тебе еще нужно? Другая бы в ножки поклонилась, а ты – не выйду! Тебе бы всё с почтальонами да лепетиторами перемигиваться! К Гришеньке лепетитор ходит, барыня, так она об него все свои глазищи обмозолила. У, бесстыжая!

– Ты этого Данилу раньше видала? – спросила барыня Пелагею.

– Где мне его видеть? Первый раз сегодня вижу. Аксинья откуда-то привела... чёрта окаянного... И откуда он взялся на мою голову!

За обедом, когда Пелагея подавала кушанья, все обедающие засматривали ей в лицо и дразнили ее извозчиком. Она страшно краснела и принужденно хихикала.

«Должно быть, совестно жениться... – думал Гриша. – Ужасно совестно!»

Все кушанья были пересолены, из недожаренных цыплят сочилась кровь и, в довершение всего, во время обеда из рук Пелагеи сыпались тарелки и ножи, как с похилившейся полки, но никто не сказал ей ни слова упрёка, так как все понимали состояние ее духа. Раз только папаша с сердцем швырнул салфетку и сказал мамаше:

– Что у тебя за охота всех женить да замуж выдавать! Какое тебе дело? Пусть сами женятся, как хотят.

После обеда в кухне замелькали соседские кухарки и горничные, и до самого вечера слышалось шушуканье. Откуда они пронюхали о сватовстве – бог весть. Проснувшись в полночь, Гриша слышал, как в детской за занавеской шушукались нянька и кухарка. Нянька убеждала, а кухарка то всхлипывала, то хихикала. Заснувши после этого, Гриша видел во сне похищение Пелагеи Черномором и ведьмой...

С другого дня наступило затишье. Кухонная жизнь пошла своим чередом, словно извозчика и на свете не было. Изредка только нянька одевалась в новую шаль, принимала торжественно-суровое выражение и уходила куда-то часа на два, очевидно, для переговоров... Пелагея с извозчиком не видалась, и когда ей напоминали о нем, она вспыхивала и кричала:

– Да будь он трижды проклят, чтоб я о нем думала! Тьфу!

Однажды вечером в кухню, когда там Пелагея и нянька что-то усердно кроили, вошла мамаша и сказала:

– Выходить за него ты, конечно, можешь, твое это дело, но, Пелагея, знай, что он не может здесь жить... Ты знаешь, я не люблю, если, кто в кухне сидит. Смотри же, помни... И тебя я не буду отпускать на ночь.

– И бог знает что выдумываете, барыня! – взвизгнула кухарка. – Да что вы меня им попрекаете? Пуцай он сбесится! Вот еще навязался на мою голову, чтоб ему...

Заглянув в одно воскресное утро в кухню, Гриша замер от удивления. Кухня битком была набита народом. Тут были кухарки со всего двора, дворник, два городских, унтер с нашивками, мальчик филька... Этот филька обыкновенно трется около прачешной и играет с собаками, теперь же он был причесан, умыт и держал икону в фольговой ризе. Посреди кухни стояла Пелагея в новом ситцевом платье и с цветком на голове. Рядом с нею стоял извозчик. Оба молодые были красны, потны и усиленно моргали глазами.

– Ну-с... кажись, время... – начал унтер после долгого молчания.

Пелагея заморгала всем лицом и заревела... Унтер взял со стола большой хлеб, стал рядом с нянькой и начал благословлять. Извозчик подошел к унтеру, бухнул перед ним поклон и чмокнул его в руку. То же самое сделал он и перед Аксиньей. Пелагея машинально следовала за ним и тоже бухала поклоны. Наконец отворилась наружная дверь, в кухню пахнул белый туман, и вся публика с шумом двинулась из кухни на двор.

«Бедная, бедная! – думал Гриша, прислушиваясь к рыданиям кухарки. – Куда ее повели? Отчего папа и мама не заступятся?»

После венца до самого вечера в прачешной пели и играли на гармонике. Мамаша всё время сердилась, что от няньки пахнет водкой и что из-за этих свадеб некому поставить самовар. Когда Гриша ложился спать. Пелагея еще не возвращалась.

«Бедная, плачет теперь где-нибудь в потемках! – думал он. – А извозчик на нее: цыц! цыц!»

На другой день утром кухарка была уже в кухне. Заходил на минуту извозчик. Он поблагодарил мамашу и, взглянув сурово на Пелагею, сказал:

– Вы же, барыня, поглядывайте за ней. Будьте заместо отца-матери. И вы тоже, Аксинья Степанна, не оставьте, посматривайте, чтоб всё благородно... без шалостей... А также, барыня, дозвольте рубликов пять в счет ейного жалованья. Хомут надо купить новый.

Опять задача для Гриши: жила Пелагея на воле, как хотела, не отдавая никому отчета, и вдруг, ни с того ни с сего явился какой-то чужой, который откуда-то получил право на ее поведение и собственность! Грише стало горько. Ему страшно, до слез захотелось приласкать эту, как он думал, жертву человеческого насилия. Выбрав в кладовой самое большое яблоко, он прокрался на кухню, сунул его в руку Пелагее и опрометью бросился назад.

Стена

...люди, кончившие курс в специальных заведениях, сидят без дела или же занимают должности, не имеющие ничего общего с их специальностью, и таким образом высшее техническое образование является у нас пока непроизводительным...

(Из передовой статьи)

– Тут, ваше превосходительство, по два раза на день ходит какой-то Маслов, вас спрашивает... – говорил камердинер Иван, брея своего барина Букина. – И сегодня приходил, сказывал, что в управляющие хочет наниматься... Обещался сегодня в час прийти... Чудной человек!

– Что такое?

– Сидит в передней и всё бормочет. Я, говорит, не лакей и не проситель, чтоб в передней по два часа тереться. Я, говорит, человек образованный... Хотя, говорит, твой барин и генерал, а скажи ему, что это невежливо людей в передней морить...

– И он бесконечно прав! – нахмурился Букин. – Как ты, братец, иногда бываешь нетактичен! Видишь, что человек порядочный, из чистеньких, ну и пригласил бы его куда-нибудь... к себе в комнату, что ли...

– Не важная птица! – усмехнулся Иван. – Не в генералы пришел наниматься, и в передней посидишь. Сидят люди и почище твоего носа, и то не обижаются... Коли ежели ты управляющий, слуга своему господину, то и будь управляющим, а нечего выдумки выдумывать, в образованные лезть... Тоже, поди ты, в гостиную захотел... харя немытая... Уж оченно много нониче смешных людей развелось, ваше превосходительство!

– Если сегодня еще раз придет этот Маслов, то проси...

Ровно в час явился Маслов. Иван повел его в кабинет.

– Вас граф ко мне прислал? – встретил его Букин. – Очень приятно познакомиться! Садитесь! Вот сюда садитесь, молодой человек, тут помягче будет... Вы уж тут были... мне говорили об этом, но, pardon[42], я вечно или в отлучке, или занят. Курите, милейший... Да, действительно, мне нужен управляющий... С прежним мы немножко не поладили... Я ему не уважил, он мне не потрафил, пошли, знаете ли, контры... Хе-хе-хе... Вы ранее управляли где-нибудь именем?

– Да, я у Киршмахера год служил младшим управляющим... Именье было продано с аукциона, и мне поневоле пришлось ретироваться... Опыта у меня, конечно, почти нет, но я кончил в Петровской земледельческой академии, где изучал агрономию... Думаю, что мои науки хоть немного заменят мне практику...

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Какие же там, батенька, науки? Глядеть за рабочими, за лесниками... хлеб продавать, отчетность раз в год представлять... никаких тут наук не нужно! Тут нужны глаз острый, рот зубастый, голосина... Впрочем, знания не мешают... – вздохнул Букин. – Ну-с, именье мое находится в Орловской губернии. Как, что и почему, узнаете вы вот из этих планов и отчетов, сам же я в имени никогда не бываю, в дела не вмешиваюсь, и от меня, как от Расплюева, ничего не добьетесь, кроме того, что земля черная, лес зеленый.[43] Условия, я думаю, останутся прежние, то есть тысяча жалованья, квартира, провизия, экипаж и полнейшая свобода действий!

«Да он душка!» – подумал Маслов.

– Только вот что, батенька... Простите, но лучше заранее уговориться, чем потом ссориться. Делайте там что хотите, но да хранит вас бог от нововведений, не сбивайте с толку мужиков и, что главное всего, хапайте не более тысячи в год...

– Простите, я не расслышал последней фразы... – пробормотал Маслов.

– Хапайте не больше тысячи в год... Конечно, без хапанья нельзя обойтись, но, милый мой, мера, мера! Ваш предшественник увлекся и на одной шерсти стилтснул пять тысяч, и... и мы разошлись. Конечно, по-своему он прав... человек ищет, где лучше, и своя рубашка ближе к телу, но, согласитесь, для меня это тяжеленко. Так вот помните же: тысячу можно... ну, так и быть уж – две, но не дальше!

– Вы говорите со мной, словно с мошенником! – вспыхнул Маслов, поднимаясь. – Извините, я к таким беседам не привык...

– Да? Как угодно-с... Не смею удерживать...

Маслов взял шапку и быстро вышел.

– Что, папа, нанял управляющего? – спросила Букина его дочь по уходе Маслова.

– Нет... Уж больно малый... тово... честен...

– Что ж, и отлично! Чего же тебе еще нужно?

– Нет, спаси господи и помилуй от честных людей... Если честен, то наверное или дела своего не знает, или же авантюрист, пустомеля... дурак. Избави бог... Честный не крадет, не крадет, да уж зато как царапнет залпом за один раз, так только рот разинешь... Нет, душечка, спаси бог от этих честных...

Букин подумал и сказал:

– Пять человек являлось и все такие, как этот... Чёрт знает, счастье какое! Придется, вероятно, прежнего управляющего пригласить...

После бенефиса
(Сценка)

Трагик Унылов и благородный отец Тигров сидели в 37 номере гостиницы «Вънеция» и пожинали плоды бенефиса. Перед ними на столе стояли водка, плохое красное, полубутылка коньяку и сардины. Тигров, толстенький угреватый человек, созерцательно глядел на графин и угрюмо безмолвствовал. Унылов же пламенел. Держа в одной руке пачку ассигнаций, в другой карандаш, он ерзал на стуле, как на иголках, и изливал свою душу.

– Что меня утешает и бодрит, Максим, – говорил он, – так это то, что меня молодежь любит. Гимназистики, реалистики – мелюзга, от земли не видно, но ты не шути, брат! Сидят, бестии, на галерке, у чёрта на куличках, за тридцать копеек, но только их и слышно, клопов этаких. Первые критики и ценители! Иной с воробья ростом, под стол пешком ходит, а на морденку взглянешь – совсем Добролюбов. Как они вчера кричали! Уны-ло-ва! Унылова!! Вообще, братец, не ожидал. Шестнадцать раз вызвали! И «ам поше»[44] не дурно: 123 рубля 80 копеек! Выпьем!

– Ты же, Васечка, тово... – забормотал Тигров, конфузливо мигая глазами, – презентуй мне сегодня двадцать талеров. В Елец надо съездить. Там дядька помер. После него, может быть, осталось что-нибудь. Коли не дашь, придется пешедралом махать. Дашь?

– Гм... Но ведь ты не отдашь, Максим!

– Не отдам, Васечка... – вздохнул благородный отец. – Где ж мне взять? Уж ты так... по дружбе.

– Постой, может быть, мне не хватит. Покупки нужно будет сделать да заказать кое-что. Давай считать.

Унылов потянул к себе бумагу, в которой был завернут коньяк, и стал писать на ней карандашом.

– Тебе 20, сестре послать 25... Бедная женщина уж три года просит прислать что-нибудь. Обязательно пошлю! Это такая милая... хорошая. Пару себе новую шить рублей в 30. За номер и за обед я еще подожду отдавать, успею. Табаку фунта три... щиблеты... Что еще? Выкупить фрак... часы. Куплю тебе новую шапку, а то в этой ты на чёрта похож... Совестно с тобой по улице ходить. Постой, еще чего?

– Купи, Васечка, револьвер для «Блуждающих огней». [45] Наш не стреляет.

– Да, правда. Антрепренер, подлец, ни за что не купит. Бутафории знать не хочет, антихрист этакий. Ну, стало быть, шесть-семь рублей на револьвер. Что еще?

– В баню сходи, с мылом помойся.

– Баня, мыло и прочее – рубль.

– Тут, Васечка, татарин ходит, отличное чучело лисицы продает. Вот купил бы!

– Да на что мне лисица?

– Так. На стол поставить. Проснешься утром, взглянешь, а у тебя на столе зверь стоит и... и так на душе весело станет!

– Роскошь! Лучше я себе портсигар новый куплю. Вообще, знаешь, следовало бы мне свой гардероб ремонтировать. Надо бы сорочек со стоячими воротниками купить. Стоячие воротники теперь в моде. Ах, да! Чуть было не забыл! Пикейную жилетку!

– Необходимо. В крыловских пьесах нельзя без пикейной жилетки. Щиблеты с пуговками... тросточка. Прачке будешь платить?

– Нет, погожу. Перчатки нужно белые, черные и цветные. Что еще? Сода и кислоты. Касторки раза на три... бумаги, конвертов. Что еще?

Унылов и Тигров подняли на потолок глаза, наморщили лбы и стали думать.

– Персидского порошку! – вспомнил Унылов. – Житья нет от краснокожих. Что еще? Батюшки, пальто! Про самое главное-то мы и забыли, Максим! Как зимой без пальто? Пишу 40. Но... у меня не хватит! Наплевал бы ты на своего дядьку, Максим!

– Не могу. Единственный родственник и вдруг наплевать! Неверное после него осталось что-нибудь.

– Что? Пенковая трубка, тетушкин портрет? Ей-богу, наплюй!

– Не понимаю, что у тебя за эго... эгои... эгоистицизм такой, Васечка? – замигал глазами Тигров. – Будь у меня деньги, да нешто бы я пожалел? Сто... триста... тысячу... бери сколько хочешь! У меня после родителей десять тысяч осталось. Всё актерам роздал!..

– Ладно, ладно, бери свои двадцать!

– Мерси. Карманы все порваны, некуда положить. Но, однако, шестой час уже, пора мне на вокзал.

Тигров тяжело поднялся и стал натягивать на свое шаровидное тело маленькое, узкоплечее пальто.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Ты же, Васечка, не говори нашим, что я уехал, – сказал он. – Наш подлец бунт поднимет, ежели узнает, что я уехал не сказавшись. Пусть думают, что я в запое. Проводил бы ты меня, Васечка, на вокзал, а то неровен час зайду по дороге в трактир и все твои талеры ухну. Знаешь мою слабость! Проводи, голубчик!

– Ладно.

Актеры оделись и вышли на улицу.

– Что бы такое купить? – бормотал Унылов, заглядывая по дороге в окна магазинов и лавок. – Погляди, Максим, какой чудный окорок! Будь полный сбор, накажи меня бог, купил бы. А знаешь, почему не было полного сбора? Потому что у купца Чудакова была свадьба. Все плутократы там были. Вздумали же, черти, не вовремя жениться! Погляди-ка, какой в окне цилиндр! Купить нешто? Впрочем, шут с ним.

Придя на вокзал, приятели уселись в зале первого класса и задымили сигарами.

– Чёрт возьми, – поморщился Унылов, – мне что-то пить захотелось. Давай пива выпьем. Челаэк, пива! Еще первого звонка не было, так что тебе нечего спешить. Ты же, карапуз, не долго ездил. Сдери с мертвого дядьки малую толику и назад. Вот что, эээ... чеаэк! Не нужно пива! Дай бутылку Нью! Выпьем с тобой на прощанье красненького... и езжай себе.

Через полчаса актеры оканчивали уже вторую бутылку. Подперев свою горячую голову кулаками, Унылов глядел любвеобильными глазами на жирное лицо Тигрова и бормотал коснеющим языком:

– Главное зло в нашем мире – это антрр... репрренер. Только тогда артист будет крепко стоять на ногах, когда он в своем деле будет дер... держаться коллективных начал...

– На паях.

– Да, на паях. Парршивое вино. Вот что, выпьем рейнвейнцу!

– Васечка... второй звонок.

– Начхай. С ночным поездом уедешь, а теперь я тебе... выскажу. Челаэк, бутылку рейнского! Антррепрр... енер видит в артисте вещь... мя-со для пушек. Он кулак. Ему не понять артиста. Взять хоть тебя. Ты человек без таланта, но... ты полезный актер. Тебя нужно ценить. Постой, не лезь целоваться, неловко!.. Я тебя за что люблю? За твою душу... истинно артистическое сердце. Максим, я тебе завтра пару заказываю. Всё для тебя. И лисицу даже. Дай пожать руку!

Прошел час. Артисты всё еще сидели и беседовали.

– Дай только бог встать мне на ноги, – говорил Унылов, – и ты увидишь... Я покажу тогда, что значит сцена! Ты у меня двести в месяц получать будешь... Мне бы только на первый раз тысячу рублей... летний театр снять... Вот что, не съест ли нам что-нибудь? Ты хочешь есть? Ты откровенно... Хочешь? Челаэк, пару жареных дупелей!

– Теперь не бывает-с дупелей, – сказал человек.

– Чёррт возьми, у вас никогда ничего не бывает! В таком случае, болван, подай... какая у вас там есть дичь? Всю подай! Привыкли, подлецы, купцов кормить всякой дрянью, так думают, что и артист станет есть их дрянью! Неси всё сюда! Подай также ликеры! Максим, сигар хочешь? Подашь и сигар.

Немного погодя к приятелям пристал комик Дудкин.

– Нашли, где пить! – удивился Дудкин. – Едем в «Бель-вю». Там теперь все наши...

– Счет! – крикнул Унылов.

– Тридцать шесть рублей двадцать копеек...

– Получай... без сдачи! Едем, Максим! Наплюй на дядьку! Пусть бедный Йорик[46] остается без наследников! Давай сюда двадцать рублей! Завтра поедешь!

В «Бель-вю» приятели потребовали устриц и рейнского.

– И сапоги тебе завтра куплю, – говорил Унылов, наливая Тигрову. – Пей! Кто любит искусство, тот... За искусство!

Пошли в ход искусство, коллективные начала, паи, единодушие, солидарность и прочие актерские идеалы... Поездка же в Елец, покупка чаю, табаку и одежды, выкуп заложенного и уплата сами собой улеглись в далекий... очень далекий ящик. Счет «Бель-вю» съел всю бенефисную выручку.

К свадебному Сезону
(Из записной книжки комиссионера)

К у ч к и н, Иван Саввич, губернский секретарь, 42 лет. Некрасив, ряб, гнусав, но весьма представительен. Принят в хороших домах и имеет тетку полковницу. Живет отдачей денег под проценты. Мошенник, но в общем человек порядочный. Ищет девушку лет 18–20, которая была бы из хорошего дома и говорила по-французски. Необходимо должна быть миловидна и иметь приданое в размере 15–20 000.

Ф е ш к и н, отставной офицер. Пьет и болеет ревматизмом. Желает жену, которая смотрела бы за ним. Согласен и на вдове, лишь бы была не старше 25 лет и имела капитал.

П р у д о н о в, ретушер, ищет невесту с фотографией, которая была бы не заложена и давала не менее 2 000 в год. Пьет, но не постоянно, а запоем. Брюнет и имеет черные глаза.

Г н у с и н а, вдова. Имеет два дома и тысяч сто наличных. Ищет генерала, хотя бы и отставного. На левом глазу едва видимое бельмо и говорит с присвистом. Утверждает, что хотя она и значится вдовой, но на самом деле девица, так как покойный муж ее в день свадьбы заболел трясением всех членов.

Ж е н с к и й, Дифтерит Алексеич, артист театров, 35 лет, неизвестного звания. Говорит, что у его отца винокурный завод, но наверное брешет. Одет всегда во фрак и белый галстук, потому что другой одежды нет. Оставил театр по причине хриплого голоса. Желает купчиху любой комплекции, лишь бы с деньгами.

Б у т у з о в, бывший штабс-капитан, осужденный в ссылку в Томскую губернию за растрату и подлоги; желает осчастливить сироту, которая пошла бы с ним в Сибирь! Должна быть дворянского рода.

Записка

Старшина одного провинциального клуба, возвратясь после долгих странствий в родной город, нашел в клубе страшные беспорядки и, между прочим, не доискался в клубной читальне многих газет и журналов. Позвав к себе библиотекаря (которая в то же время состояла и буфетчицей), он распек ее и приказал ей во что бы то ни стало узнать, где находятся пропавшие журналы и газеты. Библиотекаря через неделю подала старшине такую записку:

«врач и техник у супруги Петра Нилыча под краватью, шут на кровати, а друг женщин тутже в спальней в шкафе.

«русская мысль у квартального.

«русский куриер у немца в портерной.

«странник ежели не у купчихи Вихоркиной, то значит в буфете.

«развлечение у отца Никандра в шкафчике, где водка.

«жизни, зари и нови нет ни где, а наблюдатель и сибирь есть.

«осколки в пасудной лавке Куликова.

«русский еврей связанный висит на веревочке в углу в читальне.

«нувелиста барышни во время бала залапали и бросили под рояль.

«инвалида вы велели употребить на обои.

«семью и школу облили чирнилами.

«официант Карп гаварил, что он видел у своей жены в каком то месте пчелку.

«нива у кабатчика.

«стрекозу на свадьбе у почместера видели, а где она теперь неизвестно.

«ваза у вас под краватью.

«у вице-губернатора дела нет, оно у его сикретаря.

«свет продали жидам».

Общее образование

(Последние выводы зубоврачебной науки)

– Не повезло мне по зубной части, Осип Францыч! – вздыхал маленький поджарый человечек в потускневшем пальто, латаных сапогах и с серыми, словно ощипаннми, усами, глядя с подобострастием на своего коллегу, жирного, толстого немца в новом дорогом пальто и с гаванкой в зубах. – Совеем не повезло! Собака его знает, отчего это так! Или оттого, что нынче зубных врачей больше, чем зубов... или у меня таланта настоящего нет, чума его знает! Трудно фортуна понять. Взять, к примеру, хоть вас. Вместе мы в уездном училище курс кончили, вместе у жида Берки Швахера работали, а какая разница! Вы два дома и дачу имеете, в коляске катаетесь, а я, как видите, яко наг, яко благ, яко нет ничего. Ну, отчего это так?

Немец Осип Францыч кончил курс в уездном училище и глуп, как тетерев, но сытость, жир и собственные дома придают ему массу самоуверенности. Говорить авторитетно, философствовать и читать сентенции он считает своим неотъемлемым правом.

– Вся беда в нас самих, – вздохнул он авторитетно в ответ на жалобы коллеги. – Сам ты виноват, Петр Ильич! Ты не сердись, но я говорил и буду говорить: нас, специалистов, губит недостаток общего образования. Мы залезли по уши в свою специальность, а что дальше этого, до того нам и дела нет. Нехорошо, брат! Ах, как нехорошо! Ты думаешь, что как научился зубы дергать, так уж и можешь приносить обществу пользу? Ну, нет, брат, с такими узкими, односторонними взглядами далеко не пойдешь... ни-ни, ни в каком случае. Общее образование надо иметь!

– А что такое общее образование? – робко спросил Петр Ильич.

Немец не нашелся, что ответить, и понес чепуху, но потом, выпивши вина, разошелся и дал своему русскому коллеге уразуметь, что он понимает под «общим образованием». Пояснил он не прямо, а косвенно, говоря о другом.

– Главнее всего для нашего брата – приличная обстановка, – рассказывал он. – Публика только по обстановке и судит. Ежели у тебя грязный подъезд, тесные комнаты да жалкая мебель, то значит, ты беден, а ежели беден, то, стало быть, у тебя никто не лечится. Не так ли? Зачем я к тебе пойду лечиться, если у тебя никто не лечится? Лучше я пойду к тому, у кого большая практика! А заведи ты себе бархатную мебель да понатыкай везде электрических звонков, так тогда ты и опытный, и практика у тебя большая. Обзавестись же шикарной квартирой и приличной мебелью – раз плюнуть. Нынче мебельщики подтянулись, духом пали. В кредит сколько хочешь, хоть на сто тысяч, особливо ежели подпишешься под счетом: «Доктор такой-то». И одеваться нужно прилично. Публика так рассуждает: если ты оборван и в грязи живешь, то с тебя и рубля довольно, а если ты в золотых очках, с жирной цепочкой, да кругом тебя бархат, то уж совестно давать тебе рубль, а надо пять или десять. Не так ли?

– Это верно... – согласился Петр Ильич. – Признаться сказать, я сначала завел себе обстановку. У меня всё было: и бархатные скатерти, и журналы в приемной, и Бетховен висел около зеркала, но... чёрт его знает! Затмение дурацкое нашло. Хожу

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru по своей роскошной квартире, и совестно мне отчего-то! Словно я не в свою квартиру попал или украл всё это... не могу! Не умею сидеть на бархатном кресле, да и шабаш! А тут еще моя жена... простая баба, никак не хочет понять, как соблюдать обстановку. То щами или гусем навоняет на весь дом, то канделябры начнет кирпичом чистить, то полы начнет мыть в приемной при больных... чёрт знает что! Верите ли, как продали всю эту обстановку с аукциона, так я словно ожил.

– Значит, не привык к приличной жизни... Что ж? Надо привыкать! Потом, кроме обстановки, нужна еще вывеска. Чем меньше человек, тем вывеска его должна быть больше. Не так ли? Вывеска должна быть громадная, чтобы даже за городом ее видно было. Когда ты подъезжаешь к Петербургу или к Москве, то, прежде чем увидишь колокольни, тебе станут видны вывески зубных врачей. А там, брат, врачи не нам с тобой чета. На вывеске должны быть нарисованы золотые и серебряные круги, чтобы публика думала, что у тебя медали есть: уважения больше! Кроме этого, нужна реклама. Продай последние брюки, а напечатай объявление. Печатай каждый день во всех газетах. Ежели кажется тебе, что простых объявлений мало, то валяй с фокусами: вели напечатать объявление вверх ногами, закажи клише «с зубами» и «без зубов», проси публику не смешивать тебя с другими дантистами, публикуй, что ты возвратился из-за границы, что бедных и учащихся лечишь бесплатно... Нужно также повесить объявление на вокзале, в буфетах... Много способов!

– Это верно! – вздохнул Петр Ильич.

– Многие также говорят, что, как ни обращайся с публикой, всё равно... Нет, не всё равно! С публикой надо уметь обращаться... Публика нынче хоть и образованная, но дикая, бессмысленная. Сама она не знает, чего хочет, и приноровиться к ней очень трудно. Будь ты хоть распрепрофессор, но ежели ты не умеешь подладиться под ее характер, то она скорее к коновалу пойдет, чем к тебе... Приходит ко мне, положим, барыня с зубом. Разве ее можно без фокусов принять? Ни-ни! Я сейчас нахмуриваюсь по-ученому и молча показываю на кресло: ученым, мол, людям некогда разговаривать. А кресло у меня тоже с фокусами: на винтах! Вертишь винты, а барыня то поднимается, то опускается. Потом начнешь в больном зубе копать. В зубе чепуха, вырвать надо и больше ничего, но ты копайся долго, с расстановкой... раз десять зеркало всунь в рот, потому что барыни любят, если их болезнями долго занимают. Барыня визжит, а ты ей: «Сударыня! мой долг облегчить ваши ужасные страдания, а потому прошу относиться ко мне с доверием», и этак, знаешь, величественно, трагически... А на столе перед барыней челюсти, черепа, кости разные, всевозможные инструменты, банки с адамовыми головами – всё страшное, таинственное. Сам я в черном балахоне, словно инквизитор какой. Тут же около кресла стоит машина для веселящего газа. Машину-то я никогда не употребляю, но все-таки страшно! Зуб рву я огромнейшим ключом. Вообще, чем крупнее и страшнее инструмент, тем лучше. Рву я быстро, без запинки.

– И я рву недурно, Осип Француз, но чёрт меня знает! Только что, знаете, сделаю тракцию и начну зуб тянуть, как откуда ни возьмись мысль: а что если я не вырву или сломаю? От мысли рука дрожит. И это постоянно!

– Зуб сломается, не твоя вина.

– Так-то так, а все-таки. Беда, ежели апломба нет! Хуже нет, ежели ты себе не веришь или сомневаешься. Был такой случай. Наложил я щипцы, тащу... тащу и вдруг, знаете, чувствую, что очень долго тащу. Пора бы уж вытащить, а я всё тащу. Окаменел я от ужаса! Надо бы бросить да снова начать, а я тащу, тащу... ошалел! Больной видит по моему лицу – тово, что я швах, сомневаюсь, вскочил да от боли и злости как хватит меня табуретом! А то однажды ошалел тоже и вместо больного здоровый зуб вырвал.

– Пустяки, со всяким случается. Рви здоровые зубы, до больного доберешься. А ты прав, без апломба нельзя. Ученый человек должен держать себя по-ученому. Публика ведь не понимает, что мы с тобой в университете не были. Для нее все доктора. И Боткин доктор[47], и я доктор, и ты доктор. А потому и держи себя как доктор. Чтоб поученей казаться и пыль пустить, издай брошюрку «О содержании зубов». Сам не сумеешь сочинить, закажи студенту. Он рублей за десять тебе и предисловие накатает и из французских авторов цитаты повыдергает. Я уж три брошюры выпустил. Еще что? Зубной порошок изобрети. Закажи себе коробочки со штемпелем, насыпь в них, чего знаешь, навяжи пломбу и валяй: «Цена 2 рубля, остерегайтесь подделок». Выдумай и эликсир. Наболтай чего-нибудь, чтоб пахло да щипало, вот тебе и эликсир. Цен круглых не назначай, а так: эликсир № 1 стоит 77 к., № 2 – 82 к. и

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
т. д. Это потаинственнее. Зубные щетки продавай со своим штемпелем по рублю за штуку. Видал мои щетки?

Петр Ильич нервно почесал затылок и в волнении зашагал около немца...

– Вот поди же ты! – зажестикублировал он. – Вот оно как! Но не умею я, не могу! Не то чтобы я это шарлатанством или жульничеством считал, а не могу, руки коротки! Сто раз пробовал, и ни черта не выходило. Вы вот сыты, одеты, дома имеете, а меня – табуретом! Да, действительно, плохо без общего образования! Это вы верно, Осип Францыч! Очень плохо!

Врачебные советы

От насморка полезен настой из «трын-травы», пить который следует натощак, по субботам.

Головокружение может быть прекращено следующим образом: возьми две веревки и привяжи правое ухо к одной стене, а левое к другой, противоположной, вследствие чего твоя голова будет лишена возможности кружиться.

У отравившегося мышьяком старайся вызвать рвоту, для достижения чего полезно нюхать провизию, купленную в Охотном ряду.

При сильном и упорном кашле постарайся денька три-четыре не кашлять вовсе, и твоя хворь исчезнет сама собою.

Мнения по поводу шляпной катастрофы

Замоскворецкой купчихи Пятикрыловой. Таперя ежели которая и пойдет в киастр, то самая непутящая... какая-нибудь дикая, бесчувственная... Степенная не пойдет, потому нашего брата, листократку, только по шляпке и отличишь от непутевых... Не по рылу же узнают, что я первогильдейная!

Извозчика. Что шляпки? Шляпки – тьфу! А вот ежели бы указ вышел, чтоб тульнюров не носили! Мало того, что одна три места занимает, но еще своими пружинами сиденье портит...

Штабс-капитанши Пыжиковой. Ка-ак?! Не носить в театре шляпок? Так зачем же я в таком случае себе новую шляпку заказала? Где я в ней ходить буду? Да будь я неладна, чтоб я в театр без шляпы пошла! Что мне там без шляпки делать? Нешто нынешний мужчина любит простоволосых? На мужчин-то мне плевать, я замужем, но все-таки...

Дочери бедных, но благородных родителей. И отлично! По крайности и я теперь буду ходить в театр. Никто не заметит, что у меня нет шляпки.

Моей тещи. Я вдова статского советника! Не позволю! Мало того, что от зятя за свой парик насмешки терплю, так хотят еще, чтоб и другие мою «наготу» увидели! Не бывать этому!

Клеманс, Бланш и Анжелики. [48] Вот еще! Очень нам нужны казенные театры! Мы и в частные можем ходить...

Ивана Ивановича Иванова. Ни к чему эта мера не поведет-с, верьте слову-с...

Женщина – штука бедовая! Вы ей шляпку запретили носить, а она назло вам на своей голове из волос такую вавилонскую башню устроит, что не только актеров, но и света не увидите! Верьте слову-с!

Иудушки. Хе-хе-хе... Обидели моих голубушек! И к чему это против характера делать? Вместо того, чтоб шляпы снимать, они бы так сделали: отдали бы мужчинам партер, а дамочкам галерку – и шляпы целы, и всем видно... Хе-хе...

Два газетчика

(Неправдоподобный рассказ)

Рыбкин, сотрудник газеты «Начихать вам на головы!», человек обрюзглый, сырой и тусклый, стоял посреди своего номера и любовно поглядывал на потолок, где торчал крючок, приспособленный для лампы. В руках у него болталась веревка.

«Выдержит или не выдержит? – думал он. – Оборвется, чего доброго, и крючком по

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
голове... Жизнь анафемская! Даже повеситься путем негде!»

Не знаю, чем кончились бы размышления безумца, если бы не отворилась дверь и не вошел в номер приятель Рыбкина, Шлепкин, сотрудник газеты «Иуда предатель», живой, веселый, розовый.

– Здорово, Вася! – начал он, садясь. – Я за тобой... Едем! В Выборгской покушение на убийство, строк на тридцать... Какая-то шельма резала и не дорезала. Резал бы уж на целых сто строк, подлец! Часто, брат, я думаю и даже хочу об этом писать: если бы человечество было гуманно и знало, как нам жрать хочется, то оно вешалось бы, горело и судилось во сто раз чаще. Ба! Это что такое? – развел он руками, увидев веревку. – Уж не вешаться ли вздумал?

– Да, брат... – вздохнул Рыбкин. – Шабаш... прощай! Опротивела жизнь! Пора уж...

– Ну, не идиотство ли? Чем же могла тебе жизнь опротиветь?

– Да так, всем... Туман какой-то кругом, неопределенность... безызвестность... писать не о чем. От одной мысли можно десять раз повеситься: кругом друг друга едят, грабят, топят, друг другу в морды плюют, а писать не о чем! Жизнь кипит, трещит, шипит, а писать не о чем! Дуализм проклятый какой-то...

– Как же не о чем писать? Будь у тебя десять рук, и на все бы десять работы хватило.

– Нет, не о чем писать! Кончена моя жизнь! Ну, о чем прикажешь писать? О кассирах писали, об аптеках писали, про восточный вопрос писали... до того писали, что всё перепутали и ни черта в этом вопросе не поймешь. Писали о неверии, тещах, о юбилеях, о пожарах, женских шляпках, падении нравов, о Цукки...[49] всю вселенную перебрали, и ничего не осталось. Ты вот сейчас про убийство говоришь: человека зарезали... Эка невидаль! Я знаю такое убийство, что человека повесили, зарезали, керосином облили и сожгли – всё это сразу, и то я молчу. Наплевать мне! Всё это уже было, и ничего тут нет необыкновенного. Допустим, что ты двести тысяч украд или что Невский с двух концов поджег, – наплевать и на это! Всё это обыкновенно, и писали уж об этом. Прощай!

– Не понимаю! Такая масса вопросов... такое разнообразие явлений! В собаку камень бросишь, а в вопрос или явление попадешь...

– Ничего не стоят ни вопросы, ни явления... Например, вот я вешаюсь сейчас... По-твоему, это вопрос, событие; а по-моему, пять строк петита – и больше ничего. И писать незачем. Околевали, околевают и будут околевать – ничего тут нет нового... Все эти, брат, разнообразия, кипения, шипения очень уж однообразны... И самому писать тошно, да и читателя жалко: за что его, бедного, в меланхолию вгонять?

Рыбкин вздохнул, покачал головой и горько улыбнулся.

– А вот если бы, – сказал он, – случилось что-нибудь особенное, этакое, знаешь, зашибательное, что-нибудь мерзейшее, распереподлое, такое, чтоб черти с перепугу передохли, ну, тогда ожил бы я! Прошла бы земля сквозь хвост кометы, что ли, Бисмарк бы в магометанскую веру перешел[50], или турки Калугу приступом взяли бы... или, знаешь, Нотовича в тайные советники произвели бы... одним словом, что-нибудь зажигательное, отчаянное, – ах, как бы я зажил тогда!

– Любишь ты широко глядеть, а ты попробуй помельче плавать. Вглядись в былинку, в песчинку, в щелочку... всюду жизнь, драма, трагедия! В каждой щепке, в каждой свинье драма!

– Благо у тебя натура такая, что ты и про выеденное яйцо можешь писать, а я... нет!

– А что ж? – окрысился Шлепкин. – Чем, по-твоему, плохо выеденное яйцо? Масса вопросов! Во-первых, когда ты видишь перед собой выеденное яйцо, тебя охватывает негодование, ты возмущен!! Яйцо, предназначенное природою для воспроизведения жизни индивидуума... понимаешь! жизни!.. жизни, которая в свою очередь дала бы жизнь целому поколению, а это поколение тысячам будущих поколений, вдруг съедено, стало жертвою чревоугодия, прихоти! Это яйцо дало бы курицу, курица в

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru течение всей своей жизни снесла бы тысячу яиц... – вот тебе, как на ладони, подрыв экономического строя, заедание будущего! Во-вторых, глядя на выеденное яйцо, ты радуешься: если яйцо съедено, то, значит, на Руси хорошо питаются... В-третьих, тебе приходит на мысль, что яичной скорлупой удобряют землю, и ты советуешь читателю дорожить отбросами. В-четвертых, выеденное яйцо наводит тебя на мысль о бренности всего земного: жило и нет его! В-пятых... Да что я считаю? На сто нумеров хватит!

– Нет, куда мне! Да и веру я в себя потерял, в уныние впал... Ну его, всё к чёрту!

Рыбкин стал на табурет в прицепил веревку к крючку.

– Напрасно, ей-богу напрасно! – убеждал Шлепкин. – Ты погляди: двадцать у нас газет и все полны! Стало быть, есть о чем писать! Даже провинциальные газеты, и те полны!

– Нет... Спящие гласные, кассиры... – забормотал Рыбкин, как бы ища за что ухватиться, – дворянский банк, паспортная система... упразднение чинов, Румелия... Бог с ними!

– Ну, как знаешь...

Рыбкин накинул себе петлю на шею и с удовольствием повесился. Шлепкин сел за стол и в один миг написал: заметку о самоубийстве, некролог Рыбкина, фельетон по поводу частых самоубийств, передовую об усилении кары, налагаемой на самоубийц, и еще несколько других статей на ту же тему. Написав всё это, он положил в карман и весело побежал в редакцию, где его ждали мзда, слава и читатели.

Психопаты (Сценка)

Титулярный советник Семен Алексеич Нянин, служивший когда-то в одном из провинциальных коммерческих судов, и сын его Гриша, отставной поручик – личность бесцветная, живущая на хлебах у папаша и мамаша, сидят в одной из своих маленьких комнаток и обедают. Гриша, по обыкновению, пьет рюмку за рюмкой и без умолку говорит; папаша, бледный, вечно встревоженный и удивленный, робко заглядывает в его лицо и замирает от какого-то неопределенного чувства, похожего на страх.

– Болгария и Румелия[51] – это одни только цветки, – говорит Гриша, с ожесточением ковыряя вилкой у себя в зубах. – Это что, пустяки, чепуха! А вот ты прочти, что в Греции да в Сербии делается, да какой в Англии разговор идет! Греция и Сербия поднимутся, Турция тоже... Англия вступится за Турцию.

– И Франция не утерпит... – как бы нерешительно замечает Нянин.

– Господи, опять о политике начали! – кашляет в соседней комнате жилец Федор Федорыч. – Хоть бы больного пожалели!

– Да, и Франция не утерпит, – соглашается с отцом Гриша, словно не замечая кашля Федора Федорыча. – Она, брат, еще не забыла пять миллиардов![52] Она, брат... эти, брат, французы себе на уме! Того только и ждут, чтоб Бисмарку фернапиксу задать да в табакерку его чемерицы насыпать![53] А ежели француз поднимется, то немец не станет ждать – коммен зи гер[54], Иван Андреич, шпрехен зи дейч!..[55] Хо-хо-хо! За немцами Австрия, потом Венгрия, а там, гляди, и Испания насчет Каролинских островов...[56] Китай с Тонкином, афганцы... и пошло, и пошло, и пошло! Такое, брат, будет, что и не снилось тебе! Вот попомни мое слово! Только руками разведешь...

Старик Нянин, от природы мнительный, трусливый и забитый, перестает есть и еще больше бледнеет. Гриша тоже перестает есть. Отец и сын – оба трусы, малодушны и мистичны; душу обоих наполняет какой-то неопределенный, беспредметный страх, беспорядочно витающий в пространстве и во времени: что-то будет!! Но что именно будет, где и когда, не знают ни отец, ни сын. Старик обыкновенно предается страху безмолвствуя, Гриша же не может без того, чтоб не раздражать себя и отца длинными словоизвержениями; он не успокоится, пока не напугает себя вконец.

– Вот ты увидишь! – продолжает он. – Ахнуть не успеешь, как в Европе пойдет всё

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru шиворот-навыворот. Достанется на орехи! Тебе-то, положим, всё равно, тебе хоть трава не расти, а мне – пожалуйста-с на войну! Мне, впрочем, плевать... с нашим удовольствием.

Попугав себя и отца политикой, Гриша начинает толковать про холеру.

– Там, брат, не станут разбирать, живой ты или мертвый, а сейчас тебя на телегу и – айда за город! Лежи там с мертвецами! Некогда будет разбирать, болен ты или уже помер!

– Господи! – кашляет за перегородкой Федор Федорыч. – Мало того, что табаком начадили да сивухой навоняли, так вот хотят еще разговорами добить!

– Чем же, позвольте вас спросить, не нравятся вам наши разговоры? – спрашивает Гриша, возвышая голос.

– Не люблю невежества... Уж очень тошно.

– Тошно, так и не слушайте... Так-то, брат папаша, быть делам! Разведешь руками, да поздно будет. А тут еще в банках воруют, в земствах... Там, слышишь, миллион украли, там сто тысяч, в третьем месте тысячу... каждый день! Того дня нет, чтоб кассир не бегал.

– Ну, так что ж?

– Как что ж? Проснешься в одно прекрасное утро, выглянешь в окно, ан ничего нет, всё украдено. Взглянешь, а по улице бегут кассиры, кассиры, кассиры... Хватишься одеваться, а у тебя штанов нет – украли! Вот тебе и что ж!

В конце концов Гриша принимается за процесс Мироновича. [57]

– И не думай, не мечтай! – говорит он отцу. – Этот процесс во веки веков не кончится. Приговор, брат, решительно ничего не значит. Какой бы ни был приговор, а темна вода во облацех! Положим, Семенова виновата... хорошо, пусть, но куда же девать те улики, что против Мироновича? Ежели, допустим, Миронович виноват, то куда ты сунешь Семенову и Безака? Туман, братец... Всё так бесконечно и туманно, что не удивлетворятся приговором, а без конца будут философствовать... Есть конец света? Есть... А что же за этим концом? Тоже конец... А что же за этим вторым концом? И так далее... Так и в этом процессе... Раз двадцать еще разбирать будут и то ни к чему не придут, а только туману напустят... Семенова сейчас создалась [58], а завтра она опять откажется – знать не знаю, ведать не ведаю. Опять Карабчевский кружить начнет... [59] наберет себе десять помощников и начнет с ними кружить, кружить, кружить...

– То есть как кружить?

– Да так: послать за гирей водолазов под Тучков мост! [60] Хорошо, а тут сейчас Ашанин [61] бумагу: не нашли гири! Карабчевский рассердится... Как так не нашли? Это оттого, что у нас настоящих водолазов и хорошего водолазного аппарата нет! Выписать из Англии водолазов, а из Нью-Йорка аппарат! Пока там гирю ищут, стороны экспертов треплют. А эксперты кружат, кружат, кружат. Один с другим не соглашается, друг другу лекции читают... Прокурор не соглашается с Эргардом, а Карабчевский с Сорокиным... [62] и пошло, и пошло! Выписать новых экспертов, позвать из Франции Шарко! Шарко приедет и сейчас: не могу дать заключения, потому что при вскрытии не была осмотрена спинная кость! Вырыть опять Сарру! Потом, братец ты мой, насчет волос... Чьи были волосы? Не могли же они сами на полу вырасти, а чьи-нибудь да были же! Позвать для экспертизы парикмахеров! И вдруг оказывается, что один волос совсем похож на волос Монбазон! Позвать сюда Монбазон! И пошло, и пошло. Всё завертится, закружится. А тут еще англичане-водолазы в Неве найдут не одну гирю, а пять. Ежели не Семенова убила, то настоящий убийца наверное туда десяток гирь бросил. Начнут гири осматривать. Первым делом: где они куплены? У купца Подскокова! Подать сюда купца! «Г-н Подскоков, кто у вас гири покупал?» – «Не помню». – «В таком случае назовите нам фамилии ваших покупателей!» Подскоков начнет припоминать да и вспомнит, что ты у него что-то когда-то покупал. Вот, скажет, покупали у меня товар такие-то и такие-то и между прочим титулярный советник Семен Алексеев Нянин! Подать сюда этого титулярного советника Нянина! Пожалуйста-с!

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Нянин икает, встает из-за стола и, бледный, растерянный, нервно семенит по комнате.

– Ну, ну... – бормочет он. – Бог знает что!

– Да, подать сюда Нянина! Ты пойдешь, а Карабчевский тебя глазами насквозь, насквозь! «Где, спросит, вы были в ночь под такое-то число?» А у тебя и язык прильпе к гортани. Сейчас сличат те волосы с твоими, пошлют за Ивановским[63], и пожалуйте, г. Нянин, на цугундер!

– То... то есть как же? Все знают, что не я убил! Что ты?

– Это всё равно! Плевать на то, что не ты убил! Начнут тебя кружить и до того закружат, что ты встанешь на колени и скажешь: я убил! Вот как!

– Ну, ну, ну...

– Я ведь только к примеру. Мне-то всё равно. Я человек свободный, холостой. Захочу, так завтра же в Америку уеду! Ищи тогда, Карабчевский! Кружи!

– Господи! – стонет Федор Федорыч. – Хоть бы у них глотки пересохли! Черти, да вы замолчите когда-нибудь или нет?

Нянин и Гриша умолкают. Обед кончился, и оба они ложатся на свои кровати. Обоих сосет червь.

На чужбине

Воскресные полдень. Помещик Камышев сидит у себя в столовой за роскошно сервированным столом и медленно завтракает. С ним разделяет трапезу чистенький, гладко выбритый старик французик, м-г Шампунь. Этот Шампунь был когда-то у Камышева гувернером, учил его детей манерам, хорошему произношению и танцам, потом же, когда дети Камышева выросли и стали поручиками, Шампунь остался чем-то вроде бонны мужского пола. Обязанности бывшего гувернера не сложны. Он должен прилично одеваться, пахнуть духами, выслушивать праздную болтовню Камышева, есть, пить, спать – и больше, кажется, ничего. За это он получает стол, комнату и неопределенное жалованье.

Камышев ест и, по обыкновению, празднословит.

– Смерть! – говорит он, вытирая слезы, выступившие после куска ветчины, густо вымазанного горчицей. – Уф! В голову и во все суставы ударило. А вот от вашей французской горчицы не будет этого, хоть всю банку съешь.

– Кто любит французскую, а кто русскую... – кротко заявляет Шампунь.

– Никто не любит французской, разве только одни французы. А французу что ни подай – всё съест: и лягушку, и крысу, и тараканов... брр! Вам, например, эта ветчина не нравится, потому что она русская, а подай вам жареное стекло и скажи, что оно французское, вы станете есть и причмокивать... По-вашему, всё русское скверно.

– Я этого не говорю.

– Всё русское скверно, а французское – о, сэ трэ жоли![64] По-вашему, лучше и страны нет, как Франция, а по-моему... ну, что такое Франция, говоря по совести? Кусочек земли! Пошли туда нашего исправника, так он через месяц же перевода запросит: повернуться негде! Вашу Францию всю в один день объездить можно, а у нас выйдешь за ворота – конца краю не видно! Едешь, едешь...

– Да, monsieur, Россия громадная страна.

– То-то вот и есть! По-вашему, лучше французов и людей нет. Ученый, умный народ. Цивилизация! Согласен, французы все ученые, манерные... это верно... Француз никогда не позволит себе невежества: вовремя даме стул подаст, раков не станет есть вилкой, не плюнет на пол, но... нет того духу! Духу того в нем нет! Я не могу только вам объяснить, но, как бы это выразиться, во французе не хватает чего-то такого, этакое... (говорящий шевелит пальцами) чего-то такого... юридического. Я, помню, читал где-то, что у вас у всех ум приобретенный, из книг, а у нас ум

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
врожденный. Если русского обучить как следует наукам, то никакой ваш профессор
не сравняется.

– Может быть... – как бы нехотя говорит Шампунь.

– Нет, не может быть, а верно! Нечего морщиться, правду говорю! Русский ум –
изобретательный ум! Только, конечно, ходу ему не дают, да и хвастать он не
умеет... Изобретет что-нибудь и ломает или же детишкам отдаст поиграть, а ваш
француз изобретет какую-нибудь чепуху и на весь свет кричит. Намедни кучер Иона
сделал из дерева человечка: дернешь этого человечка за ниточку, а он и делает
непристойность. Однако же Иона не хвастает. Вообще... не нравятся мне французы! Я
про вас не говорю, а вообще... Безнравственный народ! Наружностью словно как бы и
на людей походят, а живут как собаки... Взять хоть, например, брак. У нас коли
женился, так прилепись к жене и никаких разговоров, а у вас чёрт знает что. Муж
целый день в кафе сидит, а жена напустит полный дом французов и давай с ними
канканировать.

– Это неправда! – не выдерживает Шампунь, вспыхивая. – Во Франции семейный
принцип стоит очень высоко!

– Знаем мы этот принцип! А вам стыдно защищать. Надо беспристрастно: свиньи, так
и есть свиньи... Спасибо немцам за то, что побили...[65] Ей-богу, спасибо. Дай бог
им здоровья...

– В таком случае, monsieur, я не понимаю, – говорит француз, вскакивая и сверкая
глазами, – если вы ненавидите французов, то зачем вы меня держите?

– Куда же мне вас девать?

– Отпустите меня, и я уеду во Францию!

– Что-о-о? Да нешто вас пустят теперь во Францию? Ведь вы изменник своему
отечеству! То у вас Наполеон великий человек, то Гамбетта...[66] сам чёрт вас не
разберет!

– Monsieur, – говорит по-французски Шампунь, брызжа и комкая в руках салфетку. –
Выше оскорбления, которое вы нанесли сейчас моему чувству, не мог бы придумать и
враг мой! Всё кончено!!

И, сделав рукой трагический жест, француз манерно бросает на стол салфетку и с
достоинством выходит.

Часа через три на столе переменяется сервировка и прислуга подает обед. Камышев
садится за обед один. После предобеденной рюмки у него является жажда
празднословия. Поболтать хочется, а слушателя нет...

– Что делает Альфонс Людовикович? – спрашивает он лакея.

– Чемодан укладывают-с.

– Экая дуррында, прости господи!.. – говорит Камышев и идет к французам.

Шампунь сидит у себя на полу среди комнаты и дрожащими руками укладывает в
чемодан белье, флаконы из-под духов, молитвенники, помочи, галстуки... Вся его
приличная фигура, чемодан, кровать и стол так и дышат изяществом и
женственностью. Из его больших голубых глаз каплют в чемодан крупные слезы.

– Куда же это вы? – спрашивает Камышев, постояв немного.

Француз молчит.

– Уезжать хотите? – продолжает Камышев. – Что ж, как знаете... Не смею удерживать...
Только вот что странно: как это вы без паспорта поедете? Удивляюсь! Вы знаете, я
ведь потерял ваш паспорт. Сунул его куда-то между бумаг, он и потерялся... А у нас
насчет паспортов строго. Не успеете и пяти верст проехать, как вас сцарапают.

Шампунь поднимает голову и недоверчиво глядит на Камышева.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Да... Вот увидите! Заметят по лицу, что вы без паспорта, и сейчас: кто таков? Альфонс Шампунь! Знаем мы этих Альфонсов Шампуней! А не угодно ли вам по этапу в не столь отдаленные!

– Вы это шутите?

– С какой стати мне шутить! Очень мне нужно! Только смотрите, условие: не извольте потом хныкать и письма писать. И пальцем не пошевельну, когда вас мимо в кандалах проведут!

Шампунь вскакивает и, бледный, широкоглазый, начинает шагать по комнате.

– Что вы со мной делаете?! – говорит он, в отчаянии хватая себя за голову. – Боже мой! О, будь проклят тот час, когда мне пришла в голову пагубная мысль оставить отечество!

– Ну, ну, ну... я пошутил! – говорит Камышев, понизив тон. – Чудак какой, шуток не понимает! Слова сказать нельзя!

– Дорогой мой! – взвизгивает Шампунь, успокоенный тоном Камышева. – Клянусь вам, я привязан к России, к вам и к вашим детям... Оставить вас для меня так же тяжело, как умереть! Но каждое ваше слово режет мне сердце!

– Ах, чудак! Если я французов ругаю, так вам-то с какой стати обижаться? Мало ли кого мы ругаем, так всем и обижаться? Чудак, право! Берите пример вот с Лазаря Исакича, арендатора... Я его и так, и этак, и жидом, и пархом, и свинячье ухо из полы делаю, и за пейсы хватаю... не обижается же!

– Но то ведь раб! Из-за копейки он готов на всякую низость!

– Ну, ну, ну... будет! Пойдем обедать! Мир и согласие!

Шампунь пудрит свое заплаканное лицо и идет с Камышевым в столовую. Первое блюдо съедается молча, после второго начинается та же история, и таким образом страдания Шампуня не имеют конца.

Циник

Полдень. Управляющий «Зверинца братьев Пихнау», отставной портупей-юнкер Егор Сюсин, здоровеннейший парень с обрюзглым, испытанным лицом, в грязной сорочке и в засаленном фраке, уже пьян. Перед публикой вертится он, как чёрт перед заутреней: бегаёт, изгибается, хихикает, играет глазами и словно кокетничает своими угловатыми манерами и расстегнутыми пуговками. Когда его большая стриженная голова бывает наполнена винными парами, публика любит его. В это время он «объясняет» зверей не просто, а по новому, ему одному только принадлежащему, способу.

– Как объяснять? – спрашивает он публику, подмигивая глазом. – Просто или с психологией и тенденцией?

– С психологией и тенденцией!

– Вепе! [67] Начинаю! Африканский лев! – говорит он, покачиваясь и насмешливо глядя на льва, сидящего в углу клетки и кротко мигающего глазами. – Синоним могущества, соединенного с грацией, краса и гордость фауны! Когда-то, в дни молодости, пленял свою мощью и ревом наводил ужас на окрестности, а теперь... Хо-хо-хо... а теперь, болван этакий, сидит в клетке... Что, братец лев? Сидишь? Философствуешь? А небось, как по лесам рыскал, так – куда тебе! – думал, что сильнее и зверя нет, что и чёрт тебе не брат, – ан и вышло, что дура судьба сильнее... хоть и дура она, а сильнее... Хо-хо-хо! Ишь ведь, куда черти занесли из Африки! Чай, и не снилось, что сюда попадешь! Меня тоже, братец ты мой, ух как черти носили! Был я и в гимназии, и в канцелярии, и в землемерах, и на телеграфе, и на военной, и на макаронной фабрике... и чёрт меня знает, где я только не был! В конце концов в зверинец попал... в вонь... Хо-хо-хо!

И публика, зараженная искренним смехом пьяного Сюсина, сама гогочет.

– Чай, хочется на свободу! – мигает глазом на льва малый, пахнувший краской и покрытый разноцветными жирными пятнами.

– Куда ему! Выпусти его, так он опять в клетку придет. Примирился. Хо-хо-хо... Помирать, лев, пора, вот что! Что уж тут, брат, тово... канителить? Взял бы да издох! Ждать ведь нечего! Что глядишь? Верно говорю!

Сюсин подводит публику к следующей клетке, где мечется и бьется о решетку дикая кошка.

– Дикая кошка! Прародитель наших васек и марусек! Еще и трех месяцев нет, как поймана и посажена в клетку. Шипит, мечется, сверкает глазами, не позволяет подойти близко. День и ночь царапает решетку: выхода ищет! Миллион, полжизни, детей отдала бы теперь, чтобы только домой попасть. Хо-хо-хо... Ну, что мечешься, дура? Что снуешь? Ведь не выйдешь отсюда! Издохнешь, не выйдешь! Да еще привыкнешь, примиришься! Мало того, что привыкнешь, но еще нам, мучителям твоим, руки лизать будешь! Хо-хо-хо... Тут, брат, тот же дантовский ад: оставьте всякую надежду! [68]

Цинизм Сюсина начинает мало-помалу раздражать публику.

– Не понимаю, что тут смешного! – замечает чей-то бас.

– Скалит зубы и сам не знает, с какой радости... – говорит красильщик.

– Это обезьяна! – продолжает Сюсин, подходя к следующей клетке. – Дрянь животное! Знаю, что вот ненавидит нас, рада бы, кажется, в клочки изорвать, а улыбается, лижет руку! Холуйская натура! Хо-хо-хо... За кусочек сахару своему мучителю и в ножки поклонится и шута разыграет... Не люблю таких!.. А вот это, рекомендую, газель! – говорит Сюсин, подводя публику к клетке, где сидит маленькая, тощая газель с большими заплаканными глазами. – Эта уже готова! Не успела попасть в клетку, как уже готова развязка: в последнем градусе чахотки! Хо-хо-хо... Поглядите: глаза совсем человечьи – плачут! Оно и понятно. Молодая, красивая... жить хочется! Ей бы теперь на воле скакать да с красавцами нюхаться, а она тут на грязной соломе, где воняет псиной да конюшной. Странно: умирает, а в глазах все-таки надежда! Что значит молодость! а? Потеха с вами, с молодыми! Это ты напрасно надеешься, матушка! Так со своей надеждой и протянешь ножки. Хо-хо-хо...

– Ты, брат, тово... не донимай ее словами... – говорит красильщик, хмурясь. – Жутко!

Публика уже не смеется. Хохочет и фыркает один только Сюсин. Чем угрюмее становится публика, тем громче и резче его смех. И все почему-то начинают замечать, что он безобразен, грязен, циничен, во всех глазах появляется ненависть, злоба.

– А вот это сам журавль! – не унимается Сюсин, подходя к журавлю, стоящему около одной из клеток. – Родился в России, бывал перелетом на Ниле, где с крокодилами и тиграми разговаривал. Прошлое самое блестящее... Глядите: задумался, сосредоточен! Так занят мыслями, что ничего не замечает... Мечты, мечты! Хо-хо-хо... «Вот, думает, продолблю всем головы, вылечу в окошко и – айда в синеву, в лазурь небесную! А в синеве-то теперь вереницы журавлей в теплые края летят и крл... крл... крл...» О, глядите: перья дыбом стали! Это, значит, в самый разгар мечтаний вспомнил, что у него крылья подрезаны, и... ужас охватил его, отчаяние. Хо-хо-хо... Натура непримиримая. Вечно этак перья будут дыбом торчать, до самой дохлой смерти. Непримиримый, гордый! А нам, тре-журавле, плевать на то, что ты непримиримый! Ты гордый, непримиримый, а я вот захочу и поведу тебя при публике за нос. Хо-хо-хо...

Сюсин берет журавля за клюв и ведет его.

– Не издеваться! – слышатся голоса. – Оставить! Чёрт знает что? Где хозяин? Как это позволяют пьяному... мучить животных!

– Хо-хо-хо... Да чем же я их мучу?..

– Тем... вот этим, разными этими... шутками... Не надо!

– Да ведь вы сами просили, чтоб я с психологией!.. Хо-хо-хо...

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Публика вспоминает, что только за «психологией» и пришла она в зверинец, что она с нетерпением ждала, когда выйдет из своей каморки пьяный Сюзин и начнет объяснения, и чтобы хоть чем-нибудь мотивировать свою злобу, она начинает придирается к плохой кормежке, тесноте клеток и проч.

– Мы их кормим, – говорит Сюзин, насмешливо щуря глаза на публику. – Даже сейчас будет кормление... помилуйте!

Пожав плечами, он лезет под прилавок и достает из нагретых одеял маленького удава.

– Мы их кормим... Нельзя! Те же актеры: не корми – околеют! Господин кролик, вене иси! [69] Пожалуйте!

На сцену появляется белый, красноглазый кролик.

– Мое почтение-с! – говорит Сюзин, жестикулируя перед его мордочкой пальцами. – Честь имею представиться! Рекомендую господина удава, который желает вас скушать! Хо-хо-хо... Неприятно, брат? Морщишься? Что ж, ничего не поделаешь! Не моя тут вина! Не сегодня, так завтра... не я, так другой... всё равно. Философия, брат кролик! Сейчас вот ты жив, воздух нюхаешь, мыслишь, а через минуту ты – бесформенная масса! Пожалуйте. А жизнь, брат, так хороша! Боже, как хороша!

– Не нужно кормления! – слышатся голоса. – Довольно! Не надо!

– Обидно! – продолжает Сюзин, как бы не слыша ропота публики. – Личность, индивидуум, целая жизнь... имеет самочку, деточек и... и вдруг сейчас – гам! Пожалуйте! Как ни жаль, но что делать!

Сюзин берет кролика и со смехом ставит его против пасти удава. Но не успевает кролик окаменеть от ужаса, как его хватают десятки рук. Слышны восклицания публики по адресу общества покровительства животным. Галдят, машут руками, стучат. Сюзин со смехом убегает в свою каморку.

Публика выходит из зверинца злая. Ее тошнит, как от проглоченной мухи. Но проходит день-другой, и успокоенных завсегдатаев зверинца начинает потягивать к Сюзину, как к водке или табаку. Им опять хочется его задирательного, дерущего холодом вдоль спины цинизма.

Индийский петух
(Маленькое недоразумение)

– Чучело ты, чучело! Образина ты лысая! – говорила однажды Пелагея Петровна своему супругу, отставному коллежскому секретарю Маркелу Ивановичу Лохматову. – У всех мужья как мужья, одну только меня господь наказал сокровищем-лежебоком! У сестры Глашеньки муж и носки штопает, и кур кормит, и за провизией на рынок ходит. Прасковьи Ивановнин муж, и что это за человек! – только и ищет, чем бы жене своей угодить: то клопов из кроватей вываривает, то шубу выбивает, чтоб мошь не поела, то рыбу чистит. Один только ты у меня, нечистый тебя знает, в кого уродился! День-деньской лежишь, как анафема, на диване и только и знаешь, что водку трескаешь да про Румелию балясы точишь!..

– Что же мне делать? – робко спросил Маркел Иваныч.

– Что делать! Да мало ли делов? Куда в хозяйстве ни сунься, везде дело. Взять хоть индийского петуха. Уж неделя, как тварь не пьет, не ест... вот-вот издохнет, а тебе и горя мало, наказание ты мое! У, так и тресну по уху! А ведь петух-то какой! Гора, а не петух! За пять рублей другого такого не купишь!

– Что же мне тово... с петухом делать? Не к доктору же с ним идти!

– Зачем к доктору? Доктора не обучены птицам... Ты у людей порасспроси... Люди всё знают... А то и сам бы, дуралей, своим умом пораскинул, как и что. В аптеку бы сходил. В аптеке много лекарств!

– Пожалуй, я схожу в аптеку, – согласился Лохматов. – Пожалуй.

– И сходи! Дайте, скажи, мне на десять копеек крепительного!

Маркел Иванович лениво поднялся с дивана, вздохнул и стал натягивать на себя панталоны (когда он сидит дома, Пелагея Петровна из экономии держит его в одном нижнем). Он был выпивши, в голове его от одного виска к другому перекачивалась тяжелая, свинцовая пуля, но мысль, что он идет сейчас делать дело, подбодрила его. Одевшись, он взял трость и степенно зашагал к аптеке.

– Вам что угодно? – спросил его в аптеке толстый лысый провизор с большими, пушистыми бакенами.

– Мне чего-нибудь этакого... – начал робко Маркел Иванович, почтительно глядя на пушистые бакены. – У меня, собственно говоря, нет рецепта, и я сам не знаю, что мне нужно, может быть, вы мне посоветуете что-нибудь.

– Да, а что случилось?

– Дело в том, что уж неделя, как не пьет, не ест. Всё время, знаете ли, слабит. Скучный такой, унылый, словно потерял что-нибудь или совесть нечиста.

Провизор приподнял углы губ, прищурился и обратился в слух. Фармацевты вообще любят, когда к ним обращаются за медицинскими советами.

– А... гм... – промычал он. – Жар есть?

– Этого я вам не могу сказать, не знаю... Уж вы будьте такие добрые, дайте чего-нибудь. Верите ли? Смотреть жалко! Был здоров, ходил по двору, а теперь на тебе! – ни с того ни с сего нахмурился, наершился и из сарая не выходит.

– В сарае нельзя... Теперь холодно.

– Хорошо, мы его в кухню возьмем... А жалко будет, ежели тово... околеет. Без него индейки жить не могут.

– Какие индейки? – вытаращил глаза провизор.

– Обыкновенные... с перьями.

– Да вы про кого говорите?

– Про индейского петуха.

На лице провизора изобразилось «тьфу!». Углы губ опустились, и по строгому лицу пробежала тучка.

– Я... не понимаю, – обиделся провизор.

– Не понимаете, какой это индейский петух? – в свою очередь не понял Лохматов. – Есть обыкновенные петухи, что с курами ходят, а то индейский... большой такой, знаете ли, с хоботом на носу... и еще так посвистишь ему, а он растопырит крылья, нахохлится и – блы-блы-блы...

– Мы индюков не лечим... – пробормотал провизор, обидчиво отводя глаза в сторону.

– Да их и лечить не нужно... Дать какого-нибудь пустяка и больше ничего... Ведь это не человек, а птица... и от пустяка поможет.

– Извините, мне некогда.

– Я знаю, что вам некогда, но сделайте такое одолжение! Что вам стоит дать чего-нибудь? Чего хотите, то и дайте, я не стану разговаривать. Будьте столь достолюбезны!

Просительный тон Маркела Ивановича тронул провизора. Он опять нахмурился, поднял углы губ и задумался.

– Вы говорите, что не пьет, не ест... что его слабит?

– Да-с... Крепительного чего-нибудь.

– Погодите, я сейчас.

Провизор отошел к шкафчику, достал оттуда какую-то книгу и погрузился в чтение. Лицо его приняло сократовское выражение и на лбу собралось так много морщин, что Маркел Иванович, глядя на него, побоялся, как бы от напряжения кожи не порвалась провизорская лысина.

– Я вам порошок дам, – сказал провизор, кончив чтение.

– Покорнейше вас благодарю. Только, извините за выражение, как я ему этот порошок дам? Ведь он не клюет! Ежели бы он понимал свою пользу, а то ведь птица глупая, нерассудительная. Положишь перед ним порошок, а он и без внимания.

– В таком случае я вам капель дам.

– Ну, капли другое дело. Капли насильно влить можно.

Провизор повернул голову в сторону и прокричал что-то по-немецки.

– Ja! [70] – откликнулся маленький черненький фармацевт.

Лохматов направился туда, где возился этот фармацевт, облокотился о стойку и стал ждать.

«Как он, собака, всё это ловко! – думал он, следя за движениями пальцев фармацевта, делившего какой-то порошок на доли. – И на всё ведь это нужна наука!»

Покончив с порошками, фармацевт взял флакон, наболтал в него коричневой жидкости, завернул в бумагу и подошел к Лохматову.

– Вам на десять копеек капель? – спросил он.

– Индейскому петуху.

– Что? – вытаращил глаза фармацевт.

– Индейскому петуху.

– С вами говорят по-человечески, – вспыхнул фармацевт, – вы и должны отвечать по-человечески.

– Как же вам еще отвечать? Говорю, что индейскому петуху, так, значит, и индейскому петуху. Не орлу же!

– Я это могу на свой счет принять! – нахохлился аптекарь.

– Зачем же на свой счет принять? Я сам заплачу.

– Но мне некогда с вами шутить!

Фармацевт отложил в сторону флакон с каплями, отошел в сторону и, сердито фыркая, стал что-то тереть в ступке.

Маркел Иванович подождал еще немного, потом пожал плечами, вздохнул и вышел из аптеки. Придя домой, он снял сюртук, панталоны и жилет, почесался, покряхтел и лег на диван.

– Ну, что? был в аптеке? – набросилась на него Пелагея Петровна.

– Был... ну их к чёрту!

– Где же лекарство?

– Не дают! – махнул рукой Маркел Иванович и укрылся ватным одеялом.

– Уу... так и дам по уху!

Средство от запоя

В город Д., в отдельном купе первого класса, прибыл на гастроль известный чтец и комик Г. Фениксов-Дикобразов 2-й. Все встречавшие его на вокзале знали, что билет первого класса был куплен «для форса» лишь на предпоследней станции, а до тех пор знаменитость ехала в третьем; все видели, что, несмотря на холодное, осеннее время, на знаменитости были только летняя крылатка да ветхая котиковая шапочка, но, тем не менее, когда из вагона показалась сивая, заспанная физиономия Дикобразова 2-го, все почувствовали некоторый трепет и жажду познакомиться. Антрепренер Почечуев, по русскому обычаю, троекратно облобызал приезжего и повез его к себе на квартиру.

Знаменитость должна была начать играть дня через два после приезда, но судьба решила иначе; за день до спектакля в кассу театра вбежал бледный, взъерошенный антрепренер и сообщил, что Дикобразов 2-й играть не может.

– Не может! – объявил Почечуев, хватая себя за волосы. – Как вам это покажется? Месяц, целый месяц печатали аршинными буквами, что у нас будет Дикобразов, хвастали, ломались, забрали абонементные деньги, и вдруг этакая подлость! А? да за это повесить мало!

– Но в чем дело? Что случилось?

– Запил, проклятый!

– Экая важность! Проспится.

– Скорей издохнет, чем проспится! Я его еще с Москвы знаю: как начнет водку лопать, так потом месяца два без просыпа. Запой! Это запой! Нет, счастье мое такое! И за что я такой несчастный! И в кого я, окаянный, таким несчастным уродился! За что... за что над моей головой всю жизнь висит проклятие неба? (Почечуев трагик и по профессии и по натуре: сильные выражения, сопровождаемые биением по груди кулаками, ему очень к лицу.) И как я гнусен, подл и презренен, рабски подставляя голову под удары судьбы! Не достойнее ли раз навсегда покончить с постыдной ролью Макара, на которого все шишки валяются, и пустить себе пулю в лоб? Чего же жду я? Боже, чего я жду?

Почечуев закрыл ладонями лицо и отвернулся к окну. В кассе, кроме кассира, присутствовало много актеров и театралов, а потому дело не стало за советами, утешениями и обнадеживаниями; но всё это имело характер философский или пророческий; дальше «суеты сует», «наплюйте» и «авось» никто не пошел. Один только кассир, толстенький, водяночный человек, отнесся к делу посущественней.

– А вы, Прокл Львович, – сказал он, – попробуйте полечить его.

– Запой никаким чёртом не вылечишь!

– Не говорите-с. Наш парикмахер превосходно от запоя лечит. У него весь город лечится.

Почечуев обрадовался возможности ухватиться хоть за соломинку, и через какие-нибудь пять минут перед ним уже стоял театральный парикмахер Федор Гребешков. Представьте вы себе высокую, костистую фигуру со впальми глазами, длинной жидкой бородой и коричневыми руками, прибавьте к этому поразительное сходство со скелетом, которого заставили двигаться на винтах и пружинах, оденьте фигуру в донельзя поношенную черную пару, и у вас получится портрет Гребешкова.

– Здорово, Федя! – обратился к нему Почечуев. – Я слышал, дружок, что ты того... лечишь от запоя. Сделай милость, не в службу, а в дружбу, полечи ты Дикобразова! Ведь, знаешь, запил!

– Бог с ним, – пробасил уныло Гребешков. – Актеров, которые попроще, купцов и чиновников я, действительно, пользую, а тут ведь знаменитость, на всю Россию!

– Ну, так что ж?

– Чтоб запой из него выгнать, надо во всех органах и суставах тела переворот произвести. Я произведу в нем переворот, а он выздоровеет и в амбицию... «Как ты

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
смел, – скажет, – собака, до моего лица касаться?» Знаем мы этих знаменитых!

– Ни-ни... не отвливай, братец! Назвался груздем – полезай в кузов! Надевай шапку, пойдем!

Когда через четверть часа Гребешков входил в комнату Дикобразова, знаменитость лежала у себя на кровати и со злобой глядела на висячую лампу. Лампа висела спокойно, но Дикобразов 2-й не отрывал от нее глаз и бормотал:

– Ты у меня повертись! Я тебе, анафема, покажу, как вертеться! Разбил графин, и тебя разобью, вот увидишь! А-а-а... и потолок вертится... Понимаю: заговор! Но лампа, лампа! Меньше всех, подлая, но больше всех вертится! Постой же...

Комик поднялся и, потянув за собой простыню, сваливая со столика стаканы и покачиваясь, направился к лампе, но на полпути наткнулся на что-то высокое, костистое...

– Что такое!? – заревел он, поводя блуждающими глазами. – Кто ты? Откуда ты? А?

– А вот я тебе покажу, кто я... Пошел на кровать!

И не дожидаясь, когда комик пойдет к кровати, Гребешков размахнулся и трахнул его кулаком по затылку с такой силой, что тот кубарем полетел на постель. Комика, вероятно, раньше никогда не били, потому что он, несмотря на сильную хмель, поглядел на Гребешкова с удивлением и даже с любопытством.

– Ты... ты ударил? По... постой, ты ударил?

– Ударил. Нешто еще хочешь?

И парикмахер ударил Дикобразова еще раз, по зубам. Не знаю, что тут подействовало, сильные ли удары, или новизна ощущения, но только глаза комика перестали блуждать и в них замелькало что-то разумное. Он вскочил и не столько со злобой, сколько с любопытством стал рассматривать бледное лицо и грязный сюртук Гребешкова.

– Ты... ты дерешься? – забормотал он. – Ты.. ты смеешь?

– Молчать!

И опять удар по лицу. Ошалевший комик стал было защищаться, но одна рука Гребешкова сдавила ему грудь, другая заходила по физиономии.

– Легче! Легче! – слышался из другой комнаты голос Почечуева. – Легче, Феденька!

– Ничего-с, Прокл Львович! Сами же потом благодарить станут!

– Все-таки ты полегче! – проговорил плачущим голосом Почечуев, заглядывая в комнату комика. – Тебе-то ничего, а меня мороз по коже дерет. Ты подумай: среди бела дня бьют человека правоспособного, интеллигентного, известного, да еще на собственной квартире... Ах!

– Я, Прокл Львович, бью не их, а беса, что в них сидит. Уходите, сделайте милость, и не беспокойтесь. Лежи, дьявол! – набросился Федор на комика. – Не двигайся! Что-о-о?

Дикобразовым овладел ужас. Ему стало казаться, что всё то, что раньше кружилось и было им разбиваемо, теперь сговорилось и единодушно полетело на его голову.

– Караул! – закричал он. – Спасите! Караул!

– Кричи, кричи, леший! Это еще цветки, а вот погоди, ягодки будут! Теперь слушай: ежели ты скажешь еще хоть одно слово или пошевельнешься, убью! Убью и не пожалею! Заступиться, брат, некому! Не придет никто, хоть из пушки пали. А ежели смиришься и замолчишь, водочки дам. Вот она, водка-то!

Гребешков вытащил из кармана полуштоф водки и блеснул им перед глазами комика.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Пьяный, при виде предмета своей страсти, забыл про побои и даже заржал от удовольствия. Гребешков вынул из жилетного кармана кусочек грязного мыла и сунул его в полуштоф. Когда водка вспенилась и замутилась, он принялся всыпать в нее всякую дрянь. В полуштоф посыпались селитра, нашатырь, квасцы, глауберова соль, сера, канифоль и другие «специи», продаваемые в москательных лавочках. Комик пялил глаза на Гребешкова и страстно следил за движениями полуштофа. В заключение парикмахер сжег кусок тряпки, высыпал пепел в водку, поболтал и подошел к кровати.

– Пей! – сказал он, наливая пол-чайного стакана. – Разом!

Комик с наслаждением выпил, крякнул, но тотчас же вытаращил глаза. Лицо у него вдруг побледнело, на лбу выступил пот.

– Еще пей! – предложил Гребешков.

– Не... не хочу! По... постой...

– Пей, чтоб тебя!.. Пей! Убью!

Дикобразов выпил и, застонав, повалился на подушку. Через минуту он приподнялся, и Федор мог убедиться, что его специя действует.

– Пей еще! Пуцай у тебя все внутренности выворотит, это хорошо. Пей!

И для комика наступило время мучений. Внутренности его буквально переворачивало. Он вскакивал, метался на постели и с ужасом следил за медленными движениями своего беспощадного и неугомонного врага, который не отставал от него ни на минуту и неутомимо колотил его, когда он отказывался от специи. Побои сменялись специей, специя побоями. Никогда в другое время бедное тело фениксова-дикобразова 2-го не переживало таких оскорблений и унижений, и никогда знаменитость не была так слаба и беззащитна, как теперь. Сначала комик кричал и бранился, потом стал умолять, наконец, убедившись, что протесты ведут к побоям, стал плакать. Почечуев, стоявший за дверью и подслушивавший, в конце концов не выдержал и вбежал в комнату комика.

– А ну тебя к чёрту! – сказал он, махая руками. – Пусть лучше пропадают абонементные деньги, пусть он водку пьет, только не мучь ты его, сделай милость! Околеет ведь, ну тебя к чёрту! Погляди: совсем ведь околел! Знал бы, ей-богу не связывался...

– Ничего-с... Сами еще благодарить будут, увидите-с... Ну, ты что еще там? – повернулся Гребешков к комику. – Влетит!

До самого вечера провозился он с комиком. И сам умаялся, и его заездил. Кончилось тем, что комик страшно ослабел, потерял способность даже стонать и окаменел с выражением ужаса на лице. За окаменением наступило что-то похожее на сон.

На другой день комик, к великому удивлению Почечуева, проснулся, – стало быть, не умер. Проснувшись, он тупо огляделся, обвел комнату блуждающим взглядом и стал припоминать.

– Отчего это у меня всё болит? – недоумевал он. – Точно по мне поезд прошел. Нешто водки выпить? Эй, кто там? Водки!

В это время за дверью стояли Почечуев и Гребешков.

– Водки просит, стало быть, не выздоровел! – ужаснулся Почечуев.

– Что вы, батюшка, Прокл Львович? – удивился парикмахер. – Да нешто в один день вылечишь? Дай бог, чтобы в неделю поправился, а не то что в день. Иного слабенького и в пять дней вылечишь, а это ведь по комплекции тот же купец. Не скоро его проймешь.

– Что же ты мне раньше не сказал этого, анафема? – застонал Почечуев. – И в кого я несчастным таким уродился! И чего я, окаянный, жду еще от судьбы? Не разумнее ли кончить разом, всадив себе пулю в лоб, и т. д.

Как ни мрачно глядел на свою судьбу Почечуев, однако через неделю дикобразов 2-й уже играл и абонементных денег не пришлось возвращать. Гримировал комика Гребешков, причем так почтительно касался к его голове, что вы не узнали бы в нем прежнего заушателя.

– Живуч человек! – удивлялся Почечуев. – Я чуть не помер, на его муки гляючи, а он как ни в чем не бывало, даже еще благодарит этого чёрта Федьку, в Москву с собой хочет взять! Чудеса, да и только!

Сонная одурь

В зале окружного суда идет заседание. На скамье подсудимых господин средних лет, с испитым лицом, обвиняемый в растрате и подлогах. Тощий, узкогрудый секретарь читает тихим тенорком обвинительный акт. Он не признает ни точек, ни запятых, и его монотонное чтение похоже на жужжание пчел или журчанье ручейка. Под такое чтение хорошо мечтать, вспоминать, спать... Судьи, присяжные и публика нахохлились от скуки... Тишина. Изредка только донесутся чьи-нибудь мерные шаги из судейского коридора или осторожно кашляет в кулак зевавший присяжный...

Защитник подпер свою кудрявую голову кулаком и тихо дремлет. Под влиянием жужжания секретаря мысли его потеряли всякий порядок и бродят.

«Какой, однако, длинный нос у этого судебного пристава, – думает он, моргая отяжелевшими веками. – Нужно же было природе так изгадить умное лицо! Если бы у людей были носы подлиннее, этак сажени две-три, то, пожалуй, было бы тесно жить и пришлось бы делать дома попросторнее...»

Защитник встряхивает головой, как лошадь, которую укусила муха, и продолжает думать:

«Что-то теперь у меня дома делается? В эту пору обыкновенно все бывает дома: и жена, и теща, и дети... Детишки Колька и Зинка, наверное, теперь в моем кабинете... Колька стоит на кресле, уперся грудью о край стола и рисует что-нибудь на моих бумагах. Нарисовал уже лошадь с острой мордой и с точкой вместо глаза, человека с протянутой рукой, кривой домик; а Зина стоит тут же, около стола, вытягивает шею и старается увидеть, что нарисовал ее брат... „Нарисуй папу!“ – просит она. Колька принимается за меня. Человечек у него уже есть, остается только пририсовать черную бороду – и папа готов. Потом Колька начинает искать в Своде законов картинок, а Зина хозяйничает на столе. Попалась на глаза сонетка – звонят; видят чернильницу – нужно палец обмакнуть; если ящик в столе не заперт, то это значит, что нужно порываться в нем. В конце концов обоим осеняет мысль, что оба они индейцы и что под моим столом они могут отлично прятаться от врагов. Оба лезут под стол, кричат, визжат и возятся там до тех пор, пока со стола не падает лампа или вазочка... Ох! А в гостиной теперь, наверное, солидно прогуливается мамка с третьим произведением... Произведение ревет, ревет... без конца ревет!»

– По текущим счетам Копелова, – жужжит секретарь, – Ачкасова, Зимаковского и Чикиной проценты выданы не были, сумма же 1 425 рублей 41 копейка была приписана к остатку 1883 года...

«А может быть, у нас уже обедают! – плывут мысли у защитника. – За столом сидят теща, жена Надя, брат жены Вася, дети... У тещи по обыкновению на лице тупая озабоченность и выражение достоинства. Надя, худая, уже блекнувшая, но всё еще с идеально белой, прозрачной кожицей на лице, сидит за столом с таким выражением, будто ее заставили насильно сидеть; она ничего не ест и делает вид, что больна. По лицу у нее, как у тещи, разлита озабоченность. Еще бы! У нее на руках дети, кухня, белье мужа, гости, моль в шубах, прием гостей, игра на пианино! Как много обязанностей и как мало работы! Надя и ее мать не делают решительно ничего. Если от скуки польют цветы или побранятся с кухаркой, то потом два дня стонут от утомления и говорят о каторге... Брат жены, Вася, тихо жует и угрюмо молчит, так как получил сегодня по латинскому языку единицу. Малый тихий, услужливый, признательный, но изнашивает такую массу сапог, брюк и книг, что просто беда... Детишки, конечно, капризничают. Требуют уксусу и перцу, жалуются друг на друга, то и дело роняют ложки. Даже при воспоминании голова кружится! Жена и теща зорко блюдут хороший тон... Храни бог положить локоть на стол, взять нож во весь кулак, или есть с ножа, или, подавая кушанье, подойти справа, а не слева. Все кушанья, даже ветчина с горошком, пахнут пудрой и монпансье. Всё невкусно, приторно, мизерно... Нет и тени добрых щей и каши, которые я ел, когда был холостяком. Теща

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru и жена всё время говорят по-французски, но когда речь заходит обо мне, то теща начинает говорить по-русски, ибо такой бесчувственный, бессердечный, бесстыдный, грубый человек, как я, недостойн, чтобы о нем говорили на нежном французском языке... „Бедный Мишель, вероятно, проголодался, – говорит жена. – Выпил утром стакан чаю без хлеба, так и побежал в суд...“ – „Не беспокойся, матушка! – злорадствует теща. – Такой не проголодается! Небось, уж пять раз в буфет бегал. Устроили себе в суде буфет и каждые пять минут просят у председателя, нельзя ли перерыв сделать“. После обеда теща и жена толкуют о сокращении расходов... Считают, записывают и находят в конце концов, что расходы безобразно велики. Приглашается кухарка, начинают считать с ней вместе, попрекают ее, поднимается брань из-за пятака... Слезы, ядовитые слова... Потом уборка комнат, перестановка мебели – и всё от нечего делать».

– Коллежский ассессор Черепков показал, – жужжит секретарь, – что хотя ему и была прислана квитанция № 811, но, тем не менее, следуемые ему 46 р. 2 к. он не получал, о чем и заявил тогда же...

«Как подумаешь, да рассудишь, да взвесишь все обстоятельства, – продолжает думать защитник, – и, право, махнешь на всё рукой и всё пошлешь к чёрту... Как истомиться, ошалеть, угоришь за весь день в этом чаду скуки и пошлости, то поневоле захочешь дать своей душе хоть одну светлую минуту отдыха. Заберешься к Наташе или, когда, деньги есть, к цыганам – и всё забудешь... честное слово, всё забудешь! Чёрт его знает где, далеко за городом, в отдельном кабинете, развалишься на софе, азиаты поют, скачут, галдят, и чувствуешь, как всю душу твою переворачивает голос этой обаятельной, этой страшной, бешеной цыганки Глаши... Глаша! Милая, славная, чудесная Глаша! Что за зубы, глаза... спина!»

А секретарь жужжит, жужжит, жужжит... В глазах защитника начинает всё сливаться и прыгать. Судьи и присяжные уходят в самих себя, публика рябит, потолок то опускается, то поднимается... Мысли тоже прыгают и наконец обрываются... Надя, теща, длинный нос судебного пристава, подсудимый, Глаша – всё это прыгает, вертится и уходит далеко, далеко, далеко...

«Хорошо... – тихо шепчет защитник, засыпая. – Хорошо... Лежишь на софе, а кругом уютно... тепло... Глаша поет...»

– Господин защитник! – раздаётся резкий оклик. «Хорошо... тепло... Нет ни тещи, ни кормилицы... ни супа, от которого пахнет пудрой... Глаша добрая, хорошая...»

– Господин защитник! – раздаётся тот же резкий голос.

Защитник вздрагивает и открывает глаза. Прямо, в упор, на него глядят черные глаза цыганки Глаши, улыбаются сочные губы, сияет смуглое, красивое лицо. Ошеломленный, еще не совсем проснувшийся, полагая, что это сон или привидение, он медленно поднимается и, разинув рот, смотрит на цыганку.

– Господин защитник, не желаете ли спросить что-нибудь у свидетельницы? – спрашивает председатель.

– Ах... да! Это свидетельница... Нет, не... не желаю. Ничего не имею.

Защитник встряхивает головой и окончательно просыпается. Теперь ему понятно, что это в самом деле стоит цыганка Глаша, что она вызвана сюда в качестве свидетельницы.

– Впрочем, виноват, я имею кое-что спросить, – говорит он громко. – Свидетельница, – обращается он к Глаше, – вы служите в цыганском хоре Кузьмичова, скажите, как часто в вашем ресторане кутил обвиняемый? Так-с... А не помните ли, сам ли он за себя платил всякий раз, или же случалось, что и другие платили за него? Благодарю вас... достаточно.

Он выпивает два стакана воды, и сонная одурь проходит совсем...

Домашние средства
Чтобы масло не прогоркло, съешь его поскорей.

От клопов. Поймай клопа и объясни ему, что растительная пища по количеству содержащихся в ней азотистых веществ и жиров нисколько не уступает животной, и

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru дружески посоветуй ему изменить режим. Если же и последние выводы науки на него не подействуют, то тебе остается только поднять вверх палец и воскликнуть: «Косней же в злодействах, кровопийца!» и отпустить негодяя. Рано или поздно добро восторжествует над злом.

От прусаков. Известно, что прусаки завезены к нам из Германии, а потому вполне законно и основательно ходатайствовать о высылке их административным порядком на место родины.

От блох. Женись. Все твои блохи перейдут на жену, так как известно, что блохи охотнее кушают дам, чем мужчин. Последнее зависит не столько от качеств той или другой крови, сколько от приспособленности женских костюмов к удобнейшему расквартированию насекомых: просторно и вместе с тем уютно.

От моли. Посади себе в шубу десятка по два тарантулов и скорпионов, отдав каждому из них по отдельному участку.

От ячменя на глазу. Покажи больному кукиш. Если же субъект, украшенный ячменем, старше тебя чином, то покажи ему кукиш в кармане.

От безденежья. Возьми Ротшильда, барона Гинцбурга и Полякова[71], посади их играть с тобой в стуколку и валяй в крупную. Чем крупнее ставка, тем лучше. Если ты проиграл, то не отдавай, так как у твоих партнеров и без того много денег, если же выиграл, то твое счастье.

От начальнического гнева. Возьми начальника, поведи в баню и подставь его голову под холодный душ. Ежели это не поможет, то обними начальника, поцелуй его, прослезись и скажи: «Забудем всё, что между нами было!» Если же и это не поможет, то похлопай начальника по животу и скажи: «Эх, дядя, дядя! Нам ли с тобой ссориться!» и проч.

От супружеской неверности. Возьми неверного супруга и повесь на его лбу вывеску: «Посторонним лицам строжайше воспрещается и проч. ...»

От сырости в доме. Посыпай стены детской присыпкой или оклей их газетной сушью...

Дорогая собака

Поручик Дубов, уже не молодой армейский служака, и вольноопределяющийся Кнапс сидели и выпивали.

– Великолепный пес! – говорил Дубов, показывая Кнапсу свою собаку Милку. – Заме-ча-тельная собака! Вы обратите внимание на морду! Морда одна чего стоит! Ежели на любителя наскочить, так за одну морду двести рублей дадут! Не верите? В таком случае вы ничего не понимаете...

– Я понимаю, но...

– Ведь сеттер, чистокровный английский сеттер! Стойка поразительная, а чутье... нюх! Боже, какой нюх! Знаете, сколько я дал за Милку, когда она была еще щенком? Сто рублей! Дивная собака! Ше-ельма, Милка! Ду-ура, Милка! Поди сюда, поди сюда... собачечка, песик мой...

Дубов привлек к себе Милку и поцеловал ее между ушей. На глазах у него выступили слезы.

– Никому тебя не отдам... красавица моя... разбойник этакий. Ведь ты любишь меня, Милка? Любишь?.. Ну, пошла вон! – крикнул вдруг поручик. – Грязными лапами прямо на мундир лезешь! Да, Кнапс, полтора рубля дал, за щенка! Стало быть, было за что! Одно только жаль: охотиться мне некогда! Гибнет без дела собака, талант свой зарывает... Потому-то и продаю. Купите, Кнапс! Всю жизнь будете благодарны! Ну, если у вас денег мало, то извольте, я уступлю вам половину... Берите за пятьдесят! Грабьте!

– Нет, голубчик... – вздохнул Кнапс. – Будь ваша Милка мужского пола, то, может быть, я и купил бы, а то...

– Милка не мужского пола? – изумился поручик. – Кнапс, что с вами? Милка не мужского... пола?! Ха-ха! Так что же она по-вашему? Сука? Ха-ха... Хорош мальчик!

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Он еще не умеет отличить кобеля от суки!

– Вы мне говорите, словно я слеп или ребенок... – обиделся Кнапс. – Конечно, сука!

– Пожалуй, вы еще скажете, что я дама! Ах, Кнапс, Кнапс! А еще тоже в техническом кончили! Нет, душа моя, это настоящий, чистокровный кобель! Мало того, любому кобелю десять очков вперед даст, а вы... не мужского пола! Ха-ха...

– Простите, Михаил Иванович, но вы... просто за дурака меня считаете... Обидно даже...

– Ну, не нужно, чёрт с вами... Не покупайте... Вам не втолкуешь! Вы скоро скажете, что у нее это не хвост, а нога... Не нужно. Вам же хотел одолжение сделать. Вахрамеев, коньяку!

Денщик подал еще коньяку. Приятели налили себе по стакану и задумались. Прошло полчаса в молчании.

– А хоть бы и женского пола... – прервал молчание поручик, угрюмо глядя на бутылку. – Удивительное дело! Для вас же лучше. Принесет вам щенят, а что ни щенок, то и четвертная... Всякий у вас охотно купит. Не знаю, почему это вам так нравятся кобели! Суки в тысячу раз лучше. Женский пол и признательнее и привязчивее... Ну, уж если вы так боитесь женского пола, то извольте, берите за двадцать пять.

– Нет, голубчик... Ни копейки не дам. Во-первых, собака мне не нужна, а во-вторых, денег нет.

– Так бы и сказали раньше. Милка, пошла отсюда!

Денщик подал яичницу. Приятели принялись за нее и молча очистили сковороду.

– Хороший вы малый, Кнапс, честный.. – сказал поручик, вытирая губы. – Жалко мне вас так отпускать, чёрт подери... Знаете что? Берите собаку даром!

– Куда же я ее, голубчик, возьму? – сказал Кнапс и вздохнул. – И кто у меня с ней возиться будет?

– Ну, не нужно, не нужно... чёрт с вами! Не хотите, и не нужно... Куда же вы? Сидите!

Кнапс, потягиваясь, встал и взялся за шапку.

– Пора, прощайте... – сказал он, зевая.

– Так постоит же, я вас провожу.

Дубов и Кнапс оделись и вышли на улицу. Первые сто шагов прошли молча.

– Вы не знаете, кому бы это отдать собаку? – начал поручик. – Нет ли у вас таких знакомых? Собака, вы видели, хорошая, породистая, но... мне решительно не нужна!

– Не знаю, милый... Какие же у меня тут знакомые?

До самой квартиры Кнапса приятели не сказали больше ни одного слова. Только когда Кнапс пожал поручику руку и отворил свою калитку, Дубов кашлянул и как-то нерешительно выговорил:

– Вы не знаете, здешние живодеры собак принимают или нет?

– Должно быть, принимают... Наверное не могу сказать.

– Пошлю завтра с Вахрамеевым... Чёрт с ней, пусть с нее кожу сдерут... Мерзкая собака! Отвратительная! Мало того, что нечистоту в комнатах завела, но еще в кухне вчера всё мясо сожрала, п-п-подлая... Добро бы, порода хорошая, а то чёрт знает что, помесь дворняжки со свиньей. Спокойной ночи!

– Прощайте! – сказал Кнапс.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Калитка хлопнула в поручик остался один.

Контрабас и флейта
(Сценка)

В одну из репетиций флейтист Иван Матвеич слонялся между пюпитров, вздыхал и жаловался:

– Просто несчастье! Никак не найду себе подходящей квартиры! В номерах мне жить нельзя, потому что дорого, в семействах же и частных квартирах не пускают музыкантов.

– Перебирайтесь ко мне! – неожиданно предложил ему контрабас. – Я плачу за комнату двенадцать рублей, а если вместе жить будем, то по шести придется.

Иван Матвеич ухватился за это предложение обеими руками. Совместно он никогда ни с кем не жил, опыта на этот счет не имел, но рассудил *a priori*, что совместное житье имеет очень много прелестей и удобств: во-первых, есть с кем слово вымолвить и впечатлениями поделиться, во-вторых, всё пополам: чай, сахар, плата прислуге. С контрабасистом Петром Петровичем он был в самых приятельских отношениях, знал его за человека скромного, трезвого и честного, сам он был тоже не буен, трезв и честен – стало быть, пятак пара. Приятели ударили по рукам, и в тот же день кровать флейты уже стояла рядом с кроватью контрабаса.

Но не прошло и трех дней, как Иван Матвеич должен был убедиться, что для совместного житья недостаточно одних только приятельских отношений и таких «общих мест», как трезвость, честность и не буйный характер.

Иван Матвеич и Петр Петрович с внешней стороны так же похожи друг на друга, как инструменты, на которых они играют. Петр Петрович – высокий, длинноногий блондин с большой стриженной головой, в неуклюжем, короткохвостом фраке. Говорит он глухим басом; когда ходит, то стучит; чихает и кашляет так громко, что дрожат стекла. Иван же Матвеич изображает из себя маленького, тощенького человечка. Ходит он только на цыпочках, говорит жидким тенорком и во всех своих поступках старается показать человека деликатного, воспитанного. Приятели сильно расходятся и в своих привычках. Так, контрабас пил чай вприкуску, а флейта внакладку, что при общественном владении чая и сахара не могло не породить сомнений. Флейта спала с огнем, контрабас без огня. Первая каждое утро чистила себе зубы и мылась душистым глицериновым мылом, второй же не только отрицал то и другое, но даже морщился, когда слышал шуршанье зубной щетки или видел намыленную физиономию.

– Да бросьте вы эту мантифолию! – говорил он. – Противно глядеть! Возится, как баба!

Нежную, воспитанную флейту стало коробить на первых же порах. Ей особенно не понравилось, что контрабас каждый вечер, ложась спать, мазал себе живот какою-то мазью, от которой пахло до самого утра протухлым жареным гусем, а после мази целых полчаса, пыхтя и сопя, занимался гимнастикой, т. е. методически задирает вверх то руки, то ноги.

– Для чего это вы делаете? – спрашивала флейта, не вынося сопенья.

– После мази это необходимо. Нужно, чтоб мазь по всему телу разошлась... Это, батенька, ве-ли-ко-лепная вещь! Никакая простуда не пристанет. Помажьте-ка себе!

– Нет, благодарю вас.

– Да помажьте! Накажи меня бог, помажьте! Увидите, как это хорошо! Бросьте книгу!

– Нет, я привык всегда перед сном читать.

– А что вы читаете?

– Тургенева.

– Знаю... читал... Хорошо пишет! Очень хорошо! Только, знаете ли, не нравится мне в

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru нем это... как его... не нравится, что он много иностранных слов употребляет. И потом, как запустится насчет природы, как запустится, так взял бы и бросил! Солнце... луна... птички поют... чёрт знает что! Тянет, тянет...

– Великолепные у него есть места!..

– Еще бы, Тургенев ведь! Мы с вами так не напишем. Читал я, помню, «Дворянское гнездо»... Смеху этого – страсть! Помните, например, то место, где Лаврецкий объясняется в любви с этой... как ее?... с Лизой... В саду... помните? Хо-хо! Он заходит около нее и так и этак... со всякими подходцами, а она, шельма, жеманится, кочевряжится, канителит... убить мало!

Флейта вскакивала с постели и, сверкая глазами, надсаживая свой тенорок, начинала спорить, доказывать, объяснять...

– Да что вы мне говорите? – оппонировал контрабас. – Сам я не знаю, что ли? Какой образованный нашелся! Тургенев, Тургенев... Да что Тургенев? Хоть бы и вовсе его не было.

И Иван Матвейч, обессиленный, но не побежденный, умолкал. Стараясь не спорить, стиснув зубы, он глядел на своего укрывающегося одеялом сожителя, и в это время большая голова контрабаса казалась ему такой противной, глупой деревяшкой, что он дорого бы дал, если бы ему позволили стукнуть по ней хоть разик.

– Вечно вы спор поднимаете! – говорил контрабас, укладывая свое длинное тело на короткой кровати. – Ха-рак-тер! Ну, спокойной ночи. Тушите лампу!

– Мне еще читать хочется...

– Вам читать, а мне спать хочется.

– Но, я полагаю, не следует стеснять свободу друг друга...

– Так вот и не стесняйте мою свободу... Тушите!

Флейта тушила лампу и долго не могла уснуть от ненависти и сознания бессилия, которое чувствует всякий, сталкиваясь с упрямством невежды. Иван Матвейч после споров с контрабасом всякий раз дрожал, как в лихорадке. Утром контрабас просыпался обыкновенно рано, часов в шесть, флейта же любила спать до одиннадцати. Петр Петрович, проснувшись, принимался от нечего делать за починку футляра от своего контрабаса.

– Вы не знаете, где наш молоток? – будил он флейту. – Послушайте, вы! Соня! Не знаете, где наш молоток?

– Ах... Я спать хочу!

– Ну и спите... Кто вам мешает? Дайте молоток и спите.

Но особенно солоно приходились флейте субботы. Каждую субботу контрабас завивался, надевал галстух бантом и уходил куда-то глядеть богатых невест. Возвращался он от невест поздно ночью, веселый, возбужденный, в подпитии.

– Вот, батенька, я вам скажу! – начинал он делиться впечатлениями, грузно садясь на кровать спящей флейты. – Да будет вам спать, успеете! Экий вы соня! Хо-хо-хо... Видал невесту... Понимаете, блондинка, с такими глазами... толстенная... Ничего себе, канашка. Но мать, мать! Жох старуха! Дипломатия! Без адвоката окрутит, коли захочет! Обещает шесть тысяч, а и трех не даст, ей-богу! Но меня не надуешь, не-ет!

– Голубчик... спать хочу... – бормотала флейта, пряча голову под одеяло.

– Да вы слушайте! Какой вы свинья, ей-богу! Я у вас по-дружески совета прошу, а вы рожу воротите... Слушайте!

И бедная флейта должна была слушать до тех пор, пока не наступало утро и контрабас не принимался за починку футляра.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Нет, не могу с ним жить! – жаловалась флейта на репетициях. – Верите ли? Лучше в слуховом окне жить, чем с ним... Совсем замучил!

– Отчего же вы от него не уйдете?

– Неловко как-то... Обидится... Чем я могу мотивировать свой уход? Научите, чем? Уж я всё передумал!

Не прошло и месяца совместного жития, как флейта начала чахнуть и плакаться на судьбу. Но жизнь стала еще невыносимей, когда контрабас вдруг, ни с того ни с сего предложил флейте перебраться с ним на новую квартиру.

– Эта не годится... Укладывайтесь! Нечего хныкать! От новой квартиры до кухмистерской, где вы обедаете, немножко далеко, но это ничего, много ходить полезно.

Новая квартира оказалась сырой и темной, но бедная флейта помирилась бы и с сыростью и с темнотой, если бы контрабас не изобрел на новоселье новых мук. Он в видах экономии завел у себя керосиновую кухню и стал готовить на ней себе обеды, отчего в комнате был постоянный туман. Починку футляра по утрам заменил он хрипением на контрабасе.

– Не чавкайте! – напал на Ивана Матвеича, когда тот ел что-нибудь. – Терпеть не могу, если кто чавкает над ухом! Идите в коридор да там и чавкайте!

Прошел еще месяц, и контрабас предложил перебраться на третью квартиру. Здесь он завел себе большие сапоги, от которых воняло дегтем, и в литературных спорах стал употреблять новый прием: вырывал из рук флейты книгу и сам тушил лампу. Флейта страдала, изнывала от желания стукнуть по большой стриженной голове, болела телом и душой, но церемонилась и деликатничала.

– Скажешь ему, что я не хочу с ним жить, а он и обидится! Не по-товарищески! Уж буду терпеть!

Но такая ненормальная жизнь не могла долго тянуться. Кончилась она для флейты престранным образом. Однажды, когда приятели возвращались из театра, контрабас взял под руку флейту и сказал:

– Вы извините меня, Иван Матвеич, но я наконец должен вам сказать... спросить то есть... Скажите, что это вам так нравится жить со мной? Не понимаю! Характерами мы не сошлись, вечно ссоримся, опротивели друг другу... Не знаю, как вы, но я совсем очумел... Уж я и так и этак... и на квартиры перебирался, чтоб вы от меня ушли, и на контрабасе по утрам играл, а вы всё не уходите! Уйдите, голубчик! Сделайте такую милость! Вы извините меня, но долее терпеть я не в состоянии.

Флейте этого только и нужно было.

Руководство для желающих жениться
(Секретно)

Так как предмет этой статьи составляет мужскую тайну и требует серьезного умственного напряжения, на которое весьма многие дамы не способны, то прошу отцов, мужей, околоточных надзирателей и проч. наблюдать, чтобы дамы и девицы этой статьи не читали. Это руководство не есть плод единичного ума, но составляет квинтэссенцию из всех существующих оракулов, физиономик, кабалистик и долголетних бесед с опытными мужьями и компетентнейшими содержательницами модных мастерских.

Введение. – Семейная жизнь имеет много хороших сторон. Не будь ее, дочери всю жизнь жили бы на шее отцов и многие музыканты сидели бы без хлеба, так как тогда не было бы свадеб. Медицина учит, что холостяки обыкновенно умирают сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума. Холостому завязывает галстук горничная, а женатому жена. Брак хорош также своею доступностью. Жениться можно богатым, бедным, слепым, юным, старым, здоровым, больным, русским, китайцам... Исключение составляют только безумные и сумасшедшие, дураки же, болваны и скоты могут жениться сколько им угодно.

Руководство I. – Ухаживая за девицей, обращай внимание прежде всего на

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

наружность, ибо по наружности узнается характер особы. В наружности различай: цвет волос и глаз, рост, походку и особые приметы. По цвету волос женщины делятся на блондинок, брюнеток, шатенок и проч. Блондинки обыкновенно благонравны, скромны, сентиментальны, любят папашу и мамашу, плачут над романами и жалеют животных. Характером они прямолинейны, в убеждениях строго консервативны, с буквой ь не в ладу. К чужим любвям они относятся чутко, в своей же собственной любви они холодны, как рыбы. В самую патетическую минуту блондинка может зевнуть и сказать: «Не забыть бы послать завтра за коленкором!» Выйдя замуж, они скоро киснут, толстеют и вянут. Плодовиты, чадолюбивы и плаксивы. Мужьям неверности не прощают, сами же изменяют охотно. Жены-блондинки обыкновенно мистичны, подозрительны и считают себя страдальцами. Брюнетки не так рассудительны, как блондинки. Они подвижны, непостоянны, капризны, вспылчивы, часто ссорятся с мамашами и бьют по щекам горничных. Начинают «не обращать внимания» на гадких мужчин уже с 12 лет, учатся плохо, ненавидят классных дам, любят романы, причем пропускают описания природы и прочитывают объяснения в любви по пяти раз. Они пылки, страстны и любят с азартом, сломя голову, задыхаясь... Жена-брюнетка – это целая инквизиция. С одной стороны, такая страсть, что чертям тошно, с другой – капризы, наряды, бесшабашная логика, визг, писк... С изменою мужей мирятся скоро, платя им тою же монетою. Шатенки от блондинок не ушли и к брюнеткам не пришли. Составляют нечто среднее между теми и другими. Считают себя брюнетками. Рыжие лукавы, лживы, злы, коварны... Любви без коварства не понимают. Обыкновенно бывают очень хорошо сложены и имеют на всем теле великолепную розовую кожу. Говорят, что черти и лешие обязательно женятся на рыжих. Где лживость, там трусость и малодушие. Достаточно хорошенько прикрикнуть на рыжую («Я тебе!»), чтобы она свернулась в калачик и полезла целоваться. Не забывай, что Мессалина и Нана[72] были рыжие. Прическа при выборе жены имеет тоже не малое значение. Волоса гладко причесанные, прилизанные, с белым пробором означают простоватость, ограниченность желаний... Такая прическа наичаще бывает у швеек, лавочниц и купеческих дочек. Подстриженная прядь волос, спущенная на лоб, означает суетную мелочность, ограниченность ума и похотливость. Эту прядь стараются обыкновенно скрыть узкий лоб... Шиньон и вообще орнаменты из чужих волос говорят за безвкусию, отсутствие фантазии и о том, что в прическу вмешивалась мамаша. Волоса, зачесанные сзади наперед, предполагают в женщине желание нравиться не только спереди, но и сзади. Такая прическа, если она не вершится тяжелой вавилонской башней, означает вкус и легкость нрава. Вьющиеся волосы говорят за игривость и художественность натуры. Прическа небрежная, всключенная предполагает сомнение или душевную леность. Под стриженными волосами скрывается образ мыслей. Если женщина седа или лыса и в то же время желает выйти замуж, то, значит, у нее много денег. Чем меньше в прическе шпилек, тем женщина изобретательнее и тем вернее, что у нее не чужие волосы. Теперь о цвете глаз. Голубые глаза с поволокой означают верность, покорность и кротость. Голубые выпученные бывают наичаще у женщин-шулеров и продажных. Черные глаза означают страстность, вспылчивость и коварство. Заметь, что у умных женщин редко бывают черные глаза. Серые бывают у щеголих, хохотуний и дурочек. Карие предполагают любовь к сплетням и зависть к чужим нарядам. Рост выбирай средний. Высокие женщины грубоваты и больно бьют, маленькие же в большинстве случаев бывают егозы и любят визжать, царапаться и подпускать шпильки. Горбатых избегай: эти злы и ехидны. Походка торопливая, с оглядками, говорит о ветренности и легкомыслии. Походка ленивая бывает у женщин, сердце которых уже занято, – тут ты не пообедаеть. Походка утичья, с перевальцем и виляньем турнюра, есть признак добродушия, податливости и иногда тупости. Походка горделивая, лебединая бывает у этих дам и содержанок. Чем спесивее походка, тем, значит, старше и богаче содержатель. Такая походка у девиц означает самомнение и ограниченность. Если барыня не идет, а плывет, как пава, то поворачивай оглобли: она накормит, утешит, но непременно возьмет под башмак. Особые приметы не многочисленны. Ямочки на щеках означают кокетство, тайные грешки и добродушие. Ямочки на щеках и прищуренные глаза обещают многое, но не для платониста. Усики говорят о бесплодии. Длинные ногти бывают у белоручек. Слившиеся брови означают, что данная особь будет строгой матерью и бешеной тещей. Веснушки наичаще замечаются у рыжих чертовок, рабынь и дурочек. Пухленькие и сдобненькие барышни с одутлыми щеками и красными руками наивны, в слове еще делают четыре ошибки, но зато они скоро выучиваются печь вкусные пироги и шить мужу бархатные жилетки.

Руководство II. – Не моги жениться без приданого. Жениться без приданого всё равно, что мед без ложки, Шмуль без пейсов, сапоги без подошв. Любовь сама по себе, приданое само по себе. Запрашивай сразу 200 000. Ошеломив цифрой, начинай торговаться, ломаться, канителить. Приданое бери обязательно до свадьбы. Не принимай векселей, купонов, акций и каждую сторублевку ощупай, обнюхай и осмотри

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru на свет, ибо нередко случаи, когда родители дают за своими дочерьми фальшивые деньги. Кроме денег, выторгуй себе побольше вещей. Жена, даже плохая, должна принести с собою: а) побольше мебели и рояль; б) одну перину на лебяжьем пуху и три одеяла: шёлковое, шерстяное и бумажное; в) два меховых салопы, один для праздников, другой для будней; г) побольше чайной, кухонной и обеденной посуды; д) 18 сорочек из лучшего голландского полотна, с отделкой; е) кофт из такого же полотна с кружевной отделкой; ж) кофт из нансу; з) пар панталон из того же полотна и столько же пар из английского шифона; и) юбок из мадаполама с прошивками и обшивками; к) пеньюар из лучшей батист-виктории; л) полупеньюара из батист-виктории; м) пар панталон канифасовых. Простынь, наволочек, чепчиков, чулков, бумазейных юбок, подвязок, скатертей, платков и проч. должно быть в достаточном количестве. Всё это сам осмотри, сочти, и чего не достанет, немедленно потребуй. Детского белья не бери, так как существует примета: есть белье – детей нет, дети есть – белья нет; н) вместо платьев, фасон коих скоро меняется, требуй материи в штуках; о) без столового серебра не женись.

Женившись, будь с женою строг и справедлив, не давай ей забываться и при каждом недоразумении говори ей: «Не забывай, что я тебя осчастливил!»

Ниночка
(Роман)

Тихо отворяется дверь, и ко мне входит мой хороший приятель Павел Сергеевич Вихленев, человек молодой, но старообразный и болезненный. Он сутуловат, длиннонос и тощ и в общем некрасив, но зато физиономия у него такая простецкая, мягкая, расплывчатая, что всякий раз при взгляде на нее является странное желание забрать ее в пять перстов и как бы осязать всё мягкосердечие и душевную тестообразность моего приятеля. Как и все кабинетные люди, он тих, робок и застенчив, на этот же раз он, кроме того, еще бледен и чем-то сильно взволнован.

– Что с вами? – спрашиваю я, всматриваясь в его бледное лицо и слегка дрожащие губы. – Больны, что ли, или опять с женой не поладили? На вас лица нет!

Помаявшись немного и покашляв, Вихленев машет рукой и говорит:

– Опять у меня с Ниночкой... комиссия! Такое, голубчик, горе, что всю ночь не спал и, как видите, чуть живой хожу... Чёрт меня знает! Других никаким горем не проймешь, легко сносят и обиды, и потери, и болезни, а для меня пустяка достаточно, чтоб я раскис и развинулся!

– Но что случилось?

– Пустяки... маленькая семейная драма. Да я вам расскажу, если хотите. Вчера вечером моя Ниночка никуда не поехала, а осталась дома, захотела со мной вечер провести. Я, конечно, обрадовался. Вечером она обыкновенно уезжает куда-нибудь в собрание, а я только вечерами и бываю дома, можете же поэтому судить, как я тово... обрадовался. Впрочем, вы никогда не были женаты и не можете судить, как тепло и уютно чувствуешь себя, когда, придя с работы домой, застаешь то, для чего живешь... Ах!

Вихленев описывает прелести семейной жизни, вытирает со лба пот и продолжает:

– Ниночка захотела провести со мной вечерок... А вы ведь знаете, какой я! Человек я скучный, тяжелый, неостроумный. Какое со мной веселье? Вечно я со своими чертежами, фильтром да почвой. Ни поиграть, ни потанцевать, ни побалагурить... ни на что я не способен, а ведь Ниночка, согласитесь, молодая, светская... Молодость имеет свои права... не так ли? Ну, стал я ей показывать картинки, разные вещички, то да се... рассказал кое-что... Кстати тут вспомнил, что у меня в столе лежат старые письма, а между этими письмами пресмешные попадаются! Во времена студенчества были у меня приятели: ловко писали, бестии! Читаешь – кишки порвешь. Вытащил я из стола эти письма и давай Ниночке читать. Прочел я ей одно письмо, другое, третье... и вдруг – стоп машина! В одном письме, знаете ли, попалась фраза: «Кланяется тебе Катя». Для ревнивой супруги такие фразы нож острый, а моя Ниночка – Отелло в юбке. Посыпались на мою несчастную голову вопросы: кто эта Катенька? да как? да почему? Я ей и рассказываю, что эта Катенька была чем-то вроде первой любви... что-то этакое студенческое, молодое, зеленое, чему никакого значения нельзя придавать. У всякого, говорю, юнца есть свои Катеньки, нельзя без этого... Не слушает моя Ниночка! Вообразила чёрт знает

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
что и в слезы. После слез истерика. «Вы, кричит, гадки, мерзки! Вы скрываете от меня свое прошлое! Стало быть, кричит, у вас и теперь есть какая-нибудь Катька, да вы скрываете!» Убеждал, убеждал я ее, но ни к чему... Мужской логике никогда не совладать с женской. Наконец, прощения просил, на коленках... ползал, и хоть бы тебе что. Так и легли спать с истерикой: она у себя, а я у себя на диване... Сегодня утром не глядит, дуется и выкает. Обещает переехать к матери. И наверное переедет, я знаю ее характер!

– М-да, неприятная история.

– Непонятны мне женщины! Ну, допустим, Ниночка молода, нравственна, брезглива, ее не может не коробить такая проза, как Катенька, допустим... но неужели простить трудно?... Пусть я виноват, но ведь я просил прощения, на коленях ползал! Я, если хотите знать, даже... плакал!

– Да, женщины большая загадка.

– Голубчик мой, дорогой, вы имеете над Ниночкой большое влияние, она уважает вас, видит в вас авторитет. Умоляю вас, съездите к ней, употребите всё ваше влияние и втолкуйте ей, как она неправa... Я страдаю, мой дорогой!.. Если эта история продолжится еще на день, то я не вынесу. Съездите, голубчик!..

– Но удобно ли это будет?

– Отчего же неудобно? Вы с ней друзья чуть ли не с детства, она верит вам... Съездите, будьте другом!

Слезные мольбы Вихленева меня трогают. Я одеваюсь и еду к его жене. Застаю я Ниночку за ее любимым занятием: она сидит на диване, положив ногу на ногу, щурит на воздух свои хорошенькие глазки и ничего не делает... Увидав меня, она прыгает с дивана и подбегает ко мне... Затем она оглядывается, быстро затворяет дверь и с легкостью перышка повисает на моей шее. (Да не подумает читатель, что здесь опечатка... Вот уже год прошел, как я разделяю с Вихленевым его супружеские обязанности.)

– Ты что же это опять, бестия, выдумала? – спрашиваю я Ниночку, усаживая ее рядом с собой.

– Что такое?

– Опять ты для своего благоверного муку изобрела! Сегодня уж он был у меня и всё рассказал про Катеньку.

– Ах... это! Нашел кому жаловаться!..

– Что у вас тут вышло?

– Так, пустяки... Вчера вечером скучно было... взяло зло, что некуда мне ехать, ну с досады и прицепилась к его Катеньке. Заплакала я от скуки, а как ты объяснишь ему этот плач?

– Но ведь это, душа моя, жестоко, бесчеловечно. Он и так нервен, а ты еще его своими сценами донимаешь.

– Ничего, он любит, когда я его ревную... Ничем так не отведешь глаз, как фальшивой ревностью... Но оставим этот разговор... Я не люблю, когда ты начинаешь разговор про моего тряпку... Он и так уж надоел мне... Давай лучше чай пить...

– Но все-таки ты перестань его мучить... На него, знаешь, глядеть жалко... Он так искренно и честно расписывает свое семейное счастье, и так верит в твою любовь, что даже жутко делается... Уж ты как-нибудь пересиль себя, приласкайся, соври... Одного твоего слова достаточно, чтобы он почувствовал себя на седьмом небе.

Ниночка надувает губки и хмурится, но все-таки, когда немного погодя входит Вихленев и робко заглядывает мне в лицо, она весело улыбается и ласкает его взглядом.

– Как раз к чаю пришел! – говорит она ему. – Умный ты у меня, никогда не

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
опаздываешь... Тебе со сливками или с лимоном?

Вихленев, не ожидавший такой встречи, умиляется. Он с чувством целует жене руку, обнимает меня, и это объятие выходит так нелепо и некстати, что я и Ниночка – оба краснеем...

– Блаженны миротворцы! – весело кудахтает счастливый муж. – Вам вот удалось убедить ее – почему? А потому, что вы человек светский, вращались в обществе, знаете все эти тонкости по части женского сердца! Ха-ха-ха! Я тюлень, байбак! Нужно слово сказать, а я десять... Нужно ручку поцеловать или что другое, а я ныть начинаю! Ха-ха-ха!

После чаю Вихленев ведет меня к себе в кабинет, берет за пуговицу и бормочет:

– Не знаю, как и благодарить вас, дорогой мой! Вы верите, я так страдал, мучился, а теперь так счастлив, хоть отбавляй! И это уж не впервой вы вывозите меня из ужасного положения. Дружок мой, не откажите мне! У меня есть одна вещичка... а именно, маленький локомотив, что я сам сделал... я за него медаль на выставке получил... Возьмите его в знак моей признательности... дружбы!.. Сделайте мне такое одолжение!

Понятно, я всячески отнекиваюсь, но Вихленев неумолим, и я волей-неволей принимаю его дорогой подарок.

Проходят дни, недели, месяцы... и рано или поздно проклятая истина раскрывается перед Вихленевым во всем своем поганом величии. Узнав случайно истину, он страшно бледнеет, ложится на диван и тупо глядит в потолок... При этом не говорится ни одного слова. Душевная боль должна выразиться в каких-нибудь движениях, и вот он начинает мучительно ворочаться на своем диване с боку на бок. Этими движениями и ограничивается его тряпичная натура.

Через неделю, немного оправившись от поразившей его новости, Вихленев приходит ко мне. Оба мы смущены и не глядим друг на друга... Я начинаю ни к селу ни к городу нести ахинею о свободной любви, супружеском эгоизме, покорности судьбе.

– Я не о том... – перебивает он меня кротко. – Всё это я отлично понимаю. В чувстве никто не виноват. Но меня интересует другая сторона дела, чисто практическая. Я, голубчик, жизни совсем не знаю, и где дело касается обрядностей, условий света, там я совсем швах. Вы, дорогой мой, поможете мне. Скажите, как теперь Ниночке быть! Продолжать ли ей жить у меня, или же вы сочтете лучшим, чтоб она к вам переехала?

Мы недолго совещаемся и останавливаемся на таком решении; Ниночка остается жить у Вихленева, я езжу к ней, когда мне вздумается, а Вихленев берет себе угловую комнату, где раньше была кладовая. Эта комната немного сыра и темна, ход в нее чрез кухню, но зато в ней можно отлично закупориться и не быть ни в чьем глазу спицей.

Тапер

Второй час ночи. Я сижу у себя в номере и пишу заказанный мне фельетон в стихах. Вдруг отворяется дверь, и в номер совсем неожиданно входит мой сожитель, бывший ученик м-ой консерватории Петр Рублев. В цилиндре, в шубе нараспашку, он напоминает мне на первых порах Репетилова[73]; потом же, когда я всматриваюсь в его бледное лицо и необыкновенно острые, словно воспаленные глаза, сходство с Репетиловым исчезает.

– Отчего ты так рано? – спрашиваю я. – Ведь еще только два часа! Разве свадьба уже кончилась?

Сожитель не отвечает. Он молча уходит за перегородку, быстро раздевается и с сопением ложится на свою кровать.

– Спи же, с-скотина! – слышу я через десять минут его шёпот. – Лег, ну и спи! А не хочешь спать, так... ну тебя к чёрту!

– Не спится, Петя? – спрашиваю я.

– Да чёрт его знает... не спится что-то... Смех разбирает... Не дает смех уснуть!

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Ха-ха!

– Что же тебе смешно?

– История смешная случилась. Нужно же было случиться этой анафемской истории!

Рублев выходит из-за перегородки и со смехом садится около меня.

– Смешно и... совестно... – говорит он, ероша свою прическу. – Отродясь, братец ты мой, не испытывал еще таких пассажиров... Ха-ха... Скандал – первый сорт! Великосветский скандал!

Рублев бьет себя кулаком по колену, вскакивает и начинает шагать босиком по холодному полу.

– В шею дали! – говорит он. – Оттого и пришел рано.

– Полно, что врать-то!

– Ей-богу... В шею дали – буквально!

Я гляжу на Рублева... Лицо у него испитое и поношенное, но во всей его внешности уцелело еще столько порядочности, барской изнеженности и приличия, что это грубое «дали в шею» совсем не вяжется с его интеллигентной фигурой.

– Скандал первостатейный... Шел домой и всю дорогу хохотал. Ах, да брось ты свою ерунду писать! Выскажусь, вылью всё из души, может, не так... смешно будет!.. Брось! История интересная... Ну, слушай же... На Арбате живет некий Присвистов, отставной подполковник, женатый на побочной дочери графа фон Крах... Аристократ, стало быть... Выдает он дочку за купеческого сына Ескимосова... Этот Ескимосов парвеню[74] и мове-жанр[75], свинья в ермолке и моветон, но папаше с дочкой манже и буар[76] хочется, так что тут некогда рассуждать о мове-жанрах. Отправляюсь я сегодня в девятом часу к Присвистову таперствовать. На улицах грязь, дождь, туман... На душе, по обыкновению, гнусно.

– Ты покороче, – говорю я Рублеву. – Без психологии...

– Ладно... Прихожу к Присвистову... Молодые и гости после венца фрукты трескают. В ожидании танцев иду к своему посту – роялю – и сажусь.

«А, а... вы пришли! – увидел меня хозяин. – Так вы уж, любезный, смотрите: играть как следует, и главное – не напиваться»...

– Я, брат, привык к таким приветствиям, не обижаюсь... Ха-ха... Назвался груздем, полезай в кузов... Не так ли? Что я такое? Тапер, прислуга... официант, умеющий играть!.. У купцов тыкают и на чай дают – и нисколько не обидно! Ну-с, от нечего делать, до танцев начинаю побринкивать этак слегка, чтоб, знаешь, пальцы разошлись. Играю и слышу немного погоды, братец ты мой, что сзади меня кто-то подпекает. Оглядываюсь – барышня! Стоит, бестия, сзади меня и на клавиши умильно глядит. – «Я, говорю, m-me, и не знал, что меня слушают!» А она вздыхает и говорит: «Хорошая вещь!» – «Да, говорю, хорошая... А вы нешто любите музыку?» И завязался разговор... Барышня оказалась разговорчивая. Я ее за язык не тянул, сама разболталась. «Как, говорит, жаль, что нынешняя молодежь не занимается серьезной музыкой». Я, дуррак, болван, рад, что на меня обратили внимание... осталось еще это гнусное самолюбие!.. Принимаю, знаешь, этакую позу и объясняю ей индифферентизм молодежи отсутствием в нашем обществе эстетических потребностей... Зафилософствовался!

– В чем же скандал? – спрашиваю я Рублева. – Влюбился, что ли?

– Выдумал! Любовь – это скандал личного свойства, а тут, брат, произошло нечто всеобщее, великосветское... да! Беседую я с барышней и вдруг начинаю замечать что-то неладное: за моей спиной сидят какие-то фигуры и шепчутся... Слышу слово «тапер», хихиканье... Про меня, значит, говорят... Что за оказия? Не галстук ли у меня развязался? Пробую галстук – ничего... Не обращаю, конечно, внимания и продолжаю разговор... А барышня горячится, спорит, покраснелась вся... Так и чешет! Такую критику пустила на композиторов, что держись шапка! В «Демоне» оркестровка хороша, а мотивов нет, Римский-Корсаков барабанщик, Варламов не мог создать

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
ничего цельного и проч. Нынешние мальчики и девочки едва гаммы играют, платят по четвертаку за урок, а уж не прочь музыкальные рецензии писать... Так и моя барышня... Я слушаю и не оспариваю... Люблю, когда молодое, зеленое дуется, мозгами шевелит... Ну, а сзади-то всё бормочут, бормочут... И что же? Вдруг к моей барышне подплывает толстая пава, из породы маменек или тетенок, солидная, багровая, в пять обхватов... не глядит на меня и что-то шепчет ей на ухо... Слушай же... Барышня вспыхивает, хватается за щеки и, как ужаленная, отскакивает от рояля... Что за оказия? Мудрый Эдип, разреши! Ну, думаю, наверное, или фрак у меня на спине лопнул, или у девочки в туалете какой-нибудь грех приключился, иначе трудно понять этот казус. На всякий случай иду минут через десять в переднюю оглядеть свою фигуру... оглядываю галстук, фрак, тралала... всё на месте, ничего не лопнуло! На мое счастье, братец, в передней стояла какая-то старушонка с узлом. Всё мне объяснила... Не будь ее, я так бы и остался в счастливом неведении. «Наша барышня не может без того, чтоб характера своего не показать, – рассказывает она какому-то лакею. – Увидала около фортепьянов молодца и давай с ним балясы точить, словно с настоящим каким... ахи да смехи, а молодец-то этот, выходит, не гость, а тапер... из музыкантов... Вот тебе и поговорила! Спасибо Марфе Степановне, шепнула ей, а то бы она, чего доброго, и под ручку с ним бы прошлась... Теперь и совестно, да уж поздно: слов не воротишь»... А? Каково?

– И девчонка глупа, – говорю я Рублеву, – и старуха глупа. Не стоит и внимания обращать...

– Я и не обратил внимания... Только смешно и больше ничего. Я давно уж привык к таким пассажам... Прежде, действительно, больно было, а теперь – плевать! Девчонка глупая, молодая... ее же жалко! Сажусь я и начинаю играть танцы... Серьезного там ничего не нужно... Знай себе закатываю вальсы, кадрили-монстры да гремучие марши... Коли тошно твоей музыкальной душе, то пойдя рюмочку выпей, и сам же взыграешься от «Боккаччио» [77].

– Но в чем собственно скандал?

– Трещу я на клавишах и... не думаю о девочке... Смеюсь и больше ничего, но... ковыряет у меня что-то под сердцем! Точно сидит у меня под ложечкой мышь и казенные сухари грызет... Отчего мне грустно и гнусно, сам не пойму... Убеждаю себя, браню, смеюсь... подпеваю своей музыке, но саднит мою душу, да как-то особенно саднит... Повернет этак в груди, ковырнет, погрызет и вдруг к горлу подкатит, этак... точно ком... Стиснешь зубы, переждешь, а оно и оттянет, потом же опять сначала... Что за комиссия! И, как нарочно, в голове самые что ни на есть подлые мысли... Вспоминается мне, какая из меня дрянь вышла... Ехал в Москву за две тысячи верст, метил в композиторы и пианисты, а попал в таперы... В сущности, ведь это естественно... даже смешно, а меня тошнит... Вспомнился мне и ты... Думаю, сидит теперь мой сожитель и строчит... Описывает, бедняга, спящих гласных, булочных тараканов, осеннюю непогоду... описывает именно то, что давным-давно уже описано, изжевано и переварено... Думаю я и почему-то жалко мне тебя... до слез жалко!.. Малый ты славный, с душой, а нет в тебе этого, знаешь, огня, желчи, силы... нет азарта, и почему ты не аптекарь, не сапожник, а писатель, Христос тебя знает! Вспомнились все мои приятели-неудачники, все эти певцы, художники, любители... Всё это когда-то кипело, копошилось, парило в поднебесье, а теперь... чёрт знает что! Почему мне лезли в голову именно такие мысли, не понимаю! Гоню из головы себя, приятели лезут; приятелей гоню, девчонка лезет... Над девчонкой я смеюсь, ставлю ее ни в грош, но не дает она мне покоя... И что это, думаю, за черта у русского человека! Пока ты свободен, учишься или без дела шатаешься, ты можешь с ним и выпить, и по животу его похлопать, и с дочкой его полюбезничать, но как только ты стал в мало-мальски подчиненные отношения, ты уже сверчок, который должен знать свой шесток... Кое-как, знаешь, заглушаю мысль, а к горлу все-таки подкатывает... Подкатит, сожмет и этак... сдавит... В конце концов чувствую на своих глазах жидкость, «Боккаччио» мой обрывается и... всё к чёрту. Благородная зала оглашается другими звуками... Истерика...

– Врешь!

– Ей-богу... – говорит Рублев, краснея и стараясь засмеяться. – Каков скандал? Засим чувствую, что меня влекут в переднюю... надевают шубу... Слышу голос хозяина: «Кто напоил тапера? Кто смел дать ему водки?» В заключение... в шею... Каков пассаж? Ха-ха... Тогда не до смеха было, а теперь ужасно смешно... ужасно! Здоровила... верзила, с пожарную каланчу ростом, и вдруг – истерика! Ха-ха-ха!

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Что же тут смешного? – спрашиваю я, глядя, как плечи и голова Рублева трясутся от смеха. – Петя, ради бога... что тут смешного? Петя! Голубчик!

Но Петя хохочет, и в его хохоте я легко узнаю истерику. Начинаю возиться с ним и бранюсь, что в московских номерах не имеют привычки ставить на ночь воду.

Писатель

В комнате, прилегающей к чайному магазину купца Ершакова, за высокой конторкой сидел сам Ершаков, человек молодой, по моде одетый, но помятый и, видимо, поживший на своем веку бурно. Судя по его размашистому почерку с завитушками, капую и тонкому сигарному запаху, он был не чужд европейской цивилизации. Но от него еще больше повеяло культурой, когда из магазина вошел мальчик и доложил:

– Писатель пришел!

– А!.. Зови его сюда. Да скажи ему, чтоб калоши свои в магазине оставил.

Через минуту в комнатку тихо вошел седой, плешивый старик в рыжем, потертom пальто, с красным, помороженным лицом и с выражением слабости и неуверенности, какое обыкновенно бывает у людей, хотя и мало, но постоянно пьющих.

– А, мое почтение... – сказал Ершаков, не оглядываясь на вошедшего. – Что хорошенького, господин Гейним?

Ершаков смешивал слова «гений» и «Гейне», и они сливались у него в одно – «Гейним», как он и называл всегда старика.

– Да вот-с, заказик принес, – ответил Гейним. – Уже готово-с...

– Так скоро?

– В три дня, Захар Семеныч, не то что рекламу, роман сочинить можно. Для рекламы и часа довольно.

– Только-то? А торгуешься всегда, словно годовую работу берешь. Ну, показывайте, что вы сочинили?

Гейним вынул из кармана несколько помятых, исписанных карандашом бумажек и подошел к конторке.

– У меня еще вчерне-с, в общих чертах-с... – сказал он. – Я вам прочту-с, а вы вникайте и указывайте в случае, ежели ошибку найдете. Ошибиться не мудрено, Захар Семеныч... Верите ли? Трех магазинам сразу рекламу сочинял... Это и у Шекспира бы голова закружилась.

Гейним надел очки, поднял брови и начал читать печальным голосом и точно декламируя:

– «Сезон 1885–86 г. Поставщик китайских чаев во все города Европейской и Азиатской России и за границу, З. С. Ершаков. Фирма существует с 1804 года». Всё это вступление, понимаете, будет в орнаментах, между гербами. Я одному купцу рекламу сочинял, так тот взял для объявления гербы разных городов. Так и вы можете сделать, и я для вас придумал такой орнамент, Захар Семеныч: лев, а у него в зубах лира. Теперь дальше: «Два слова к нашим покупателям. Милостивые государи! Ни политические события последнего времени, ни холодный индифферентизм, всё более и более проникающий во все слои нашего общества, ни обмеление Волги, на которое еще так недавно указывала лучшая часть нашей прессы, – ничто не смущает нас. Долголетнее существование нашей фирмы и симпатии, которыми мы успели заручиться, дают нам возможность прочно держаться почвы и не изменять раз навсегда заведенной системе как в сношениях наших с владельцами чайных плантаций, так равно и в добросовестном исполнении заказов. Наш девиз достаточно известен. Выражается он в немногих, но многозначительных словах: добросовестность, дешевизна и скорость!!»

– Хорошо! Очень хорошо! – перебил Ершаков, двигаясь на стуле. – Даже не ожидал, что так сочините. Ловко! Только вот что, милый друг... нужно тут как-нибудь тень навести, затуманить, как-нибудь этак, знаешь, фокус устроить... Публикуем мы тут, что фирма только что получила партию свежих первосборных весенних чаев сезона

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
1885 года... Так? А нужно кроме того показать, что эти только что полученные чаи лежат у нас в складе уже три года, но, тем не менее, будто из Китая мы их получили только на прошлой неделе.

– Понимаю–с... Публика и не заметит противоречия. В начале объявления мы напишем, что чаи только что получены, а в конце мы так скажем: «Имея большой запас чаев с оплатой прежней пошлины, мы без ущерба собственным интересам можем продавать их по прейскуранту прошлых лет... и т. д.» Ну–с, на другой странице будет прейскурант. Тут опять пойдут гербы и орнаменты... Под ними крупным шрифтом: «Прейскурант отборным ароматическим, фучанским, кяхтинским и байховым чаям первого весеннего сбора, полученным из вновь приобретенных плантаций»... Дальше–с: «Обращаем внимание истинных любителей на лянсинные чаи, из коих самую большую и заслуженную любовью пользуется „Китайская эмблема, или Зависть конкурентов“ 3 р. 50 к. Из розанистых чаев мы особенно рекомендуем „Богдыханская роза“ 2 р. и „Глаза китайки“ 1 р. 80 к.» За ценами пойдет петитом о развеске и пересылке чая. Тут же о скидке и насчет премий: «Большинство наших конкурентов, желая завлечь к себе покупателей, закидывает удочку в виде премий. Мы с своей стороны протестуем против этого возмутительного приема и предлагаем нашим покупателям не в виде премии, а бесплатно все приманки, какими угощают конкуренты своих жертв. Всякий купивший у нас не менее чем на 50 р., выбирает и получает бесплатно одну из следующих пяти вещей: чайник из британского металла, сто визитных карточек, план города Москвы, чайницу в виде нагой китайки и книгу „Жених удивлен, или Невеста под корытом“, рассказ Игривого Весельчака». [78]

Кончив чтение и сделав кое–какие поправки, Гейним быстро переписал рекламу начисто и вручил ее Ершакову. После этого наступило молчание... Оба почувствовали себя неловко, как будто совершили какую–то пакость.

– Деньги за работу сейчас прикажете получить или после? – спросил Гейним нерешительно.

– Когда хотите, хоть сейчас... – небрежно ответил Ершаков. – Ступай в магазин и бери чего хочешь на пять с полтиной.

– Мне бы деньгами, Захар Семеныч.

– У меня нет моды деньгами платить. Всем плачу чаем да сахаром: и вам, и певчим, где я старостой, и дворникам. Меньше пьянства.

– Разве, Захар Семеныч, мою работу можно равнять с дворниками да с певчими? У меня умственный труд.

– Какой труд! Сел, написал и всё тут. Писанья не съешь, не выпьешь... плевое дело! И рубля не стоит.

– Гм... Как вы насчет писанья рассуждаете... – обиделся Гейним. – Не съешь, не выпьешь. Того не понимаете, что я, может, когда сочинял эту рекламу, душой страдал. Пишешь и чувствуешь, что всю Россию в обман вводишь. Дайте денег, Захар Семеныч!

– Надоел, брат. Нехорошо так приставать.

– Ну, ладно. Так я сахарным песком возьму. Ваши же молодцы у меня его назад возьмут по восьми копеек за фунт. Потеряю на этой операции копеек сорок, ну, да что делать! Будьте здоровы–с!

Гейним повернулся, чтобы выйти, но остановился в дверях, вздохнул и сказал мрачно:

– Россию обманываю! Всю Россию! Отечество обманываю из–за куска хлеба! Эх!

И вышел. Ершаков закурил гаванку, и в его комнате еще сильнее запахло культурным человеком.

Пересолил

Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию «Гнилушки». До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать–сорок. (Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и тридцати верст не

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru будет, а коли возница с мухой да кони наморены, то целых пятьдесят наберется.)

– Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? – обратился землемер к станционному жандарму.

– Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовых... Да вам куда ехать?

– В Девкино, имение генерала Хохотова.

– Что ж? – зевнул жандарм. – Ступайте за станцию, там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров.

Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти.

– Чёрт знает какая у тебя телега! – поморщился землемер, влезая в телегу. – Не разберешь, где у нее зад, где перед...

– Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость, там зад...

Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой, когда же он выбранился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места.

– Этак мы всю дорогу поедим? – спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую, черепашую езду с душой выворачивающей тряской.

– До-о-едем! – успокоил возница. – Кобылка молодая, шустрая... Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь... Но-о-о, прокля...тая!

Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная, замерзшая равнина, без конца и края... Поедешь по ней, так наверно заедешь к чёрту на кулички. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря... Налево от дороги в темнеющем воздухе высились какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны всё поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно.

«Какая, однако, здесь глушь! – думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. – Ни кола ни двора. Не ровен час – нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек пали... Да и возница ненадежный... Ишь, какая спина! Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон! И морда у него зверская, подозрительная».

– Эй, милый, – спросил землемер, – как тебя зовут?

– Меня-то? Клим.

– Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалют?

– Ничего, бог миловал... Кому ж шалить?

– Это хорошо, что не шалют... Но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера, – соврал землемер. – А с револьвером, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками можно справиться...

Стемнело. Телега вдруг заскрипела, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налево.

«Куда же это он меня повез? – подумал землемер. – Ехал всё прямо и вдруг налево. Чего доброго, завезет, подлец, в какую-нибудь трущобу и... и... Бывают ведь случаи!»

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Послушай, – обратился он к вознице. – Так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль... Я люблю с разбойниками драться... На вид-то я худой, болезненный, а силы у меня, словно у быка... Однажды напало на меня три разбойника... Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что... что, понимаешь, богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю... Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, вроде тебя, и... и сковырнешь.

Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке.

– Да, брат... – продолжал землемер. – Не дай бог со мной связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, но еще и перед судом ответит... Мне все судьи и исправники знакомы. Человек я казенный, нужный... Я вот еду, а начальству известно... так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худа не сделал. Везде по дороге за кустиками урядники да сотские понатыканы... По... по...постой! – заорал вдруг землемер. – Куда же это ты въехал? Куда ты меня везешь?

– Да нешто не видите? Лес!

«Действительно, лес... – подумал землемер. – А я-то испугался! Однако, не нужно выдавать своего волнения... Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь... Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ишь как мчится!»

– Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь?

– Я ее не гоню. Сама разбежалась... Уж как разбежится, так никаким средством ее не остановишь... И сама она не рада, что у ней ноги такие.

– Врешь, брат! Вижу, что врешь! Только я тебе не советую так быстро ехать. Попридержи-ка лошадь... Слышишь? Попридержи!

– Зачем?

– А затем... затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтоб они нас догнали... Они обещали догнать меня в этом лесу... С ними веселей будет ехать... Народ здоровый, коренастый... у каждого по пистолету... Что это ты всё оглядываешься и движешься, как на иголках? а? Я, брат, тово... брат... На меня нечего оглядываться... интересного во мне ничего нет... Разве вот револьверы только... Изволь, если хочешь, я их выну, покажу... Изволь...

Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще.

– Караул! – заголосил он. – Караул! Бери, окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты моей души! Караул!

Послышались скорые, удаляющиеся шаги, треск хвороста – и всё смолкло... Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобней на телеге и стал думать.

«Убежал... испугался, дурак... Ну, как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него лошадь украл... Как быть?» – Клим! Клим!

– Клим!.. – ответило эхо.

От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фырканье тощей кобылки, землемера стало коробить вдоль спины, словно холодным терпугом.

– Климужка! – закричал он. – Голубчик! Где ты, Климужка?

Часа два кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон.

– Клим! Это ты, голубчик? Поедем!

– У... убьешь!

– Да я пошутил, голубчик! Накажи меня господь, пошутил! Какие у меня револьверы! Это я от страха врал! Сделай милость, поедем! Мерзну!

Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадьё и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру.

– Ну, чего, дура, испугался? Я... я пошутил, а ты испугался... Садись!

– Бог с тобой, барин, – проворчал Клим, влезая в телегу. – Если б знал, и за сто целковых не повез бы. Чуть я не помер от страха...

Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.

Без места

Кандидат прав Перепелкин сидел у себя в номере и писал:

Дорогой дядя Иван Николаевич!.. Чёрт бы тебя взял с твоими рекомендательными письмами и практическими советами! В тысячу раз лучше, благороднее и человечнее сидеть без дела и питаться надеждами на туманное будущее, чем ежели нужно купаться в холодной, вонючей грязи, в которую ты толкаешь меня своими письмами и советами. Тошнит меня нестерпимо, точно я рыбой отравился. Тошнота самая гнусная, мозговая, от которой не отделаешься ни водкой, ни сном, ни душевспасительными размышлениями. Знаешь, дядя, хотя ты и старик, но ты большая скотина. Отчего ты не предупредил меня, что мне придется переживать такие мерзости? Стыдно!

Описываю тебе по порядку все мои мытарства. Читай и казись. Прежде всего я отправился с твоим рекомендательным письмом к Бабкову. Застал я его в правлении железнодорожного общества N. Это маленький, совершенно лысый старикашка с желто-серым лицом и бритым кривым ртом. Верхняя губа его глядит направо, нижняя налево. Он сидит за отдельным столом и читает газету.

Вокруг него, как вокруг парнасского Аполлона, на высоких коммерческих табуретках за толстыми книгами сидят дамы. Одеты эти дамы шикарно: турнюры, веера, массивные браслеты. Как они умеют мирить внешний шик с нищенским женским жалованьем, понять трудно. Или они служат здесь от нечего делать, с жиру, по протекции папашей и дядюшек, или же тут бухгалтерия есть только дополнение, а подлежащее и сказуемое подразумевается. Потом я узнал, что они ни черта не делают; работа их валится на плечи разных сверхштатных служащих, безгласных мужчин, получающих по 10–15 рублей в месяц. Я подал Бабкову твое письмо. Он, не приглашая меня сесть, медленно надел допотопное пенсне, еще медленнее распечатал конверт и стал читать.

«Ваш дядюшка просит для вас места, – сказал он, почесывая лысину. – Вакансий у нас нет и едва ли скоро они будут, но во всяком случае постараюсь для вашего дядюшки... доложу директору нашего общества. Может быть, и найдем что-нибудь».

Я чуть не подпрыгнул от радости и готов уже был рассыпаться в песок благодарности, как вдруг, братец ты мой, слышу такую фразу:

«Но, молодой человек, будь это место лично для вашего дядюшки, то я бы с него ничего не взял, а так как оно для вас, то тово... уверен, что вы поблагодарите... меня, как следует... Понимаете?..»

Ты предупреждал меня, что даром мне не дадут места, что я должен буду заплатить, но ты ни слова не сказал мне о том, что эти пакостные продажа и купля производятся так громко, публично, беззастенчиво... при дамах! Ах, дядя, дядя! Последние слова Бабкова до того меня огорошили, что я чуть не умер от тошноты. Мне стало совестно, точно я сам брал взятку. Я покраснел, залепетал какую-то чепуху и под конвоем двадцати женских смеющихся глаз попятился к выходу. В передней догнала меня какая-то мрачная, испитая личность, которая шепнула мне, что и без Бабкова можно найти себе место.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
«Дайте мне пять целковых, и я вас сведу к Сахару Медовичу. Они, хотя и не служат, но находят места. И берут они за это немного: половину жалованья за первый год».

Мне бы нужно было плюнуть, надсмеяться, а я поблагодарил, сконфузился и, как ошпаренный, пустился вниз по лестнице. От Бабкова я пошел к Шмаковичу. Это мягкий, пухлый толстячок с красной, благодушной физиономией и с маленькими масляными глазками. Его глазки масляны до приторности, так что тебе кажется, что они вымазаны касторовым маслом. Узнав, что я твой племянник, он ужасно обрадовался и даже заржал от удовольствия. Бросил свое дело и принялся поить меня чаем. Душа человек! Всё время глядел мне в лицо и искал сходства с тобой. Тебя вспоминал со слезами. Когда я напомнил ему о цели своего визита, он похлопал меня по плечу и сказал:

«Надоест еще о деле говорить... Дело не медведь, в лес не уйдет. Вы где обедаете? Ежели для вас безразлично, где ни обедать, так поедемте к Палкину! Там и потолкуем».

При сем письме прилагаю палкинский счет. 76 рублей, которые ты там увидишь, съел и выпил твой друг Шмакович, оказавшийся большим гастрономом. Заплатил по счету, конечно, я. От Палкина Шмакович потащил меня в театр. Билеты купил я. Что еще? После театра твой подлец предложил мне проехаться за город, но я отказался, так как у меня деньги почти на исходе. Прощаясь со мной, Шмакович велел тебе кланяться и передать, что место он может мне выхлопотать не раньше, как через пять месяцев.

«Нарочно не дам вам места! – пошутил он, милостиво хлопая по моему животу. – И зачем вам, университетскому, так хочется служить в нашем обществе? Поступали бы, ей-богу, на казенную службу!» – «Я и без вас знаю про казенное место. Но дайте мне его!»

С третьим твоим письмом я отправился к твоему куму Халатову в правление Живодеро-Хамской железной дороги. Тут произошло нечто мерзопакостное, перещеголявшее и Бабкова и Шмаковича, обоих разом. Повторяю: ну тебя к чёрту! Тошно мне до безобразия, и виноват в этом ты... Твоего Халатова я не застал. Принял меня какой-то Одеколонов – тощая, сухожильная фигура с рябой, иезуитской физией. Узнав, что я ищу места, он усадил меня и прочел мне целую лекцию о трудностях, с какими получают теперь места. После лекции он пообещал мне доложить, похлопотать, замолвить и проч. Помня твою заповедь – совать деньги, где только возможно, и видя, что рябая физия не прочь от взятки, я, прощаясь, сунул в кулак... Берущая рука пожала мне палец, физия ослабилась, и опять посыпались обещания, но... Одеколонов оглянулся и увидел сзади себя посторонних, которые не могли не заметить рукопожатия. Иезуит смутился и забормотал:

«Место я вам обещаю, но... благодарностей не беру... Ни-ни! Возьмите обратно! Ни-ни! Вы обижаете...»

И он разжал кулак и отдал мне назад деньги, но не четвертную, которую я ему сунул, а трехрублевку. Каков фокус? У этих чертей в рукавах, должно быть, целая система пружин и ниток, иначе я не понимаю превращения моей бедной четвертной в жалкую трехрублевку.

Относительно чистеньким и порядочным показался мне объект четвертого рекомендательного письма – Грызодубов.

Это еще молодой человек, красивый, с благородной осанкой, щегольски одетый. Принял меня он хотя и лениво, с видимой неохотой, но любезно. Из разговоров с ним я узнал, что он кончил в университете и тоже в свое время бился из-за куска хлеба, как рыба о лед. Отнесся он к моей просьбе очень сочувственно, тем более, что образованные служащие – его любимая мечта... Был я у него уже три раза, и за все три раза он не сказал мне ничего определенного. Он как-то мямлит, мнется, избегает прямых ответов, точно стесняется или не решается... Я дал тебе слово не сентиментальничать. Ты меня уверял, что у всех шулеров обыкновенно благородные осанки и самый рыцарский апломб... Может быть, это и правда, но сумей-ка ты отделить шулеров от порядочных. Так влопаешься, что небу жарко станет... Сегодня у Грызодубова я был в четвертый раз... Он по-прежнему мямлил и не говорил ничего определенного... Меня взорвало... Чёрт меня дернул вспомнить, что я дал тебе честное слово наделять всех без исключения деньгами, и меня словно кто под локоть

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru толкнул... Как решаются окунуться в холодную воду или взлезть на высоту, так и я решился рискнуть и сунуть...

Эх, что будет, то будет! – решил я. – Раз в жизни можно испробовать...

Я решил рискнуть не столько ради места, сколько ради новизны ощущения. Хоть раз в жизни, мол, увидеть, как действует на порядочных людей «благодарность»! Но «ощущение» мое пошло к чёрту. Исполнил я неумело, аляповато... Вытащил из кармана депозитку и, краснея, дрожа всем телом, улучил минутку, когда Грызодубов на меня не глядел, и положил ее на стол... К счастью, Грызодубов положил в это время на стол какие-то книги и прикрыл ими депозитку... Итак, не удалось... Грызодубов депозитки не видел... Она затеряется между бумагами или ее украдут сторожа... Если же он ее увидит, то, наверное, оскорбится... Так-то, топ опсте...[79] И деньги пропали, и совестно... до боли совестно! А всё ты со своими проклятыми практическими советами! Ты развратил меня... Прерываю письмо, ибо кто-то звонит... Иду отворить дверь...

Сейчас получил от Грызодубова письмо. Пишет, что есть в контроле товарных сборов вакансия на 60 руб. в месяц. Депозитку мою он, стало быть, видел.

Брак через 10–15 лет

На этом свете всё совершенствуется: шведские спички, оперетки, локомотивы, вина Дебре и человеческие отношения. Совершенствуется и брак. Каков он был и каков теперь, вы знаете. Каков он будет лет через 10–15, когда вырастут наши дети, угадать не трудно. Вот вам схема романов этого близкого будущего.

В гостиной сидит девица лет 20–25. Одета она по последней моде: сидит сразу на трех стульях, причем один стул занимает она сама, два другие – ее турнюр. На груди брошка, величиной с добрую сковороду. Прическа, как и подобает образованной девице, скромная: два-три пуда волос, зачесанных кверху, и на волосах маленькая лестница для причёсывающей горничной. Тут же на пианино лежит шляпа девицы. На шляпе искусно сделанная индейка на яйцах в натуральную величину.

Звонок. Входит молодой человек в красном фраке, узких брюках и в громадных, похожих на лыжи, башмаках.

– Честь имею представиться, – говорит молодой человек, расшаркиваясь перед девицей, – помощник присяжного поверенного Балалайкина!..

– Очень приятно... Чем могу быть полезна?

– Меня направило к вам «Общество заключения счастливых браков».

– Очень приятно... Садитесь!

Балалайкин садится и говорит:

– «Общество» указало мне на несколько невест, но думаю, что ваши условия для меня будут самыми подходящими. Из этой вот записки, данной мне секретарем «Общества», видно, что вы приносите с собой мужу дом на Плющихе, 40 тысяч деньгами и тысяч на пять движимого имущества... Так ли это?

– Нет... За мною идет только 20 000, – кокетничает девица.

– В таком случае, сударыня, виноват... извините за беспокойство... честь имею кланяться...

– Нет, нет... я пошутила! – смеется девица. – В вашей записке всё верно... Деньги, дом и движимое... В «Обществе» вам, конечно, говорили, что ремонт дома будет производиться на счет мужа... и... и... – я ужасно застенчива! – и деньги муж получает не все сразу, а с рассрочкой на три года...

– Нет, сударыня, – вздыхает Балалайкин, – нынче с рассрочкой никто не женится! Если уж вы так настаиваете на рассрочке, то извольте, я дам вам год...

Девица и Балалайкин начинают торговаться. Девица в конце концов сдается и довольствуется годом рассрочки.

– Теперь позвольте узнать ваши условия! – говорит она. – Вам сколько лет? Где служите?

– Собственно говоря, я не сам женюсь, а хлопочу за своего клиента... Я комиссионер...

– Но ведь я просила «Общество» не присылать ко мне комиссионеров! – обижается девица.

– Вы, сударыня, не сердитесь... Клиент мой человек пожилой, страдающий ревматизмом, сырой... Ходить по невестам, хлопотать у него нет сил, так что volens-nolens[80] ему приходится действовать через третье лицо. Но вы не беспокойтесь, я дорого не возьму...

– Условия вашего клиента?

– Мой клиент – мужчина 52 лет... Несмотря на такой возраст, он еще имеет людей, которые дают ему займы. Так, у него два портных, шьющих на него в кредит. В лавочках отпускают ему по книжке сколько угодно. Никто лучше его не может уходить от извозчиков в проходные ворота и т. д. Не стану распространяться в похвалах его деловитости, скажу только для полной характеристики, что он ухитряется даже в аптеке забирать в кредит.

– Он только и живет займами?

– Займы – это его главное занятие. Но, как натура широкая, не узкая, он не довольствуется одною только этою деятельностью... Без преувеличения можно сказать, что лучше его никто не сбудет с рук фальшивого купона... Кроме того, он состоит опекуном своей племянницы, что дает ему около трех тысяч в год... Далее, в театрах он выдает себя за рецензента и таким образом получает от актеров бесплатные ужины и контрамарки... Два раза он судился за растрату и ныне еще под судом за подлог...

– Разве еще существует суд?

– Да, как остаток не совсем еще отжившей средневековой морали... Но можно надеяться, сударыня, пройдет еще год-два, и культурный человек расстанется и с этим устаревшим обрядом... Так какой ответ прикажете передать моему клиенту?

– Скажите, что я подумаю...

– О чем же думать, сударыня? Не смею советовать вам, но, желая вам добра, не могу не выразить своего удивления... Человек порядочный, блестящий во всех отношениях и... и вдруг вы не соглашаетесь сразу, зная, как губительна может быть для вас проволочка. Ведь пока вы будете думать, он войдет в соглашение с другой невестой!

– Это правда... В таком случае я согласна...

– Давно бы так! Позвольте получить с вас задаток?

Девица дает комиссионеру 10–20 рублей. Тот берет, расшаркивается и идет к двери.

– А расписку? – останавливает его девица.

– mille pardons[81], сударыня! Я совсем забыл! Ха-ха...

Балалайкин пишет расписку, шаркает еще раз и уходит, девица же закрывает лицо и падает на диван.

– Как я счастлива! – восклицает она, охваченная новым, неведомым ей доселе чувством. – Как я счастлива! Я... люблю и любима!!

Конец. Такова свадьба близкого будущего. А давно ли, читатель, невесты ходили в кринолинах, а женихи щеголяли в полосатых брюках и во фраках с искрой? Давно ли жених, прежде чем влюбиться в невесту, должен был переговорить с ее папашей и мамашей?

Соловьи, розы, лунные ночи, душистые записочки, романсы... всё это ушло далеко-далеко... Шептаться в темных аллеях, страдать, жаждать первого поцелуя и проч. теперь также несвоевременно, как одеваться в латы и похищать сабинянок. [82] Всё совершенствуется!

Старость

Архитектор, статский советник Узелков, приехал в свой родной город, куда он был вызван для реставрации кладбищенской церкви. В этом городе он родился, учился, вырос и женился, но, вылезши из вагона, он едва узнал его. Всё изменилось... Восемнадцать лет тому назад, когда он переселился в Питер, на том, например, месте, где теперь стоит вокзал, мальчуганы ловили сусликов; теперь при въезде на главную улицу высится четырехэтажная «Вена с номерами», тогда же тут тянулся безобразный серый забор. Но ни заборы, ни дома – ничто так не изменилось, как люди. Из допроса номерного лакея Узелков узнал, что больше чем половина тех людей, которых он помнил, вымерло, обедняло, забыто.

– А Узелкова ты помнишь? – спросил он про себя у старика лакея. – Узелкова, архитектора, что с женой разводился... У него еще дом был на Свирибеевской улице... Наверное, помнишь!

– Не помню-с...

– Ну, как не помнить! Громкое было дело, даже извозчики все знали. Припомни-ка! Разводил его с женой стряпчий Шапкин, мошенник... известный шулер, тот самый, которого в клубе высекли...

– Иван Николаич?

– Ну да, да... Что, он жив? Умер?

– Живы-с, слава богу-с. Они теперь нотариусом, контору держат. Хорошо живут. Два дома на Кирпичной улице. Недавно дочь замуж выдали...

Узелков пошагал из угла в угол, подумал и решил, скуки ради, повидаться с Шапкиным. Когда он вышел из гостиницы и тихо поплелся на Кирпичную улицу, был полдень. Шапкина он застал в конторе и еле узнал его. Из когда-то стройного, ловкого стряпчего с подвижной, нахальной, вечно пьяной физиономией Шапкин превратился в скромного, седовласого, хилого старца.

– Вы меня не узнаете, забыли... – начал Узелков. – Я ваш давнишний клиент, Узелков...

– Узелков? Какой Узелков? Ах!

Шапкин вспомнил, узнал и обомлел. Посыпались восклицания, расспросы, воспоминания.

– Вот не ожидал! Вот не думал! – кудахтал Шапкин. – Угощать-то чем? Шампанского хотите? Может, устриц желаете? Голубушка моя, столько я от вас деньжищ перебрал в свое время, что и угощения не подберу...

– Пожалуйста, не беспокойтесь, – сказал Узелков. – Мне некогда. Сейчас нужно мне на кладбище ехать, церковь осматривать. Я заказ взял.

– И отлично! Закусим, выпьем и поедем вместе. У меня отличные лошади! И свезу вас, и со старостой познакомлю... всё устрою... Да что вы, ангел, словно сторонитесь меня, боитесь? Сядьте поближе! Теперь уж нечего бояться... Хе-хе... Прежде, действительно, ловкий парень был, жох мужчина... никто не подходил близко, а теперь тише воды, ниже травы; постарел, семейным стал... дети есть. Умирать пора!

Прятели закусили, выпили и на паре поехали за город, на кладбище.

– Да, было времечко! – вспоминал Шапкин, сидя в санях. – Вспоминаешь и просто не веришь. А помните, как вы с вашей супругой разводились? Уж почти двадцать лет прошло и, небось, вы всё забыли, а я помню, словно вчера разводил вас. Господи, сколько я крови тогда испортил! Парень я был ловкий, казуист, крючок, отчаянная голова... Так, бывало, и рвусь ухватиться за какое-нибудь казусное дело, особенно

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
ежели гонорарий хороший, как, например, в вашем процессе. Что вы мне тогда заплатили? Пять–шесть тысяч! Ну, как тут крови не испортить? Вы тогда уехали в Петербург и всё дело мне на руки бросили: делай как знаешь! А покойница супруга ваша, Софья Михайловна, была хоть и из купеческого дома, но гордая, самолюбивая. Подкупить ее, чтоб она на себя вину приняла, было трудно... ужасно трудно! Прихожу к ней, бывало, для переговоров, а она завидит меня и кричит горничной: «Маша, ведь я приказала тебе не принимать подлецов!» Уж я и так, и этак... и письма ей пишу, и нечаянно норовлю встретиться – не берет! Пришлось через третье лицо действовать. Долго я возился с ней, и только тогда, когда вы десять тысяч согласились дать ей, поддалась... Десяти тысяч не выдержала, не устояла... Заплакала, в лицо мне плюнула, но согласилась, приняла вину!

– Кажется, она взяла с меня не десять, а пятнадцать тысяч, – сказал Узелков.

– Да, да... пятнадцать, ошибся! – смутился Шапкин. – Впрочем, дело прошлое, нечего греха таить. Ей я десять дал, а остальные пять я у вас на свою долю выторговал. Обоих вас обманул... Дело прошлое, стыдиться нечего... Да и с кого же мне было брать, Борис Петрович, ежели не с вас, судите сами... Человек вы были богатый, сытый... С жиру вы женились, с жиру разводились. Наживали вы пропасть... Помню, с одного подряда дерябнули двадцать тысяч. С кого же и тянуть, как не с вас? Да и, признаться, зависть мучила... Вы ежели хапнете, перед вами шапки ломают, меня же, бывало, за рубли и секут и в клубе по щекам бьют... Ну, да что вспоминать! Забыть пора.

– Скажите, пожалуйста, как потом жила Софья Михайловна?

– С десятью тысячами–то? Плохissime... Бог ее знает, азарт ли на нее такой напал, или совесть и гордость стали мучить, что себя за деньги продала, или, может быть, любила вас, только, знаете ли, завила... Получила деньги и давай на тройках с офицерами разъезжать. Пьянство, гульба, беспутство... Заедет с офицерами в трактир и не то, чтобы портвейнцу или чего–нибудь полегче, а норовит коньячищу хватить, чтоб жгло, в одурь бросало.

– Да, она эксцентричная была... Натерпелся я от нее. Бывало, обидится на что–нибудь и начнет нервничать... А потом что было?

– Проходит неделя, другая... Сижу я у себя дома и что–то строчу. Вдруг отворяется дверь и входит она... пьяная. «Возьмите, говорит, назад проклятые ваши деньги!» и бросила мне в лицо пачку. Не выдержала, значит! Я подобрал деньги, сосчитал... Пятисот не хватало. Только пятьсот и успела прокутить.

– Куда же вы девали деньги?

– Дело прошлое... таиться незачем... конечно, себе! Что вы на меня так поглядели? Погодите, что еще дальше будет... Роман целый, психиатрия! Этак месяца через два прихожу я однажды ночью к себе домой пьяный, скверный... Зажигаю огонь, гляжу, а у меня на диване сидит Софья Михайловна, и тоже пьяная, в растрепанных чувствах, дикая какая–то, словно из Бедлама бежала... «Давайте, говорит, мне назад мои деньги, я раздумала. Падать, так уж падать, как следует, в засос! Поворачивайтесь же, подлец, давайте деньги!» Безобразие!

– И вы... дали?

– Дал, помню, десять рублей...

– Ах! ну можно ли? – поморщился Узелков. – Если вы сами не могли или не хотели дать ей, то написали бы мне, что ли... И я не знал! А? И я не знал!

– Голубчик мой, да зачем мне писать, если она сама вам писала, когда потом в больнице лежала?

– Впрочем, я так был занят тогда новым браком, так кружился, что мне не до писем было... Но вы, частный человек, вы антипатии к Софье не чувствовали... отчего не подали ей руки?

– На теперешний аршин нельзя мерить, Борис Петрович. Теперь мы так думаем, а тогда совсем иначе думали... Теперь я ей, может быть, и тысячу рублей дал бы, а тогда и те десять... не задаром отдал. Скверная история! Забыть надо... Но вот и

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru приехали...

Сани остановились у кладбищенских ворот. Узелков и Шапкин вылезли из саней, вошли в ворота и направились по длинной, широкой аллее. Оголенные вишневые деревья и акации, серые кресты и памятники серебрились инеем. В каждой снежинке отражался ясный солнечный день. Пахло, как вообще пахнет на всех кладбищах: ладаном и свежевскопанной землей...

– Хорошенькое у нас кладбище, – сказал Узелков. – Совсем сад!

– Да, но жалко, воры памятники воруют... А вон за тем чугунным памятником, что направо, Софья Михайловна похоронена. Хотите посмотреть?

Приятели повернули направо и по глубокому снегу направились к чугунному памятнику.

– Вот тут... – сказал Шапкин, указывая на маленький памятник из белого мрамора. – Прапорщик какой-то памятник на ее могилке поставил.

Узелков медленно снял шапку и показал солнцу свою плешь. Шапкин, глядя на него, тоже снял шапку, и другая плешь заблестела на солнце. Тишина кругом была могильная, точно и воздух был мертв. Приятели глядели на памятник, молчали и думали.

– Спит себе! – прервал молчание Шапкин. – И горя ей мало, что вину она на себя приняла и коньяк пила. Сознайтесь, Борис Петрович!

– В чем? – угрюмо спросил Узелков.

– А в том... Как ни противно прошлое, но оно лучше, чем это.

И Шапкин указал на свои седины.

– Бывало, и не думал о смертном часе... Встретиться со смертью, так, кажется, десять очков вперед дал бы ей, а теперь... Ну, да что!

Узелковым овладела грусть. Ему вдруг захотелось плакать, страстно, как когда-то хотелось любви... И он чувствовал, что плач этот вышел бы у него вкусный, освежающий. На глазах выступила влага и уже к горлу подкатил ком, но... рядом стоял Шапкин, и Узелков устыдился малодушествовать при свидетеле. Он круто повернул назад и пошел к церкви.

Только часа два спустя, переговорив со старостой и осмотрев церковь, он улучил минутку, когда Шапкин заговорился со священником, и побежал плакать... Подкрался он к памятнику тайком, воровски, ежеминутно оглядываясь. Маленький белый памятник глядел на него задумчиво, грустно и так невинно, словно под ним лежала девочка, а не распутная, разведенная жена.

«Плакать, плакать!» – думал Узелков.

Но момент для плача был уже упущен. Как ни мигал глазами старик, как ни настраивал себя, а слезы не текли и ком не подступал к горлу... Постояв минут десять, Узелков махнул рукой и пошел искать Шапкина.

Горе

Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст тридцать, а между тем дорога ужасная, с которой не справиться казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий, холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба, или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса, а когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергиванье головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлещет по лошадиной спине.

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Ты, Матрена, не плачь... – бормочет он. – Потерпи малость. В больницу, бог даст, приедем и мигом у тебя, это самое... Даст тебе Павел Иванович капелек, или кровь пустить прикажет, или, может, милости его угодно будет спиртиком каким тебя растереть, оно и тово... оттянет от бока. Павел Иванович постарается... Покричит, ногами потопочет, а уж постарается... Славный господин, обходительный, дай бог ему здоровья... Сейчас, как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры и начнет чертей перебирать. «Как? Почему такое? – закричит. – Почему не вовремя приехал? Нешто я собака какая, чтоб цельный день с вами, чертями, возиться? Почему утром не приехал? Вон! Чтоб и духу твоего не было. Завтра приезжай!» А я и скажу: «Господин доктор! Павел Иванович! Ваше высокоблагородие!» Да поезжай же ты, чтоб тебе пусто было, чёрт! Но!

Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос:

– «Ваше высокоблагородие! Истинно, как перед богом... вот вам крест, выехал я чуть свет. Где ж тут к сроку поспеть, ежели господь... мать божия... прогневался и метель такую послал? Сами изволите видеть... какая лошадь поблагороднее, и та не выедет, а у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота!» А Павел Иванович нахмурится и закричит: «Знаем вас! Завсегда оправдание найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю! Небось, раз пять в кабак заезжал!» А я ему: «Ваше высокоблагородие! Да нешто я злодей какой или нехристь? Старуха душу богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать! Что вы, помилуйте! Чтоб им пусто было, кабакам этим!» Тогда Павел Иванович прикажет тебя в больницу снести. А я в ноги... «Павел Иванович! Ваше высокоблагородие! Благодарим вас всепокорно! Простите нас, дураков, анафемов, не обессудьте нас, мужиков! Нас бы в три шеи надо, а вы изволите беспокоиться, ножки свои в снег марать!» А Павел Иванович взглянет этак, словно ударить захочет, и скажет: «Чем в ноги-то бухать, ты бы лучше, дурак, водки не лопал да старуху жалел. Пороть тебя надо!» – «Истинно пороть, Павел Иванович, побей меня бог, пороть! А как же нам в ноги не кланяться, ежели благодетели вы наши, отцы родные? Ваше высокоблагородие! Верно слово... вот как перед богом... плюньте тогда в глаза, ежели обману: как только моя Матрена, это самое, выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то всё, что соизволите приказать, всё для вашей милости сделаю! Портсигарчик, ежели желаете, из карельской березы... шары для крокета, кегли могу выточить самые заграничные... всё для вас сделаю! Ни копейки с вас не возьму! В Москве бы с вас за такой портсигарчик четыре рубля взяли, а я ни копейки». Доктор засмеется и скажет: «Ну, ладно, ладно... Чувствую! Только жалко, что ты пьяница»... Я, брат старуха, понимаю, как с господами надо. Нет того господина, чтоб я с ним не сумел поговорить. Только привел бы бог с дороги не сбиться. Ишь метет! Все глаза заворшило.

И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Слов на языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил доселе безмятежно, ровно, в пьяном полузабытии, не зная ни горя, ни радостей, и вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный лежебока и пьянчужка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой.

Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке начал браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно выражение ее старческих глаз было мученическое, кроткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят, теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. С этих, странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу, в надежде, что Павел Иванович порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд.

– Ты же, Матрена, тово... – бормочет он. – Ежели Павел Иванович спросит, бил я тебя или нет, говори: никак нет! А я тебя не буду больше бить. Вот те крест. Да нешто я бил тебя по злобе? Бил так, зря. Я тебя жалею. Другому бы и горя мало, а я вот везу... стараюсь. А метет-то, метет! Господи, твоя воля! Привел бы только бог с дороги не сбиться... Что, болит бок? Матрена, что ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю: болит бок?

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Странно ему кажется, что на лице у старухи не тает снег, странно, что само лицо как-то особенно вытянулось, приняло бледно-серый, грязно-восковой цвет и стало строгим, серьезным.

– Ну и дура! – бормочет токарь. – Я тебе по совести, как перед богом... а ты, тово... Ну и дура! Возьму вот и не повезу к Павлу Иванычу!

Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решается: страшно! Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтоб покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает как плеть.

– Померла, стало быть! Комиссия!

И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает: как на этом свете всё быстро делается! Не успело еще начаться его горе, как уж готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею сорок лет, но ведь эти сорок лет прошли, словно в тумане. За пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И, как на зло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может, страшно виноват перед ней.

– А ведь она по миру ходила! – вспоминает он. – Сам я посылал ее хлеба у людей просить, комиссия! Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить, а то, небось, думает, что я и взаправду такой. Мать пресвятая, да куда же к лешему я это еду? Теперь не лечить надо, а хоронить. Поворачивай!

Токарь поворачивает назад и изо всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится всё хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку, темный предмет оцарапает руки токаря, мелькнет перед его глазами, и поле зрения опять становится белым, кружащимся.

«Жить бы сызнова»... – думает токарь.

Вспоминает он, что Матрена лет сорок тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж потому, что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы, завалился на печку, так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы – хоть убей, ничего не помнит, кроме разве того, что пил, лежал, дрался. Так и пропали сорок лет.

Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки.

– Куда ж я еду? – спохватывается вдруг токарь. – Хоронить надо, а я в больницу... Ошалел словно!

Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и, фыркая, бежит мелкой рысцой. Токарь раз за разом хлещет ее по спине... Сзади слышится какой-то стук, и он, хоть не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойницы о сани. А воздух всё темнеет и темнеет, ветер становится холоднее и резче...

«Сызнова бы жить... – думает токарь. – Инструмент бы новый завести, заказы брать... деньги бы старухе отдавать... да!»

И вот он роняет вожжи. Ищет их, хочет поднять и никак не поднимет; руки не действуют...

«Всё равно... – думает он, – сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь... Покеда там похороны или панихида, прилечь бы».

Токарь закрывает глаза и дремлет. Немного погодя, он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду...

Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места... И он безмятежно засыпает.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Просыпается он в большой комнате с крашеными стенами. Из окон льет яркий солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием.

– Панихидку бы, братцы, по старухе! – говорит он. – Батюшке бы сказать...

– Ну, ладно, ладно! Лежи уж! – обрывает его чей-то голос.

– Батюшка! Павел Иваныч! – удивляется токарь, видя перед собой доктора. – Вашескородие! Благодетель!

Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются.

– Ваше высокородие! Ноги же мои где? Где руки?

– Прощайся с руками и ногами... Отморозил! Ну, ну... чего же ты плачешь? Пожил, и слава богу! Небось, шесть десятков прожил – будет с тебя!

– Горе!.. Вашескородие, горе ведь! Простите великодушно! Еще бы годочков пять-шесть...

– Зачем?

– Лошадь–то чужая, отдать надо... Старуху хоронить... И как на этом свете всё скоро делается! Ваше высокородие! Павел Иваныч! Портсигарик из карельской березы наилучший! Крокетик выточу...

Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю – аминь!

Ну, публика!

– Шабаш, не буду больше пить!.. Ни... ни за что! Пора уж за ум взяться. Надо работать, трудиться... Любишь жалованье получать, так работай честно, усердно, по совести, пренебрегая покоем и сном. Баловство брось... Привык, брат, задаром жалованье получать, а это вот и нехорошо... и нехорошо...

Прочитав себе несколько подобных нравоучений, обер-кондуктор Подтягин начинает чувствовать непреодолимое стремление к труду. Уже второй час ночи, но, несмотря на это, он будит кондукторов и вместе с ними идет по вагонам контролировать билеты.

– Вашш... билеты! – выкрикивает он, весело пощелкивая щипчиками.

Сонные фигуры, окутанные вагонным полумраком, вздрагивают, встряхивают головами и подают свои билеты.

– Вашш... билеты! – обращается Подтягин к пассажиру II класса, тощему, жилистому человеку, окутанному в шубу и одеяло и окруженному подушками. – Вашш... билеты!

Жилистый человек не отвечает. Он погружен в сон. Обер-кондуктор трогает его за плечо и нетерпеливо повторяет:

– Вашш... билеты!

Пассажир вздрагивает, открывает глаза и с ужасом глядит на Подтягина.

– Что? Кто? а?

– Вам говорят по-челаэчески: вашш... билеты! Па-а-трудитесь!

– Боже мой! – стонет жилистый человек, делая плачущее лицо. – Господи, боже мой! Я страдаю ревматизмом... три ночи не спал, нарочно морфию принял, чтоб уснуть, а вы... с билетом! Ведь это безжалостно, бесчеловечно! Если бы вы знали, как трудно мне уснуть, то не стали бы беспокоить меня такой чепухой... Безжалостно, нелепо! И на что вам мой билет понадобился? Глупо даже!

Подтягин думает, обидеться ему или нет, – и решает обидеться.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Вы здесь не кричите! Здесь не кабак! – говорит он.

– Да в кабаке люди человечней... – кашляет пассажир. – Изволь я теперь уснуть во второй раз! И удивительное дело: всю за границу объездил, и никто у меня там билета не спрашивал, а тут, словно чёрт их под локоть толкает, то и дело, то и дело!..

– Ну, и поезжайте за границу, ежели вам там нравится!

– Глупо, сударь! Да! Мало того, что морят пассажиров угаром, духотой и сквозняком, так хотят еще, чёрт ее подери, формалистикой добить. Билет ему понадобился! Скажите, какое усердие! Добро бы это для контроля делалось, а то ведь половина поезда без билетов едет!

– Послушайте, господин! – вспышивает Подтягин. – Вы извольте подтвердить ваши доводы! И ежели вы не перестанете кричать и беспокоить публику, то я принужден буду высадить вас на станции и составить акт об этом факте!

– Это возмутительно! – негодует публика. – Пристает к больному человеку! Послушайте, да имейте же сожаление!

– Да ведь они сами ругаются! – трусит Подтягин. – Хорошо, я не возьму билета... Как угодно... Только ведь, сами знаете, служба моя этого требует... Ежели б не служба, то, конечно... Можете даже начальника станции спросить... Кого угодно спросите...

Подтягин пожимает плечами и отходит от больного. Сначала он чувствует себя обиженным и несколько третированным, потом же, пройдя вагона два-три, он начинает ощущать в своей обер-кондукторской груди некоторое беспокойство, похожее на угрызения совести.

«Действительно, не нужно было будить больного, – думает он. – Впрочем, я не виноват... Они там думают, что это я с жиру, от нечего делать, а того не знают, что этого служба требует... Ежели они не верят, так я могу к ним начальника станции привести».

Станция. Поезд стоит пять минут. Перед третьим звонком в описанный вагон II класса входит Подтягин. За ним шествует начальник станции, в красной фуражке.

– Вот этот господин, – начинает Подтягин, – говорят, что я не имею полного права спрашивать с них билет, и... и обижаются. Прошу вас, господин начальник станции, объяснить им – по службе я требую билет или зря? Господин, – обращается Подтягин к жилистому человеку. – Господин! Можете вот начальника станции спросить, ежели мне не верите.

Больной вздрагивает, словно ужаленный, открывает глаза и, сделав плачущее лицо, откидывается на спинку дивана.

– Боже мой! Принял другой порошок и только что задремал, как он опять... опять! Умоляю вас, имейте вы сожаление!

– Вы можете поговорить вот с господином начальником станции... Имею я полное право билет спрашивать или нет?

– Это невыносимо! Нате вам ваш билет! Нате! Я куплю еще пять билетов, только дайте мне умереть спокойно! Неужели вы сами никогда не были больны? Бесчувственный народ!

– Это просто издевательство! – негодует какой-то господин в военной форме. – Иначе я не могу понять этого пристава...

– Оставьте... – морщится начальник станции, дергая Подтягина за рукав.

Подтягин пожимает плечами и медленно уходит за начальником станции.

«Изволь тут угодить! – недоумекает он. – Я для него же позвал начальника станции, чтоб он понимал, успокоился, а он... ругается».

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Другая станция. Поезд стоит десять минут. Перед вторым звонком, когда Подтягин стоит около буфета и пьет сельтерскую воду, к нему подходят два господина, один в форме инженера, другой в военном пальто.

– Послушайте, г. обер-кондуктор! – обращается инженер к Подтягину. – Ваше поведение по отношению к больному пассажиру возмутило всех очевидцев. Я инженер Пузицкий, это вот... господин полковник. Если вы не извинитесь перед пассажиром, то мы подадим жалобу начальнику движения, нашему общему знакомому.

– Господа, да ведь я... да ведь вы... – оторопел Подтягин.

– Объяснений нам не надо. Но предупреждаем, если не извинитесь, то мы берем пассажира под свою защиту.

– Хорошо, я... я, пожалуй, извинюсь... Извольте...

Через полчаса Подтягин, придумав извинительную фразу, которая бы удовлетворила пассажира и не умалила его достоинства, входит в вагон.

– Господин! – обращается он к больному. – Послушайте, господин!

Больной вздрагивает и вскакивает.

– Что?

– Я тово... как его?.. Вы не обижайтесь...

– Ох... воды... – задыхается больной, хватаясь за сердце. – Третий порошок морфия принял, задремал и... опять! Боже, когда же, наконец, кончится эта пытка!

– Я тово... Вы извините...

– Слушайте... Высадите меня на следующей станции... Более терпеть я не в состоянии. Я... я умираю...

– Это подло, гадко! – возмущается публика. – Убирайтесь вон отсюда! Вы заплатите за подобное издевательство! Вон!

Подтягин машет рукой, вздыхает и выходит из вагона. Идет он в служебный вагон, садится изнеможенный за стол и жалуется:

«Ну, публика! Извольте вот ей угодить! Извольте вот служить, трудиться! Поневоле плюнешь на всё и запьешь... Ничего не делаешь – сердятся, начнешь делать – тоже сердятся... Выпить!»

Подтягин выпивает сразу полбутылки и больше уже не думает о труде, долге и честности.

Тряпка
(Сценка)

Был вечер. Секретарь провинциальной газеты «Гусиный вестник» Пантелей Диомидыч Кокин шел в дом фабриканта, коммерции советника Блудыхина, где в этот вечер имел быть любительский спектакль, а после оно танцы и ужин.

Секретарь был весел, счастлив и доволен. Будущее представлялось ему блестящим... Он воображал, как он, пахнувший духами, завитой и галантный, войдет в большую освещенную залу. На лицо он напустит меланхолию и равнодушие, в походку и в пожимание плечами вложит чувство собственного достоинства, говорить будет небрежно, нехотя, взгляду постарается придать выражение усталое, насмешливое, одним словом, будет держать себя как представитель печати! Проходящие мимо него кавалеры и барышни будут переглядываться и шептаться:

– Это из редакции. Недурен!

Он в «Гусином вестнике» только секретарь. Его дело не путать адреса, принимать подписку и газетку, чтоб типографские не крали редакционного сахара – только, но кому из публики известен круг его деятельности? Раз он из редакции, стало быть,

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru он литератор, хранилище редакционных тайн. Боже, а как действуют на женщин редакционные тайны! Кокин, наверное, встретит на вечере Клавдию Васильевну. Он норовит пройти мимо нее раз пять и сделать вид, что не замечает ее. Когда она выйдет из терпения и первая окликнет его, он небрежно поздоровается с ней, слегка зевнет, взглянет на часы и скажет:

– Какая скука! Хоть бы скорей кончалась эта чепуха... Уже двенадцать часов, а мне еще нужно номер выпустить и просмотреть кое-какие статейки...

Клавдия Васильевна поглядит на него с благоговением, снизу вверх, как глядят на монументы. Очень возможно, что она спросит, кто это в последнем номере поместил такое язвительное стихотворение про актрису Кишкину-Брандахлыцкую? Тогда он поднимет глаза к потолку, таинственно промычит и скажет: «М-да»... Пусть думает она, что это он написал! За сим танцы, ужин, выпивка... После выпивки блаженное настроение, провожание Клавдии Васильевны до ее дома и мечты, мечты... Конечно, всё это суетно, мелочно, не серьезно, но ведь молодость имеет свои права, господа!

У освещенного подъезда Блудыхинского дома секретарь увидел два ряда экипажей. Двери отворял и затворял толстый швейцар с булавой. Верхнее платье принимали лакеи, одетые в синие фраки и красные жилетки. Антре[83] было великолепное, с цветами, коврами и зеркалами. Секретарь небрежно сбросил на руки лакея свою шубу, провел рукой по волосам, поднял с достоинством голову...

– Из редакции! – проговорил он, поравнявшись с двумя лакеями, которые стояли на нижней ступени антре и отрывали углы у билетов...

– Нельзя! нельзя! Не пускать! – послышался в это время сверху резкий, металлический голос. – Не пускать!

Кокин взглянул вверх. Там на верхней ступени стоял толстый человек во фраке и глядел прямо на него. Будучи уверен, что резкий голос не к нему относится, секретарь занес ногу на ступень, но в это время к ужасу своему заметил, что лакеи делают движение, чтобы загородить ему дорогу.

– Не пускать! – повторил толстяк.

– То есть... почему же меня не пускать? – обомлел Кокин. – Я из редакции!

– Потому-то и не пускать, что из редакции! – ответил толстяк, раскланиваясь с какой-то дамой. – Нельзя!

Секретарь ошалел, точно его оглоблей по голове съездили. Прежде всего он ужасно сконфузился. Как хотите, а густой запах фиолетовых перчаток, новые перчатки и завитая голова плохо вяжутся с униженной ролью человека, которого не пускают и перед которым лакеи растопыривают руки, да еще при дамах, при прислуге! Кроме стыда, недоумения и удивления, секретарь почувствовал в себе пустоту, разочарование, словно кто взял и отрезал в нем ножницами мечты о предстоящих радостях. Так должны чувствовать себя люди, которые вместо ожидаемой «благодарности» получают подзатыльник.

– Я не понимаю... я из редакции! – забормотал Кокин. – Пустите!

– Не велено-с! – сказал лакей. – Отойдите-с от лестницы, вы проходить мешаете.

– Странно! – пробормотал секретарь, стараясь улыбнуться с достоинством. – Очень странно... Гм.

Мимо него с веселым смехом и шурша модными платьями одна за другой проходили барышни и дамы... То и дело хлопала дверь, пролетал по передней сквозной ветер, и на лестницу всходила новая партия гостей...

«Почему же это не велено меня пускать? – недоумевал секретарь, всё еще не придя в себя от неожиданного реприманда и даже не веря своим глазам. – Тот толстый сказал, что потому-то и не пускать, что я из редакции... Но почему же? Чёрт их подери... Не дай бог, знакомые увидят, что я здесь мерзну, спросят, в чем дело... Срам!»

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Кокин сделал еще раз попытку ступить на лестницу, но его еще раз осадили... Он пожал плечами, высморкался, подумал, опять подошел к лакеям... его опять осадили. Наверху заиграл оркестр. У секретаря затрепетало под сердцем, захватило дух от желания поскорее очутиться в большой зале, держать высоко голову, играть терпением Клавдии Васильевны. Музыка сразу воскресила и взбудоражила в нем мечты, которыми он услаждал себя, идя на вечер...

– Послушайте, – крикнул он толстяку, который то появлялся наверху, то исчезал. – Отчего меня не пускают?

– Что-с? Из редакции никого не пускать!

– Но... но почему же? Вы объясните, по крайней мере!

– Г-н Блудыхин не велел! Не мое дело-с! Мне не велено, я и не пускаю!.. Позвольте пройти даме! Ты же смотри, Андрей, из редакции никого! Не велел хозяин!

Кокин пожал плечами и, чувствуя, как глупо и некстати это пожатие, отошел от лестницы... Что делать? Конечно, самое лучшее, что мог сделать в данном случае Кокин, это – побежать скорее в редакцию и сообщить редактору, что дурак Блудыхин сделал такое-то распоряжение. Редактор бы удивился, засмеялся и сказал: «Ну, не идиот ли? Нашел чем мстить за рецензии! Не понимает, осел, что если мы ходим на его вечера, то этим самым не он нам делает одолжение, а мы ему! Ах, да и дурак же, господи помилуй! Ну, погоди же, поднесу я тебе в завтрашнем номере гвоздику!»

Так бы отнесся к событию редактор... Ну, а дальше что? Дальше секретарь, как порядочный человек, должен был бы остаться дома и пренебречь Блудыхиным. Этого потребовали бы и его гордость и достоинство редакции. Но, господа, всё это хорошо в теории, на практике же, когда куплены новые перчатки, заплачено цирюльнику за завивку, когда там наверху ждали Клавдия Васильевна, закуска и выпивка, совсем нехорошо...

«Ждал этого вечера два месяца, мечтал, готовился! – думал Кокин. – Целых два месяца ходил по городу, нового сюртука искал... дал слово Клавдии и вдруг... Нет, это невозможно! Тут недоразумение какое-нибудь... Ей-богу, недоразумение! И в редакцию незачем ходить, стоит только с распорядителем поговорить...»

– Послушайте! – обратился Кокин к толстяку, – вы позвольте мне хоть наверх пойти... В залу я не войду, а поговорю только с распорядителем или с г. Блудыхиным!

– Идите, только знайте, что в залу вас ни за что не пустят!

«Боже мой! – думал Кокин, идя вверх по лестнице. – Эти две дамы, что идут, слышали его слова... Срам! Стыд! Уйти бы мне, ей-богу...»

Наверху, около входа в залу, стоял рыженький распорядитель с бантом на лацкане. Тут же за столиком сидела какая-то разодетая дама и продавала афишки.

– Скажите, пожалуйста, – обратился к ним секретарь плачущим голосом, – отчего это распорядились не пускать никого из редакции? За что?

– Сами вы, господа, виноваты! – отвечал рыженький. – Вам почетные билеты посылают, вас в первый ряд всегда сажают, а вы пасквили пишете...

– Господи, да ведь... Послушайте...

В это время за дверью послышались громкие аплодисменты и симпатичный голос княжны Рожкиной, певшей «Я вновь пред тобою...» У секретаря затрепетало под сердцем. Муки Тантала были ему не по силам.

– Какие же пасквили? – обратился он к даме. – Положим, сударыня, в газете и были пасквили, но чем же я виноват? Виноват редактор, сотрудники, а я-то тут при чем? Я только секретарь... на манер бухгалтера. Я совсем не писатель... Ей-богу, я не писатель! Послушайте, я даже честное слово даю, что я не писатель!

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Мы ничего не можем для вас сделать, – вздохнула дама. – Это приказание самого Блудыхина... Впрочем... вы можете купить билет!

«Чёрт возьми, как же мне это раньше не пришло в голову?» – подумал Кокин и тотчас же вспомнил, что у него в кармане только сорок копеек, взятые им на случай, ежели Клавдия Васильевна захочет, чтоб ее провожали на извозчике. – В таком случае я поговорю с Блудыхиным! – сказал он.

– Подождите антракта...

Кокин стал ждать... За дверью трещали аплодисменты, пели знакомые женские голоса, смеялись... Там кипела жизнь! А бедный секретарь стоял перед дверью в позе кающегося грешника, à la Генрих в каноссе[84], и глядел на дверь, как лошадь, которая чуёт близко присутствие овса, но не видит его... Долго он ждал антракта, но наконец за дверью задвигались стулья, зашумели, заговорили; распахнулась дверь, и в коридор повалила публика.

«А ведь счастье было так близко, так возможно![85] – подумал секретарь, заглянув в открывшуюся дверь. – Нет, я не могу даже допустить мысли, что меня не пустят...»

Скоро показался сам Блудыхин, розовый, сияющий... Кокин заходил около него, долго не решался заговорить с ним и наконец решился...

– Виноват–с... я побеспокою вас... Вы, Анисим Иваныч, приказали никого не впускать из редакции...

– Да, так что же?

– Я и пришел вот... Но я не понимаю! Вы согласитесь сами! Чем я виноват? Редакторы или сотрудники виноваты, их и не пускайте, но я... честное слово, не писатель!..

– Ааа... вы, стало быть, из редакции? – спросил Блудыхин, растопыривая ноги в виде буквы А и закидывая назад голову. – Вы, конечно, в претензии? Но послушайте! Пусть будет свидетельницей публика! Господа публика, будьте судьями! Вот господин корреспондент на меня в претензии за то, так сказать, что я... эээ... некоторым образом выказал протест... Взгляд мой на печать, надеюсь, известен. Я всегда за печать! Но, господа... (Блудыхин состроил умоляющее лицо) господа, надо же иметь границы! Ругайте вы актеров, пьесу, обстановку, но зачем писать несообразности? Зачем? В последнем номере вашей газеты была великолепная статья... ве-ли-ко-лепная! Но, описывая живую картину «Юдифь и Олоферн»[86], в которой участвовала моя дочь, он... Бог знает что! Меч, говорит, который держала в руках Юдифь, так, говорит, длинен, что им можно зарезать только издали или же взлезши на крышу... При чем тут крыша? Моя дочь прочла и... заплакала! Это, господа, не критика! Не-ет-с, это не критика! Это личности! Придрался человек к мечу, просто чтоб насолить мне...

– Я... я с вами согласен! – залепетал Кокин, чувствуя на себе сотни глаз. – Я сам всегда против ругательств... Но, ей-богу... ну, при чем тут я? Я, честное слово, не писатель! Я секретарь... Я вам даже больше скажу, но... между нами, конечно... статью эту писал сам редактор... («к чему я, скотина, это говорю?» – подумал Кокин.) Но он хороший... честный человек. Если и написал что-нибудь этакое, то нечаянно... по легкомыслию...

Овечий тон секретаря умилил Блудыхина. Коммерции советник взял за пуговицу Кокина и принялся снова выкладывать перед ним свой взгляд на печать. В груди секретаря закопошилась сразу тысяча чувств. Ему было лестно, что с ним откровенничает такая важная птица, как Блудыхин; он чувствовал, что его сейчас, наверное, впустят в залу, что недоразумение уже кончено, что он опять может мечтать... но в то же время ему было страшно совестно, гнусно, мерзко... Он чувствовал, что благодаря своей тряпичности предал себя, редактора, «Гусиный вестник», предал публично, при знакомых, как самый последний Иуда! Ему бы нужно было наплевать, выругаться, посмеяться, а он просил, унижался, чуть ли не плакал... Ах!

Блудыхин говорил, говорил. Порисовавшись и поломавшись вдоволь, он уже взял секретаря под руку, и уже секретарь был у входа в Эдем, как послышался крик:

– Анисим Иваныч! Генерал приехал!

Блудыхин встрепенулся и, оставив Кокина, опрометью полетел вниз по лестнице. Секретарь постоял немного, походил, поправил галстук. Он уж ничего не ждал, не желал. Когда началось второе действие и он подошел к двери, распорядитель не пустил его.

– Блудыхин нам ничего не сказал. Нельзя!

Через десять минут секретарь скреб своими большими калошами мерзлую землю. Он шел домой, но лучше, если бы он шел в прорубь! Ему было стыдно, противно. Противны были ему и его запах духов, и новые перчатки, и завитая голова. Так бы он и ударил себя по этой голове!

Моя беседа с Эдисоном
(От нашего собственного корреспондента)

Я был у Томаса Эдисона. Это очень милый, приличный малый. Все комнаты его завалены телефонами, микрофонами, фотофонами и прочими «фонами».

– Я русский! – отрекомендовался я Эдисону. – Много наслышан о ваших талантах. Хотя ваши изобретения и не вошли еще в программу наших средне-учебных заведений, но, тем не менее, ваше имя часто упоминается в газетных «смесях».

– Очень рад, но предупреждаю вас, что дать вам денег взаймы, ей-богу, не могу!

– Я и не прошу! – сконфузился я от такого неожиданного афронта.

– Вы извините, но я читал и слышал, что брать у всех взаймы – национальная особенность русских.

– Помилуйте, что вы!

Посидели, поболтали.

– Ну, что изобрели хорошенького? – спросил я. – Чай, чёртову пропасть наизобретали всякой всячины! Например, это что за висюлька?

– Это гастрономофон... Вы ставите перед этим отверстием раскаленный уголь... закручиваете этот винтик, придавливаете эту штучку, отмыкаете ток и за сто, двести миль отсюда получаете отражение угля в увеличенном виде. На отражении вы можете варить и жарить всё, что вам угодно...

– Аааа... скажите! А это что такое?

– Это вещь крайне необходимая для туристов. Рекомендую вашему вниманию. На наши деньги стоит рубль, на ваши – три рубля. Положим, вы уезжаете из России в Америку и оставляете дома жену. Путешествуете вы год, два, три... и чем вы можете поручиться, что дорогой вам не захочется иметь сына, которому вы могли бы оставить свое доброе имя? Тогда стоит только подойти к этой проволоке, проделать кое-какие манипуляции, и на другой же день вы получаете телеграмму: сын родился!

– Аааа... Но у нас, Томас Иваныч, это еще проще делается. Поедешь в Америку, а дома приятеля оставишь... Телеграммы, конечно, не получишь, но зато, когда домой возвратишься, найдешь у себя не одного, а трех-четырех: здравствуйте, папаша! У нас один доктор был командирован за границу с ученою целью. Приезжает обратно, а у него девять дочек.

– И что же?

– И ничего! Объяснил себе как-то по-ученому: мерцательный эпителий, кровяное давление, то да се... А это что за мантифолия?

– Это пластинка для расследования мыслей. Стоит только приложить ее ко лбу испытуемого, пустить ток – и тайны разоблачены...

– Аааа... Впрочем, у нас это проще делается. Залезешь в письменный стол, распечатаешь письмо, два, три и – всё, как на ладони! У нас бишопизм[87] в сильном ходу!

И таким образом я осмотрел все новые изобретения. Мои похвалы так понравились Эдисону, что, прощаясь со мной, он не вытерпел и сказал:

– Ну, так и быть уж, бог с вами! Нате вам займы!

Святая простота
(Рассказ)

К отцу Савве Жезлову, престарелому настоятелю Свято-Троицкой церкви в городе П., неожиданно-негаданно прикатил из Москвы сын его Александр, известный московский адвокат. Вдовый и одинокий старик, узрев свое единственное детище, которого он не видал лет 12–15, с тех самых пор, как проводил его в университет, побледнел, затрясся всем телом и окаменел. Радостям и восторгам конца не было.

Вечером в день приезда отец и сын беседовали. Адвокат ел, пил и умилялся.

– А у тебя здесь хорошо, мило! – восторгался он, ерзая на стуле. – Уютно, тепло, и пахнет чем-то таким патриархальным. Ей-богу, хорошо!

Отец Савва, заложив руки назад и, видимо, ломаясь перед старухой-кухаркой, что у него такой взрослый и галантный сын, ходил около стола и старался в угоду гостю настроить себя на «ученый» лад.

– Такие-то, брат, факты... – говорил он. – Вышло именно так, как я желал в сердце своем: и ты и я – оба по образованной части пошли. Ты вот в университете, а я в киевской академии кончил, да... По одной стезе, стало быть... Понимаем друг друга... Только вот не знаю, как нынче в академиях. В мое время сильно на классицизм налегали и даже древнееврейский язык учили. А теперь?

– Не знаю. А у тебя, батя, бедовая стерлядь. Уже сыт, но еще съем.

– Ешь, ешь. Тебе нужно больше есть, потому что у тебя труд умственный, а не физический... гм... не физический... Ты университетант, головой работаешь. Долго гостить будешь?

– Я не гостить приехал. Я, батя, к тебе случайно, на манер *deus ex machina*. Приехал сюда на гастроли, вашего бывшего городского голову защищать. Вероятно, знаешь, завтра у вас суд будет.

– Тэк-с... Стало быть, ты по судебной части? Юристу?

– Да, я присяжный поверенный.

– Так... Помогай бог. Чин у тебя какой?

– Ей-богу, не знаю, батя.

«Спросить бы о жалованье, – подумал отец Савва, – но по-ихнему это вопрос нескромный... Судя по одежде и в рассуждении золотых часов, должно полагать, больше тысячи получает».

Старик и адвокат помолчали.

– Не знал я, что у тебя стерляди такие, а то бы я к тебе в прошлом году приехал, – сказал сын. – В прошлом году я тут недалеко был, в вашем губернском городе. Смешные у вас тут города!

– Именно смешные... хоть плюнь! – согласился отец Савва. – Что поделаешь! Далек от умственных центров... предрассудки. Не проникла еще цивилизация...

– Не в том дело... Ты послушай, какой анекдот со мной вышел. Захожу я в ваш губернский город в театр, иду в кассу за билетом, а мне и говорят: спектакля не будет, потому что еще ни одного билета не продано! А я и спрашиваю: как велик ваш полный сбор? Говорят, триста рублей! Скажите, говорю, чтоб играли, я плачу триста... Заплатил от скуки триста рублей, а как стал глядеть их раздирательную драму, то еще скучнее стало... Ха-ха...

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Отец Савва недоверчиво поглядел на сына, поглядел на кухарку и хихикнул в кулак...

«Вот врет-то!» – подумал он.

– Где же ты, Шуренька, взял эти триста рублей? – спросил он робко.

– Как где взял? Из своего кармана, конечно...

– Гм... Сколько же ты, извини за нескромный вопрос, жалованья получаешь?

– Как когда... В иной год тысяч тридцать заработаю, а в иной и двадцати не наберется... Годы разные бывают.

«Вот врет-то! Хо-хо-хо! Вот врет! – подумал отец Савва, хохоча и любовно глядя на посоловешее лицо сына. – Брехлива молодость! Хо-хо-хо... Хватил – тридцать тысяч!»

– Невероятно, Сашенька! – сказал он. – Извини, но... хо-хо-хо... тридцать тысяч! За эти деньги два дома построить можно...

– Не веришь?

– Не то что не верю, а так... как бы этак выразиться... ты уж больно тово... Хо-хо-хо... Ну, ежели ты так много получаешь, то куда же ты деньги деваешь?

– Проживаю, батя... В столице, брат, кусается жизнь. Здесь нужно тысячу прожить, а там пять. Лошадей держу, в карты играю... покучиваю иногда.

– Это так... А ты бы копил!

– Нельзя... Не такие у меня нервы, чтоб копить... (адвокат вздохнул). Ничего с собой не поделаю. В прошлом году купил я себе на Полянке дом за шестьдесят тысяч. Все-таки подмога к старости! И что ж ты думаешь? Не прошло и двух месяцев после покупки, как пришлось заложить. Заложил и все денежки – фюить! Овое в карты проиграл, овое пропил.

– Хо-хо-хо! Вот врет-то! – взвизгнул старик. – Занятно врет!

– Не вру я, батя.

– Да нешто можно дом проиграть или прокутить?

– Можно не то что дом, но и земной шар пропить. Завтра я с вашего головы пять тысяч сдеру, но чувствую, что не довезти мне их до Москвы. Такая у меня планида.

– Не планида, а планета, – поправил отец Савва, кашлянув и с достоинством поглядев на старуху-кухарку. – Извини, Шуренька, но я сомневаюсь в твоих словах. За что же ты получаешь такие суммы?

– За талант...

– Гм... Может, тысячи три и получаешь, а чтоб тридцать тысяч, или, скажем, дома покупать, извини... сомневаюсь. Но оставим эти пререкания. Теперь скажи мне, как у вас в Москве? Чай, весело? Знакомых у тебя много?

– Очень много. Вся Москва меня знает.

– Хо-хо-хо! Вот врет-то! Хо-хо! Чудеса и чудеса, брат, ты рассказываешь.

Долго еще в таком роде беседовали отец и сын. Адвокат рассказал еще про свою женитьбу с сорокатысячным приданым, описал свои поездки в Нижний, свой развод, который стоил ему десять тысяч. Старик слушал, всплескивал руками, хохотал.

– Вот врет-то! Хо-хо-хо! Не знал я, Шуренька, что ты такой мастер балясы точить! Хо-хо-хо! Это я тебе не в осуждение. Мне занятно тебя слушать. Говори, говори.

– Но, однако, я заболтался, – кончил адвокат, вставая из-за стола. – Завтра разбирательство, а я еще дела не читал. Прощай.

Проводив сына в свою спальню, отец Савва предался восторгам.

– Каков, а? Видала? – зашептал он кухарке. – То-то вот и есть... Университант, гуманный, эмансипе, а не устыдился старика посетить. Забыл отца и вдруг вспомнил. Взял да и вспомнил. Дай, подумал, своего старого хрена вспомню! Хо-хо-хо. Хороший сын! Добрый сын! И ты заметила? Он со мной, как с ровней... своего брата ученого во мне видит. Понимает, стало быть. Жалко, дьякона мы не позвали, поглядел бы.

Изливши свою душу перед старухой, отец Савва на цыпочках подошел к своей спальне и заглянул в замочную скважину. Адвокат лежал на постели и, дымя сигарой, читал объемистую тетрадь. Возле него на столике стояла винная бутылка, которой раньше отец Савва не видел.

– Я на минуточку... поглядеть, удобно ли, – забормотал старик, входя к сыну. – Удобно? Мягко? Да ты бы разделся.

Адвокат промычал и нахмурился. Отец Савва сел у его ног и задумался.

– Так-с... – начал он после некоторого молчания. – Я всё про твои разговоры думаю. С одной стороны, благодарю за то, что повеселил старика, с другой же стороны, как отец и... и образованный человек, не могу умолчать и воздержаться от замечания. Ты, я знаю, шутил за ужином, но ведь, знаешь, как вера, так и наука осудили ложь даже в шутку. Кгм... Кашель у меня. Кгм... Извини, но я как отец. Это у тебя откуда же вино?

– Это я с собой привез. Хочешь? Вино хорошее, восемь рублей бутылка.

– Во-семь? Вот врет-то! – всплеснул руками отец Савва. – Хо-хо-хо! Да за что тут восемь рублей платить? Хо-хо-хо! Я тебе самого наилучшего вина за рубль куплю. Хо-хо-хо!

– Ну, маршируй, старче, ты мне мешаешь... Айда!

Старик, хихикая и всплескивая руками, вышел и тихо затворил за собою дверь. В полночь, прочитав «правила» и заказав старухе завтрашний обед, отец Савва еще раз заглянул в комнату сына.

Сын продолжал читать, пить и дымить.

– Спать пора... раздевайся и туши свечку... – сказал старик, внося в комнату сына запах ладана и свечной гари. – Уже двенадцать часов... Ты это вторую бутылку? Ого!

– Без вина нельзя, батя... Не возбудишь себя, дела не сделаешь.

Савва сел на кровать, помолчал и начал:

– Такая, брат, история... М-да... Не знаю, буду ли жив, увижу ли тебя еще раз, а потому лучше, ежели сегодня преподам тебе завет мой... Видишь ли... За всё время сорокалетнего служения моего скопил я тебе полторы тысячи денег. Когда умру, возьми их, но...

Отец Савва торжественно высморкался и продолжал:

– Но не транжирь их и храни... И, прошу тебя, после моей смерти пошли племяннице Вареньке сто рублей. Если не пожалеешь, то и Зинаиде рублей 20 пошли. Они сироты.

– Ты им пошли все полторы тысячи... Они мне не нужны, батя...

– Врешь?

– Серьезно... Всё равно растрянжирю.

– Гм... Ведь я их копил! – обиделся Савва. – Каждую копейку для тебя складывал...

– Изволь, под стекло я положу твои деньги, как знак родительской любви, но так

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
они мне не нужны... Полторы тысячи – фи!

– Ну, как знаешь... Знал бы я, не хранил, не лелеял... Спи!

Отец Савва перекрестил адвоката и вышел. Он был слегка обижен... Небрежное, безразличное отношение сына к его сорокалетним сбережениям его сконфузило. Но чувство обиды и конфуза скоро прошло... Старика опять потянуло к сыну поболтать, поговорить «по-ученому», вспомнить былое, но уже не хватило смелости обеспокоить занятого адвоката. Он ходил, ходил по темным комнатам, думал, думал и пошел в переднюю поглядеть на шубу сына. Не помня себя от родительского восторга, он охватил обеими руками шубу и принялся обнимать ее, целовать, крестить, словно это была не шуба, а сам сын, «университант»... Спать он не мог.

Шило в мешке

На обывательской тройке, проселочными путями, соблюдая строжайшее инкогнито, спешил Петр Павлович Посудин в уездный городишко N, куда вызывало его полученное им анонимное письмо.

«Накрыть... Как снег на голову... – мечтал он, пряча лицо свое в воротник. – Натворили мерзостей, пакостники, и торжествуют, небось, воображают, что концы в воду спрятали... Ха-ха... Воображаю их ужас и удивление, когда в разгар торжества послышится: „А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!“ [88] То-то переполох будет! Ха-ха...»

Намечтавшись вдоволь, Посудин вступил в разговор со своим возницей. Как человек, алчущий популярности, он прежде всего спросил о себе самом:

– А Посудина ты знаешь?

– Как не знать! – ухмыльнулся возница. – Знаем мы его!

– Что же ты смеешься?

– Чудное дело! Каждого последнего писаря знаешь, а чтоб Посудина не знать! На то он здесь и поставлен, чтоб его все знали.

– Это так... Ну, что? Как он, по-твоему? Хорош?

– Ничего... – зевнул возница. – Господин хороший, знает свое дело... Двух годов еще нет, как его сюда прислали, а уж наделал делов.

– Что же он такое особенное сделал?

– Много добра сделал, дай бог ему здоровья. Железную дорогу выхлопотал, Хохрюкова в нашем уезде уволянил... Конца краю не было этому Хохрюкову... Шельма был, выжига, все прежние его руку держали, а приехал Посудин – и загудел Хохрюков к чёрту, словно его и не было... Во, брат! Посудина, брат, не подкупишь, не-ет! Дай ты ему хоть сто, хоть тыщу, а он не станет тебе принимать грех на душу... Не-ет!

«Слава богу, хоть с этой стороны меня поняли, – подумал Посудин, ликуя. – Это хорошо».

– Образованный господин... – продолжал возница, – не гордый... Наши ездили к нему жалиться, так он словно с господами: всех за ручку, «вы, садитесь»... Горячий такой, быстрый... Слова тебе путем не скажет, а всё – фырк! фырк! Чтоб он тебе шагом ходил, или как – ни боже мой, а норовит всё бегом, всё бегом! Наши ему и слова сказать не успели, как он: «Лошадей!!» – да прямо сюда... Приехал и всё обделал... ни копейки не взял. Куда лучше прежнего! Конечно, и прежний, хорош был. Видный такой, важный, звончее его во всей губернии никто не кричал... Бывало, едет, так за десять верст слышать; но ежели по наружной части или внутренним делам, то нынешний куда ловчее! У нынешнего в голове этой самой мозги во сто раз больше... Одно только горе... Всем хорош человек, но одна беда: пьяница!

«Вот так клюква!» – подумал Посудин.

– Откуда же ты знаешь, – спросил он, – что я... что он пьяница?

– Оно, конечно, ваше благородие, сам я не видал его пьяного, не стану врать, но

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
люди сказывали. И люди-то его пьяным не видали, а слава такая про него ходит... При публице, или куда в гости пойдет, на бал, это, или в общество, никогда не пьет. Дома хлещет... Встанет утром, протрет глаза и первым делом – водки! Камердин принесет ему стакан, а он уж другого просит... Так целый день и глушит. И скажи ты на милость: пьет, и ни в одном глазе! Стало быть, соблюдать себя может. Бывало, как наш Хохрюков запьет, так не то что люди, даже собаки воют. Посудин же – хоть бы тебе нос у него покраснел! Запрется у себя в кабинете и локает... Чтoб люди не приметили, он себе в столе ящик такой приспособил, с трубочкой. Всегда в этом ящике водка... Нагнешься к трубочке, пососешь, и пьян... В карете тоже, в портфеле...

«Откуда они знают? – ужаснулся Посудин. – Боже мой, даже это известно! Какая мерзость...»

– А вот тоже насчет женского пола... Шельма! (возница засмеялся и покрутил головой). Безобразие, да и только! Штук десять у него этих самых... вертефлюх.. Две у него в доме живут... Одна у него, эта Настасья Ивановна, как бы заместо распорядительши, другая – как ее, чёрт? – Людмила Семеновна, на манер писарши... Главнее всех Настасья. Эта что захочет, он всё делает... Так и вертит им, словно лиса хвостом. Большая власть ей дадена. И его так не боятся, как ее... Ха-ха... А третья вертуха на Качальной улице живет... Срамота!

«Даже по именам знает, – подумал Посудин, краснея. – И кто же знает? Мужик, ямщик... который и в городе-то никогда не бывал!.. Какая мерзость... гадость... пошлость!»

– Откуда же ты всё это знаешь? – спросил он раздраженным голосом.

– Люди сказывали... Сам я не видал, но от людей слыхивал. Да узнать нешто трудно? Камердину или кучеру языка не отрежешь... Да, чай, и сама Настасья ходит по всем переулкам да счастьем своим бабьим похвалеется. От людского глаза не скроешься... Вот тоже взял манеру этот Посудин потихоньку на следствия ездить... Прежний, бывало, как захочет куда ехать, так за месяц дает знать, а когда едет, так шуму этого, грому, звону и... не приведи создатель! И спереди его скачут, и сзади скачут, и с боков скачут. Приедет к месту, выпится, наестся, напьется, и давай по служебной части глотку драть. Подерет глотку, потопочет ногами, опять выпится и тем же порядком назад... А нынешний, как прослышит что, норовит съездить потихоньку, быстро, чтоб никто не видал и не знал... Па-а-теха! Выйдет неприметно из дому, чтоб чиновники не видали, и на машину... Доедет до какой ему нужно станции и не то что почтовых или что поблагородней, а норовит мужика нанять. Закутается весь, как баба, и всю дорогу хрипит, как старый пес, чтоб голоса его не узнали. Просто кишки порвешь со смеху, когда люди рассказывают... Едет, дурень, и думает, что его узнать нельзя. А узнать его, ежели которому понимающему человеку – тьфу! раз плюнуть...

– Как же его узнают?

– Очень просто. Прежде, как наш Хохрюков потихоньку ездил, так мы его по тяжелым рукам узнавали. Ежели седок бьет по зубам, то это, значит, и есть Хохрюков. А Посудина сразу увидеть можно... Простой пассажир просто себя и держит, а Посудин не таковский, чтоб простоту соблюдать. Приедет, скажем, хоть на почтовую станцию, и начнет!.. Ему и воняет, и душно, и холодно... Ему и цыплят подавай, и фрухтов, и вареньев всяких... Так на станциях и знают: ежели кто зимой спрашивает цыплят и фрухтов, то это и есть Посудин. Ежели кто говорит смотрителю «милейший мой» и гоняет народ за разными пустяками, то и божиться можно, что это Посудин. И пахнет от него не так, как от людей, и ложится спать на свой манер... Ляжет на станции на диване, попрыщет около себя духами и велит около подушки три свечки поставить. Лежит и бумаги читает... Уж тут не то что смотритель, но и кошка разберет, что это за человек такой...

«Правда, правда... – подумал Посудин. – И как я этого раньше не знал!»

– А кому есть надобность, то и без фрухтов и без цыплят узнает. По телеграфу всё известно... Как там ни кутай рыла, как ни прячься, а уж тут знают, что едешь. Ждут... Посудин еще у себя из дому не выходил, а тут уж – сделай одолжение, всё готово! Приедет он, чтоб их на месте накрыть, под суд отдать или сменить кого, а они над ним же и посмеются. Хоть ты, скажут, ваше сиятельство, и потихоньку приехал, а гляди: у нас всё чисто!.. Он повернется, повернется да с тем и уедет,

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru с чем приехал... Да еще похвалит, руки пожмет им всем, извинения за беспокойство попросит... Вот как! А ты думал как? Хо-хо, ваше благородие! Народ тут ловкий, ловкач на ловкаче!.. Глядеть любо, что за черти! Да вот, хоть нынешний случай взять... Еду я сегодня утром порожнем, а навстречу со станции летит жид буфетчик. «Куда, спрашиваю, ваше жидовское благородие, едешь?» А он и говорит: «В город N вино и закуску везу. Там нынче Посудина ждут». Ловко? Посудин, может, еще только собирается ехать или кутает лицо, чтоб его не узнали. Может, уж едет и думает, что знать никто не знает, что он едет, а уж для него, скажи пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыр, и закуска разная... А? Едет он и думает: «Крышка вам, ребята!», а ребятам и горя мало! Пушай едет! У них давно уж всё спрятано!

– Назад! – прохрипел Посудин. – Поезжай назад, ссскотина!

И удивленный возница повернул назад.

Mari d'elle

Подпраздничная ночь. Опереточная певица Наталья Андреевна Бронина, по мужу Никиткина, лежит у себя в спальне и всем своим существом предается отдыху. Она сладко дремлет и думает о своей маленькой дочери, живущей где-то далеко у бабушки или тетушки... Эта девочка для нее дороже публики, букетов, рецензий, поклонников... и она рада думать о ней до самого утра. Она счастлива, покойна и жаждет только одного, чтобы ей не помешали безмятежно валяться, дремать, мечтать о дочке.

Вдруг певица вздрагивает и широко открывает глаза: в передней раздается резкий, отрывистый звонок. Не проходит и десяти секунд, как дребезжит другой звонок, третий. Отворяется шумно дверь и в переднюю, стуча ногами, как лошадь, отдуваясь от холода и фыркая, кто-то входит.

– Чёрт возьми, некуда шубу повесить! – слышит артистка хриплый бас. – Известная артистка, посмотришь! Получает пять тысяч в год, а не может себе порядочной вешалки завести!

«Муж... – морщится певица. – И, кажется, привел с собой ночевать одного из своих приятелей... Противно!»

Пропал покой. Когда в передней утихают громкое сморканье и установка калош, певица слышит в своей спальне осторожные шаги... Это вошел ее муж, Mari d'elle, Денис Петрович Никиткин. От него несет холодом и запахом коньяка. Он долго ходит по спальне, тяжело дышит и, натываясь в потемках на стулья, чего-то ищет...

– Ну, чего тебе? – стонет певица, когда ей надоедает эта возня. – Ты меня разбудил.

– Я, душенька, спички ищу. Ты... ты, стало быть, не спишь? А я тебе поклон принес. Кланяется тебе этот... как его?... рыжий, что постоянно тебе букеты подносит. Загвоздкин... Сейчас только что у него был.

– Зачем ты у него был?

– Да так... Посидели, потолковали... выпили. Как хочешь, Натали, а не нравится мне этот субъект. Ужасно не нравится! Такой болван, каких мало. Богач, капиталист, тысяч шестьсот имеет, а нисколько в нем этого не заметно. Для него деньги, что псу редька. И сам не трескает и другим не дает. Надо капитал в оборот пускать, а он за него держится, расстаться боится... А что толку в лежачем капитале? Лежачий капитал – это та же трава.

Mari d'elle нащупывает край кровати и, отдуваясь, садится у ног жены.

– Лежачий капитал – это вред... – продолжает он. – Почему в России дела хуже пошли? А потому, что у нас лежачих капиталов много, кредита боятся... Не то, что в Англии... В Англии, брат, нет таких гусей, как Загвоздкин... Там каждая копейка в оборот пускается... Да... В сундуках там не держат...

– Ну и отлично. Я спать хочу.

– Я сейчас... О чем, бишь, я? Да... По нынешним временам Загвоздкина повесить мало... Подлец и дурак... Дурак и больше ничего. Ежели б я без ручательства у него просил

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
взаймы, а то ведь и ребенку видно, что тут никакого риска нет. Не понимает, осел! За десять тысяч он сто бы получил. Через год бы у него еще сто тысяч было! Просил, толковал... так и не дал, болван!

– Надеюсь, что ты не от моего имени у него займы просил!

– Гм... Станный вопрос... – обижается mari d'elle. – Во всяком случае он мне бы скорей дал десять тысяч, чем тебе. Ты женщина, а я все-таки мужчина, деловой человек. А какой проект я ему предлагал! Не воздушные шары, не химеры какие-нибудь, а дело, суть! Ежели на понимающего человека наскочить, так за одну идею могут тысяч двадцать дать! Ты даже поймешь, ежели тебе рассказать, в чем дело. Только ты тово... не разболтай... ни-ни... Да я, кажется, уже говорил тебе. Говорил я тебе про кишки?

– Мм... после...

– Говорил, кажется... Понимаешь, в чем дело? Теперь гастрономические магазины и колбасники получают кишки на месте и за дорогую цену. Ну-с, а ежели привозить сюда кишки с Кавказа, где они нипочем, выбрасываются, то... как по-твоему? У кого колбасники будут покупать кишки: здесь в бойнях или у меня? Конечно, у меня! Ведь я буду продавать в десять раз дешевле! Теперь станем так рассуждать: ежегодно в столицах и в центрах покупается этих самых кишок на... положим, на пятьсот тысяч. Это минимум. Ну-с, а ежели...

– Завтра расскажешь... После...

– Да, правда... Тебе спать хочется, pardon... Сейчас уйду... Что ни говори, а с капиталом куда ни сунься, везде можно дело сделать... С капиталом даже на окурках можно миллион нажить... Взять хоть ваше театральное дело. Почему, например, Лентовский прогорел?[89] Очень просто! С самого начала не так дело повел. Капитала нет, а он во всю ивановскую жарит, сломя голову... Нужно сначала капиталом заручиться, а потом потихоньку да полегоньку... Нынче на частном или народном театре отлично нажить можно... Ежели ставить настоящие пьесы, по дешевой цене пустить, да публике в жилку попасть, то в первый же год сто тысяч в карман положишь... Ты вот не понимаешь, а я верно говорю... Тоже ведь и ты лежачие капиталы любишь, не лучше этого шута Загвоздкина... Копит и сама не знает для чего... Не слушаешься, не хочешь... Пустила бы в оборот, так не мыкалась бы по свету белому... Ведь для первого раза, чтоб частный театр устроить, довольно и пяти тысяч... Не так, конечно, как Лентовский, а скромно... потихоньку... Антрепренер у меня уже есть, помещение я присмотрел... денег только нет... Если б ты понимала, то давно бы уже рассталась со своими этими разными пятипроцентными... процентными, выигрышными...

– Нет, мерсі... Ты и так уж меня достаточно пощипал... Будет с меня, наказана...

– Если по-бабьи рассуждать, то конечно... – вздыхает Никиткин, поднимаясь. – Конечно!

– Будет с меня... Ну, ступай, не мешай мне спать... Надоело твои бредни слушать.

– Гм... Тэк-с... Конечно! Пощипал... обобрал... мы что сами даем, то помним, а что берем, того не помним.

– Я у тебя никогда ничего не брала.

– Так ли? А когда мы еще не были известной артисткой, то на чей счет мы жили? А кто, позвольте вас спросить, вытянул вас из нищеты и осчастливил? Этого вы не помните?

– Ну, ступай, спи. Поди prospись.

– Ежели я кажусь вам пьян... ежели я для такой персоны низок, то я могу вовсе уйти.

– И уходи. Отлично сделаешь.

– И уйду. Довольно уж я унижался. И уйду.

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Ах, боже мой! Да уходи же! Я буду очень рада!

– Ладно. Увидим.

Никиткин что-то бормочет про себя и, наткаясь на стулья, выходит из спальни. Засим доносится из передней шёпот, шарканье калош и звук запираемой двери. Mari d'elle всерьез обиделся и ушел.

«Слава богу, ушел... – думает певица. – Теперь спать можно». И, засыпая, она думает о своем mari d'elle: кто он и откуда взялось это наказание? Когда-то он жил в Чернигове и служил там бухгалтером. Как обыкновенный, серенький обыватель, а не mari d'elle, он был очень сносен: ходил на службу, получал жалованье, и все его проекты и затеи не шли дальше новой гитары, модных брюк и янтарного мундштука. Ставши же «мужем знаменитости», он совсем преобразился. Певица помнит, что когда впервые она объявила ему, что поступает на сцену, он долго ломался, возмущался, жаловался ее родителям, гнал ее из дому. Пришлось поступать на сцену без его позволения. Потом же, узнав по газетам и от людей, что она берет хорошие куши, он «простил» ее, бросил бухгалтерию и стал ее прихвостнем. Диву давалась артистка, глядя на прихвостня: когда и где успел он приобрести новые вкусы, лоск и замашки? Где он узнал вкус устриц и бургонских вин? Кто научил его одеваться по моде, причесываться, говорить Натали вместо Наташа?

«Странно... – думает певица. – Прежде, бывало, получит жалованье и прячет, а теперь и ста рублей в день ему мало. Бывало, при гимназистах говорить боялся, чтоб глупости не сказать, а теперь даже с князьями фамильярничают... Дрянной человечиска!»

Но вот певица опять вздрагивает: опять в передней дребезжит звонок. Горничная, бранясь и сердито шлепая туфлями, идет отворять дверь. Опять кто-то входит и стучит, как лошадь.

«Вернулся? – думает певица. – Когда же наконец дадут мне покой? Это возмутительно!»

Артисткой овладевает злоба.

«Постой же... Я покажу тебе, как комедии играть! Ты у меня уйдешь! Я заставлю тебя уйти!»

Бронина вскакивает и босая бежит в маленький зал, где обыкновенно спит на диване ее mari. Застает она его в то время, когда он раздевается и старательно складывает свою одежду на кресло.

– Ты же ушел! – говорит она, глядя на него блестящими, ненавидящими глазами. – Зачем же ты вернулся?

Никиткин молчит и только сопит...

– Ты же ушел! Изволь сию же минуту убираться! Сию же минуту! Слышишь?

Mari d'elle кашляет и, не глядя на жену, снимает помочи.

– Если ты, нахал, не уйдешь, то я уйду! – продолжает певица, топая босой ногой и сверкая глазами. – Я уйду! Слышишь ты, нахал... негодяй, лакей? Вон!

– Постыдилась бы хоть при посторонних... – бормочет муж.

Певица оглядывается и теперь только видит незнакомую ей актерскую физиономию... Физиономия, видевшая оголенные плечи и босые ноги артистки, сконфужена и готова провалиться...

– Рекомендую... – бормочет Никиткин. – Провинциальный антрепренер Безбожников.

Певица вскрикивает и убегает к себе в спальную.

– Вот-с... – говорит mari d'elle, растягиваясь на диване. – Всё шло как по маслу. Милый, разлюбезный мой, хороший... Поцелуй и объятия... А как только дело коснулось до денег, то... как видите... Великое дело деньги!.. Спокойной ночи.

Через минуту слышится храп.

Антрепренер под диваном
(Закулисная история)

Шел «Водевиль с переодеванием». Клавдия Матвеевна Дольская–Каучукова, молодая, симпатичная артистка, горячо преданная святому искусству, вбежала в свою уборную и начала сбрасывать с себя платье цыганки, чтобы в мгновение ока облечься в гусарский костюм. Во избежание лишних складок, чтобы этот костюм сидел возможно гладко и красиво, даровитая артистка решила сбросить с себя всё до последней нитки и надеть его поверх одеяния Евы. И вот, когда она разделась и, пожимаясь от легкого холода, стала расправлять гусарские рейтузы, до ее слуха донесся чей-то вздох. Она сделала большие глаза и прислушалась. Опять кто-то вздохнул и даже как будто прошептал:

– Грехи наши тяжкие... Охх...

Недоумевающая артистка осмотрелась и, не увидев в уборной ничего подозрительного, решила заглянуть на всякий случай под свою единственную мебель – под диван. И что же? Под диваном она увидела длинную человеческую фигуру.

– Кто здесь?! – вскрикнула она, в ужасе отскакивая от дивана и прикрываясь гусарской курткой.

– Это я... я... – послышался из-под дивана дрожащий шёпот. – Не пугайтесь, это я... Тсс!

В гнусавом шёпоте, похожем на сковородное шипение, артистке не трудно было узнать голос антрепренера Индюкова.

– Вы?! – возмутилась она, красная как пион. – Как... как вы смели? Это, значит, вы, старый подлец, всё время здесь лежали? Этого еще недоставало!

– Матушка... голуба моя! – зашипел Индюков, высовывая свою лысую голову из-под дивана. – Не сердитесь, драгоценная! Убейте, растопчите меня как змия, но не шумите! Ничего я не видел, не вижу и видеть не желаю. Напрасно даже вы прикрываетесь, голубушка, красота моя неописанная! Выслушайте старика, одной ногой уже в могиле стоящего! Не за чем иным тут валяюсь, как только ради спасения моего! Погибаю! Смотрите: волосы на голове моей стоят дыбом! Из Москвы приехал муж моей Глашеньки, Прындин. Теперь ходит по театру и ищет погибели моей. Ужасно! Ведь, кроме Глашеньки, я ему, злодею моему, пять тысяч должен!

– Мне какое дело? Убирайтесь сию же минуту вон, иначе я... я не знаю, что с вами, с подлецом, сделаю!

– Тсс! Душенька, тсс! На коленях прошу, ползаю! Куда же мне от него укрыться, ежели не у вас? Ведь он везде меня найдет, сюда только не посмеет войти! Ну, умоляю! Ну, прошу! Часа два назад я его видел! Стою это я во время первого действия за кулисами, гляжу, а он идет из партера на сцену.

– Стало быть, вы и во время драмы здесь валялись? – ужаснулась артистка. – И... и всё видели?

Антрепренер заплакал:

– Дрожу! Трясусь! Матушка, трясусь! Убьет, проклятый! Ведь уж раз стрелял в меня в Нижнем... В газетах писали!

– Ах... это, наконец, невыносимо! Уходите, мне пора уже одеваться и на сцену выходить! Убирайтесь, иначе я... крикну, громко расплачусь... лампой в вас пуцу!

– Тссс!.. Надежда вы моя... якорь спасения! Пятьдесят рублей прибавки, только не гоните! Пятьдесят!

Артистка прикрылась кучей платья и побежала к двери, чтобы крикнуть. Индюков пополз за ней на коленях и схватил ее за ногу повыше лодыжек.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Семьдесят пять рублей, только не гоните! – прошипел он, задыхаясь. – Еще полбенефиса прибавлю!

– Лжете!

– Накажи меня бог! Клянусь! Чтоб мне ни дна, ни покрышки... Полбенефиса и семьдесят пять прибавки!

Дольская-Каучукова минуту поколебалась и отошла от двери.

– Ведь вы всё врете... – сказала она плачущим голосом.

– Провались я сквозь землю! Чтоб мне царствия небесного не было! Да разве я подлец какой, что ли?

– Ладно, помните же... – согласилась артистка. – Ну, полезайте под диван.

Индюков тяжело вздохнул и с сопеньем полез под диван, а Дольская-Каучукова стала быстро одеваться. Ей было совестно, даже жутко от мысли, что в уборной под диваном лежит посторонний человек, но сознание, что она сделала уступку только в интересах святого искусства, подбодрило ее настолько, что, сбрасывая с себя немного спустя гусарское платье, она уже не только не бранилась, но даже и посочувствовала:

– Вы там выпачкаетесь, голубчик Кузьма Алексеич! Чего я только под диван ни ставлю!

Водевиль кончился. Артистку вызывали одиннадцать раз и поднесли ей букет с лентами, на которых было написано: «Оставайтесь с нами». Уходя после оваций к себе в уборную, она встретила за кулисами Индюкова. Запачканый, помятый и взъерошенный, антрепренер сиял и потирал руки от удовольствия.

– Ха-ха... Вообразите, голубушка! – заговорил он, подходя к ней. – Посмейтесь над старым хрычом! Вообразите, то был вовсе не Прындин! Ха-ха... Чёрт его возьми, длинная рыжая борода меня с панталыку сбила... У Прындина тоже длинная рыжая борода... Обознался, старый хрен! Ха-ха... Напрасно только беспокоил вас, красавица...

– Но вы же смотрите, помните, что мне обещали, – сказала Дольская-Каучукова.

– Помню, помню, родная моя, но... голубушка моя, ведь то не Прындин был! Мы только насчет Прындина условились, а зачем я буду обещание исполнять, ежели это не Прындин? Будь то Прындин, ну, тогда, конечно, другое дело, а то ведь, сами видите, обознался... Чудака какого-то за Прындина принял!

– Как это низко! – возмутилась актриса. – Низко! Мерзко!

– Будь это Прындин, конечно, вы имели бы полное право требовать, чтоб я обещание исполнил, а то ведь чёрт его знает, кто он такой. Может, он сапожник какой или, извините, портной – так мне и платить за него? Я честный человек, матушка... Понимаю...

И отойдя, он всё жестикулировал и говорил:

– Если бы то был Прындин, то, конечно, я обязан, а то ведь кто-то неизвестный... какой-то, шут его знает, рыжий человек, а вовсе не Прындин.

Восклицательный знак
(Святочный рассказ)

В ночь под Рождество Ефим Фомич Перекладин, коллежский секретарь, лег спать обиженный и даже оскорбленный.

– Отвяжись ты, нечистая сила! – рывкнул он со злобой на жену, когда та спросила, отчего он такой хмурый.

Дело в том, что он только что вернулся из гостей, где сказано было много неприятных и обидных для него вещей. Сначала заговорили о пользе образования вообще, потом же незаметно перешли к образовательному цензу служащей братии,

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru причём было высказано много сожалений, упреков и даже насмешек по поводу низкого уровня. И тут, как это водится во всех российских компаниях, с общих материй перешли к личностям.

– Взять, например, хоть вас, Ефим Фомич, – обратился к Перекладину один юноша. – Вы занимаете приличное место... а какое образование вы получили?

– Никакого-с. Да у нас образование и не требуется, – кротко ответил Перекладин.
– Пиши правильно, вот и всё...

– Где же это вы правильно писать-то научились?

– Привык-с... За сорок лет службы можно руку набить-с... Оно, конечно, спервоначалу трудно было, дельвал ошибки, но потом привык-с... и ничего...

– А знаки препинания?

– И знаки препинания ничего... Правильно ставлю.

– Гм!.. – сконфузился юноша. – Но привычка совсем не то, что образование. Мало того, что вы знаки препинания правильно ставите... мало-с! Нужно сознательно ставить! Вы ставите запятую и должны сознавать, для чего ее ставите... да-с! А это ваше бессознательное... рефлекторное правописание и гроша не стоит. Это машинное производство и больше ничего.

Перекладин смолчал и даже кротко улыбнулся (юноша был сын статского советника и сам имел право на чин X класса), но теперь, ложась спать, он весь обратился в негодование и злобу.

«Сорок лет служил, – думал он, – и никто меня дураком не назвал, а тут, поди ты, какие критики нашлись! „Бессознательно!.. Лефректором! Машинное производство“... Ах, ты, чёрт тебя возьми! Да я еще, может быть, больше тебя понимаю, даром что в твоих университетах не был!»

Излив мысленно по адресу критика все известные ему ругательства и согревшись под одеялом, Перекладин стал успокаиваться.

«Я знаю... понимаю... – думал он, засыпая. – Не поставлю там двоеточия, где запятую нужно, стало быть, сознаю, понимаю. Да... Так-то, молодой человек... Сначала пожить нужно, послужить, а потом уж стариков судить...»

В закрытых глазах засыпавшего Перекладина сквозь толпу темных, улыбающихся облаков метеором пролетела огненная запятая. За ней другая, третья, и скоро весь безграничный темный фон, расстилавшийся перед его воображением, покрылся густыми толпами летавших запятыми...

«Хоть эти запятые взять... – думал Перекладин, чувствуя, как его члены сладко немеют от наступавшего сна. – Я их отлично понимаю... Для каждой могу место найти, ежели хочешь... и... и сознательно, а не зря... Экзаменуй, и увидишь... Запятые ставятся в разных местах, где надо, где и не надо. Чем путаннее бумага выходит, тем больше запятым нужно. Ставятся они перед „который“ и перед „что“. Ежели в бумаге перечислять чиновников, то каждого из них надо запятой отделять... Знаю!»

Золотые запятые завертели и унеслись в сторону. На их место прилетели огненные точки...

«А точка в конце бумаги ставится... Где нужно большую передышку сделать и на слушателя взглянуть, там тоже точка. После всех длинных мест нужно точку, чтоб секретарь, когда будет читать, слюной не истек. Больше же нигде точка не ставится...»

Опять налетают запятые... Они мешаются с точками, кружатся – и Перекладин видит целое сонмище точек с запятой и двоеточий...

«И этих знаю... – думает он. – Где запятой мало, а точки много, там надо точку с запятой. Перед „но“ и „следственно“ всегда ставлю точку с запятой... Ну-с, а двоеточие? Двоеточие ставится после слов „постановили“, „решили“...»

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Точки с запятой и двоеточия потухли. Наступила очередь вопросительных знаков.
Эти выскочили из облаков и заканканировали...

«Эка невидаль: знак вопросительный! Да хоть тысяча их, всем место найду.
Ставятся они всегда, когда запрос нужно делать или, положим, о бумаге
справиться... „Куда отнесен остаток сумм за такой-то год?“ или – „Не найдет ли
Полицейское управление возможным оную Иванову и проч.“...»

Вопросительные знаки одобрительно закивали своими крючками и моментально, словно
по команде, вытянулись в знаки восклицательные...

«Гм!.. Этот знак препинания в письмах часто ставится. „Милостивый государь мой!“
или „Ваше превосходительство, отец и благодетель!..“ А в бумагах когда?»

Восклицательные знаки еще больше вытянулись и остановились в ожидании...

«В бумагах они ставятся, когда... тово... этого... как его? Гм!.. В самом деле, когда
же их в бумагах ставят? Постой... дай бог память... Гм!..»

Перекладин открыл глаза и повернулся на другой бок. Но не успел он вновь закрыть
глаза, как на темном фоне опять появились восклицательные знаки.

«Чёрт их возьми... Когда же их ставить нужно? – подумал он, стараясь выгнать из
своего воображения непрощенных гостей. – Неужели забыл? Или забыл, или же...
никогда их не ставил...»

Перекладин стал припоминать содержание всех бумаг, которые он написал за сорок
лет своего служения; но как он ни думал, как ни морщил лоб, в своем прошлом он
не нашел ни одного восклицательного знака.

«Что за оказия! Сорок лет писал и ни разу восклицательного знака не поставил...
Гм!.. Но когда же он, чёрт длинный, ставится?»

Из-за ряда огненных восклицательных знаков показалась ехидно смеющаяся рожа
юноши-критика. Сами знаки улыбнулись и слились в один большой восклицательный
знак.

Перекладин встряхнул головой и открыл глаза.

«Чёрт знает что... – подумал он. – Завтра к утрени вставать надо, а у меня это
чертобесие из головы не выходит... Тьфу! Но... когда же он ставится? Вот тебе и
привычка! Вот тебе и набил руку! За сорок лет ни одного восклицательного! А?»

Перекладин перекрестился и закрыл глаза, но тотчас же открыл их; на темном фоне
всё еще стоял большой знак...

«Тьфу! Этак всю ночь не уснешь». – Марфуша! – обратился он к своей жене, которая
часто хвасталась тем, что кончила курс в пансионе. – Ты не знаешь ли, душенька,
когда в бумагах ставится восклицательный знак?

– Еще бы не знать! Недаром в пансионе семь лет училась. Наизусть всю грамматику
помню. Этот знак ставится при обращениях, восклицаниях и при выражениях
восторга, негодования, радости, гнева и прочих чувств.

«Тэк-с... – подумал Перекладин. – Восторг, негодование, радость, гнев и прочие
чувства...»

Коллежский секретарь задумался... Сорок лет писал он бумаги, написал он их тысячи,
десятки тысяч, но не помнит ни одной строки, которая выражала бы восторг,
негодование или что-нибудь в этом роде...

«И прочие чувства... – думал он. – Да нешто в бумагах нужны чувства? Их и
бесчувственный писать может...»

Рожа юноши-критика опять выглянула из-за огненного знака и ехидно улыбнулась.
Перекладин поднялся и сел на кровати. Голова его болела, на лбу выступил
холодный пот... В углу ласково теплилась лампадка, мебель глядела празднично,
чистенько, от всего так и веяло теплом и присутствием женской руки, но бедному

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
чиноше было холодно, неуютно, точно он заболел тифом. Знак восклицательный стоял уже не в закрытых глазах, а перед ним, в комнате, около женина туалета и насмешливо мигал ему...

– Пишущая машина! Машина! – шептало привидение, дуя на чиновника сухим холодом.
– Деревяжка бесчувственная!

Чиновник укрылся одеялом, но и под одеялом он увидел привидение, прильнул лицом к женину плечу и из-за плеча торчало то же самое... Всю ночь промучился бедный Перекладин, но и днем не оставило его привидение. Он видел его всюду: в надеваемых сапогах, в блюдечке с чаем, в Станиславе...

«И прочие чувства... – думал он. – Это правда, что никаких чувств не было... Пойду сейчас к начальству расписываться... а разве это с чувствами делается? Так, зря... Поздравительная машина»...

Когда Перекладин вышел на улицу и крикнул извозчика, то ему показалось, что вместо извозчика подкатил восклицательный знак.

Придя в переднюю начальника, он вместо швейцара увидел тот же знак... И всё это говорило ему о восторге, негодовании, гневе... Ручка с пером тоже глядела восклицательным знаком. Перекладин взял ее, обмакнул перо в чернила в расписался:

«Коллежский секретарь Ефим Перекладин!!!»

И, ставя эти три знака, он восторгался, негодовал, радовался, кипел гневом.

– На тебе! На тебе! – бормотал он, надавливая на перо.

Огненный знак удовлетворился и исчез.

Зеркало

Подновогодний вечер. Нелли, молодая и хорошенькая дочь помещика-генерала, день и ночь мечтающая о замужестве, сидит у себя в комнате и утомленными, полузакрытыми глазами глядит в зеркало. Она бледна, напряжена и неподвижна, как зеркало.

Несуществующая, но видимая перспектива, похожая на узкий, бесконечный коридор, ряд бесчисленных свечей, отражение ее лица, рук, зеркальной рамы – всё это давно уже заволочлось туманом и слилось в одно беспредельное серое море. Море колеблется, мигает, изредка вспыхивает заревом...

Глядя на неподвижные глаза и открытый рот Нелли, трудно понять, спит она или бодрствует, но, тем не менее, она видит. Сначала видит она только улыбку и мягкое, полное прелести выражение чьих-то глаз, потом же на колеблющемся сером фоне постепенно проясняются контуры головы, лицо, брови, борода. Это он, суженый, предмет долгих мечтаний и надежд. Суженый для Нелли составляет всё: смысл жизни, личное счастье, карьеру, судьбу. Вне его, как и на сером фоне, мрак, пустота, бессмыслица. И немудрено поэтому, что, видя перед собою красивую, кротко улыбающуюся голову, она чувствует наслаждение, невыразимо сладкий кошмар, который не передашь ни на словах, ни на бумаге. Далее она слышит его голос, видит, как живет с ним под одной кровлей, как ее жизнь постепенно сливается с его жизнью. На сером фоне бегут месяцы, годы... и Нелли отчетливо, во всех подробностях, видит свое будущее.

На сером фоне мелькают картина за картиной. Вот видит Нелли, как она в холодную зимнюю ночь стучится к уездному врачу Степану Лукичу. За воротами лениво и хрипло лает старый пес. В докторских окнах потемки. Кругом тишина.

– Ради бога... ради бога! – шепчет нелли.

Но вот наконец скрипит калитка, и Нелли видит перед собой докторскую кухарку.

– Доктор дома?

– Спят-с... – шепчет кухарка в рукав, словно боясь разбудить своего барина. – Только что с эпидемии приехали. Не велено будить-с.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Но Нелли не слышит кухарки. Отстранив ее рукой, она, как сумасшедшая, бежит в докторскую квартиру. Пробежав несколько темных и душных комнат, свалив на пути два-три стула, она, наконец, находит докторскую спальню. Степан Лукич лежит у себя в постели одетый, но без сюртука и, вытянув губы, дышит себе на ладонь. Около него слабо светит ночничок. Нелли, не говоря ни слова, садится на стул и начинает плакать. Плачет она горько, вздрагивая всем телом.

– Му... муж болен! – выговаривает она.

Степан Лукич молчит. Он медленно поднимается, подпирает голову кулаком и глядит на гостью сонными, неподвижными глазами.

– Муж болен! – продолжает Нелли, сдерживая рыдания. – Ради бога, поедemте... Скорее... как можно скорее!

– А? – мычит доктор, дую на ладонь.

– Поедемте! И сию минуту! Иначе... иначе... страшно выговорить... Ради бога!

И бледная, измученная Нелли, глотая слезы и задыхаясь, начинает описывать доктору внезапную болезнь мужа и свой невыразимый страх. Страдания ее способны тронуть камень, но доктор глядит на нее, дует себе на ладонь и – ни с места.

– Завтра приеду... – бормочет он.

– Это невозможно! – пугается Нелли. – Я знаю, у мужа... тиф! Сейчас... сию минуту вы нужны!

– Я тово... только что приехал... – бормочет доктор. – Три дня на эпидемию ездил. И утомлен, и сам болен... Абсолютно не могу! Абсолютно! Я... я сам заразился... Вот!

И доктор сует к глазам Нелли максимальный термометр.

– Температура к сорока идет... Абсолютно не могу! Я... я даже сидеть не в состоянии. Простите: лягу...

Доктор ложится.

– Но я прошу вас, доктор! – стонет в отчаянии Нелли. – Умоляю! Помогите мне, ради бога. Соберите все ваши силы и поедemте... Я заплачу вам, доктор!

– Боже мой... да ведь я уже сказал вам! Ах!

Нелли вскакивает и нервно ходит по спальне. Ей хочется объяснить доктору, втолковать... Думается ей, что если бы он знал, как дорог для нее муж и как она несчастна, то забыл бы и утомление и свою болезнь. Но где взять красноречия?

– Поезжайте к земскому доктору... – слышит она голос Степана Лукича.

– Это невозможно!.. Он живет за двадцать пять верст отсюда, а время дорого. И лошадей не хватит: от нас сюда сорок верст да отсюда к земскому доктору почти столько... Нет, это невозможно! Поедемте, Степан Лукич! Я подвига прошу. Ну, совершите вы подвиг! Сжальтесь!

– Чёрт знает что... Тут жар... дурь в голове, а она не понимает. Не могу! Отстаньте.

– Но вы обязаны ехать! И не можете вы не ехать! Это эгоизм! Человек для ближнего должен жертвовать жизнью, а вы... вы отказываетесь поехать!.. Я в суд на вас подам!

Нелли чувствует, что говорит обидную и незаслуженную ложь, но для спасения мужа она способна забыть и логику, и такт, и сострадание к людям... В ответ на ее угрозу доктор с жадностью выпивает стакан холодной воды. Нелли начинает опять умолять, взывать к состраданию, как самая последняя нищая... Наконец доктор сдаётся. Он медленно поднимается, отдувается, кряхтит и ищет свой сюртук.

– Вот он, сюртук! – помогает ему Нелли. – Позвольте, я его на вас надену... Вот так. Едемте. Я вам заплачу... всю жизнь буду признательна...

Но что за мука! Надевши сюртук, доктор опять ложится. Нелли поднимает его и тащит в переднюю... В передней долгая, мучительная возня с калошами, шубой... Пропала шапка... Но вот, наконец, Нелли сидит в экипаже. Возле нее доктор. Теперь остается только проехать сорок верст, и у ее мужа будет медицинская помощь. Над землей висит тьма: зги не видно... Дует холодный зимний ветер. Под колесами мерзлые кочки. Кучер то и дело останавливается и раздумывает, какой дорогой ехать...

Нелли и доктор всю дорогу молчат. Их трясет ужасно, но они не чувствуют ни холода, ни тряски.

– Гони! Гони! – просит Нелли кучера.

К пяти часам утра замученные лошади въезжают во двор. Нелли видит знакомые ворота, колодезь с журавлем, длинный ряд конюшен и сараев... Наконец она дома.

– Погодите, я сейчас... – говорит она Степану Лукичу, сажая его в столовой на диван. – Остыньте, а я пойду посмотрю, что с ним.

Вернувшись через минуту от мужа, Нелли застаёт доктора лежащим. Он лежит на диване и что-то бормочет.

– Пожалуйте, доктор... Доктор!

– А? Спросите у Домны... – бормочет Степан Лукич.

– Что?

– На съезде говорили... Власов говорил... Кого? Что?

И Нелли, к великому своему ужасу, видит, что у доктора такой же бред, как и у ее мужа. Что делать?

– К земскому врачу! – решает она.

Засим следуют опять потемки, резкий, холодный ветер, мерзлые кочки. Страдает она и душой и телом, и, чтобы уплатить за эти страдания, у обманщицы-природы не хватит никаких средств, никаких обманов...

Видит далее она на сером фоне, как муж ее каждую весну ищет денег, чтобы уплатить проценты в банк, где заложено имение. Не спит он, не спит она, и оба до боли в мозгу думают, как бы избежать визита судебного пристава.

Видит она детей. Тут вечный страх перед простудой, скарлатиной, дифтеритом, единицами, разлукой. Из пяти-шести карапузов, наверное, умрет один.

Серый фон не свободен от смертей. Оно и понятно. Муж и жена не могут умереть в одно время. Один из двух, во что бы то ни стало, должен пережить похороны другого. И Нелли видит, как умирает ее муж. Это страшное несчастье представляется ей во всех своих подробностях. Она видит гроб, свечи, дьячка и даже следы, которые оставил в передней гробовщик.

– К чему это? Для чего? – спрашивает она, тупо глядя в лицо мертвого мужа.

И вся предыдущая жизнь с мужем кажется ей только глупым, ненужным предисловием к этой смерти.

Что-то падает из рук Нелли и стучит о пол. Она вздрагивает, вскакивает и широко раскрывает глаза. Одно зеркало, видит она, лежит у ее ног, другое стоит по-прежнему на столе. Она смотрит в зеркало и видит бледное, заплаканное лицо. Серого фона уже нет.

«Я, кажется, уснула...» – думает она, легко вздыхая.

Ряженые

Выходите на улицу и глядите на ряженных.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Вот солидно, подняв с достоинством голову, шагает что-то нарядившееся человеком. Это «что-то» толсто, обрюзгло и плешиво. Одето оно щегольски, по моде и тепло. На груди брелоки, на пальцах массивные перстни. Говорит оно чепуху, но с чувством, с толком, с расстановкой. Оно только что пообедало, напилось елисейского пойла и теперь решает вопрос: отправиться ли к Адели, лечь ли спать, или же засесть за винт? Через три часа оно будет ужинать, через пять – спать. Завтра проснется в полдень, пообедает, напьется пойла и опять примется за тот же вопрос. Послезавтра тоже... Кто это?

Это – свинья.

Вот мчится в роскошных санях старушенция в костюме дамы благотворительницы. Нарядилась она умело: на лице тупая важность, в ногах болонка, на запятках лакей. В саквояже покоятся собранные ею для страждущего человечества 1013 р. 43 к. Из этих денег только 43 коп. получают бедные, остальные же 1013 р. пойдут на расходы по благотворению. Благотворительность она любит, ибо нигде нельзя так много с таким вкусом судачить, перебирать косточки ближних, дьяволить и вылезать сухой из воды, как на почве благотворительности... Хотите знать, кто эта благотворительница?

Это – чёртова перечница.

Вот бежит лисица... Гримировка великолепная: даже рыльце в пушку. Глядит она медово, говорит тенорком, со слезами на глазах. Если послушать ее, то она жертва людской интриги, подвохов, неблагодарности. Она ищет сочувствия, умоляет, чтобы ее поняли, ноет, слезоточит. Слушайте ее, но не попадайтесь ей в лапы. Она обчистит, обделает под орех, пустит без рубахи, ибо она – антрепренер.

Вот шествует нарядившийся рецензентом. Этот загримировался неудачно. По его бесшабашному лаю, хватанию за икры, скаленью зубов нетрудно узнать в нем – цепного пса.

Несколько поодаль от него прыгает нарядившийся драматургом. Этот что-то прячет под полый и робко озирается, словно стянул что-то... Он одет франтом, болтает по-французски и хвастает, что состоит в переписке с Сарду[90]. Талант у него необычайный, печет драмы, как блины, и может писать двумя руками сразу. Но современники не признают его... Они знают, что под оболочкой драматурга скрывается – закрыщик модной мастерской.

Вот идет субъект, загримировавшийся забулдыгой. На нем рваная шапчонка, порыжелое пальто и нечищенные калоши... Он косится на дома и ищет вывески «Питейный дом» или «Трактир». Ему нужно выпить... Пьет он каждые десять минут: днем водку, ночью пиво, утром содовую воду. Состояние «под шофе» – его норма. Только в пьяном виде он и может говорить умно, мыслить, зарабатывать себе кусок хлеба, любить ближнего, презирать. Трезвый же он вял, глуп, жесток. Живет он по-свински. У него ни кола ни двора. Обитает где-то у чёрта на куличках, на задворках, снимая у вдовы-чиновницы темную и сырую комнату. Семьи у него нет, да и трудно представить его семейным. Умрет он под забором, но похоронят его с шиком, с некрологами и с речами, потому что он – талант.

А вот стоит нарядившийся талантом. Он сосредоточен, нахмурен и лаконичен. Не мешайте ему: думает или наблюдает. Раскусить его, что он за птица, трудно, потому что он редко снисходит до откровенности. Обыкновенно он не разборчив, но, «встретив» где-нибудь в ресторане или на вечере благоговеющего перед талантами юнца, он постарается выложить всю свою «программу»: всё на этом свете не годится, всё испошилось, изгадилось, продалось, истрепалось; если человечеству угодно спастись, то оно должно поступать вот этак, не иначе. Тургенев, по его мнению, хорош, но... Толстой тоже хорош, но... Говоря же о своей «программе», он никогда не прибавляет этого «но». Все его не понимают, все подставляют ему ножку, но, тем не менее, он всюду сует свой нос, всюду нюхает, везде вертится, как чёрт перед заутреней. Его выносят, не гонят, потому что на безрыбье и рак рыба и потому, что в России до конца дней можно быть «начинающим и подающим надежды». Своей работе он придает громадное значение и потому бережет себя, как зеницу ока. Он не пьет, часто ездит лечиться и оберегает себя строгим комфортом. Дома, когда он сидит у себя в кабинете и творит «новое слово», все ходят на цыпочках. Храни бог, если в кабинете не 15 градусов, если за дверью звякнет блюдечко или запищит ребенок – он схватит себя за волосы и грудным голосом скажет: «Пррроклятие... Нечего сказать, хороша жизнь писательская!» Когда он

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru пишет, он священнодействует: морщит лоб, кусает перо, пыхтит, сопит, то и дело зачеркивает... Чтобы выжать из мозгов мысль, остроту, удачное сравнение, он пускает в дело пресс в сорок лошадиных сил; чтобы быть реальным, художественным, он тянется к аршину, фотографии, манекенам. Работает он только для искусства... Впрочем, если г. Вольфу[91] угодно будет предложить ему заказ в 10 листов по 300 руб. за лист, то он возблагодарит создателя... Вероятно, вы его уже узнали...

Это – гусь лапчатый.

Новогодние великомученики

На улицах картина ада в золотой раме. Если бы не праздничное выражение на лицах дворников и городских, то можно было бы подумать, что к столице подступает неприятель. Взад и вперед, с треском и шумом снуют парадные сани и кареты... На тротуарах, высунув языки и тараща глаза, бегут визитеры... Бегут они с таким азартом, что ухвати жена Пантефрия какого-нибудь бегущего коллежского регистратора за фалду, то у нее в руках осталась бы[92] не одна только фалда, но весь чиновничий бок с печенками и с селезенками...

Вдруг слышится пронзительный полицейский свист. Что случилось? Дворники отрываются от своих позиций и бегут к свистку...

– Разойдитесь! Идите дальше! Нечего вам здесь глядеть! Мертвых людей никогда не видали, что ли? Наррод...

У одного из подъездов на тротуаре лежит прилично одетый человек в бобровой шубе и новых резиновых калошах... Возле его мертвецки бледного, свежесбритого лица валяются разбитые очки. Шуба на груди распахнулась, и собравшаяся толпа видит кусочек фрака и Станислава третьей степени.[93] Грудь медленно и тяжело дышит, глаза закрыты...

– Господин! – толкает городской чиновника. – Господин, не велено тут лежать! Ваше благородие!

Но господин – ни гласа, ни воздыхания... Повозившись с ним минут пять и не приведя его в чувство, блюстители кладут его на извозчика и везут в приемный покой...

– Хорошие штаны! – говорит городской, помогая фельдшеру раздеть больного. – Должно, рублей шесть стоят. И жилетка ловкая... Ежели по штанам судить, то из благородных...

В приемном покое, полежав часа полтора и выпив целую склянку валерьяны, чиновник приходит в чувство... Узнают, что он титулярный советник Герасим Кузьмич Синклетеев.

– Что у вас болит? – спрашивает его полицейский врач.

– С Новым годом, с новым счастьем... – бормочет он, тупо глядя в потолок и тяжело дыша.

– И вас также... Но... что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка! Вы пили что-нибудь?

– Не... нет...

– Но отчего же вам дурно сделалось?

– Ошалел-с... Я... я визиты делал...

– Много, стало быть, визитов сделали?

– Не... нет, не много-с... От обедни пришедши... выпил я чаю и пошел к Николаю Михайлычу... Тут, конечно, расписался... Оттуда пошел на Офицерскую... к Качалкину... Тут тоже расписался... Еще помню, тут в передней меня сквозняком продуло... От Качалкина на Выборгскую сходил, к Ивану Иванычу... Расписался...

– Еще одного чиновника привезли! – докладывает городской.

– От Ивана Иваныча, – продолжает Синклетеев, – к купцу Хрымову рукой подать...

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Зашел поздравить... с семейством... Предлагают выпить для праздника... А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь... Ну, выпил рюмки три... колбасой закусил... Оттуда на Петербургскую сторону к Лиходееву... Хороший человек...

– И всё пешком?

– Пешком-с... Расписался у Лиходеева... От него пошел к Пелагее Емельяновне... Тут завтрак посадили и кофею попотчевали. От кофею распарился, оно, должно быть, в голову и ударило... От Пелагеи Емельяновны пошел к Облеухову... Облеухова Василием звать, именинник... Не съешь именинного пирога – обидишь...

– Отставного военного и двух чиновников привезли! – докладывает городской...

– Съел кусок пирога, выпил рябиновой и пошел на Садовую к Изюмову... У Изюмова холодного пива выпил... в горло ударило... От Изюмова к Кошкину, потом к Карлу Карлычу... отсюда к дяде Петру Семенычу... Племянница Настя шоколатом попоила... Потом к Ляпкину зашел... Нет, вру, не к Ляпкину, а к Дарье Никодимовне... От нее уж к Ляпкину пошел... Ну-с, и везде хорошо себя чувствовал... Потом у Иванова, Курдюкова и Шиллера был, у полковника Порошкова был, и там себя хорошо чувствовал... У купца Дунькина был... Пристал ко мне, чтоб я коньяк пил и сосиску с капустой ел... Выпил я рюмки три... пару сосисок съел – и тоже ничего... Только уж потом, когда от Рыжова выходил, почувствовал в голове... мерцание... Ослабел... Не знаю, отчего...

– Вы утомились... Отдохните немного, и мы вас домой отправим...

– Нельзя мне домой... – стонет Синклетеев. – Нужно еще к зятю Кузьме Вавилычу сходить... к экзекутору, к Наталье Егоровне... У многих я еще не был...

– И не следует ходить.

– Нельзя... Как можно с Новым годом не поздравить? Нужно-с... Не сходи к Наталье Егоровне, так жить не захочешь... Уж вы меня отпустите, г. доктор, не невольте...

Синклетеев поднимается и тянется к одежде.

– Домой езжайте, если хотите, – говорит доктор, – но о визитах вам думать даже нельзя...

– Ничего-с, бог поможет... – вздыхает Синклетеев. – Я потихонечку пойду...

Чиновник медленно одевается, кутается в шубу и, пошатываясь, выходит на улицу.

– Еще пятерых чиновников привезли! – докладывает городской. – Куда прикажете положить?

Шампанское
(Мысли с новогоднего похмелья)

Не верьте шампанскому... Оно искрится, как алмаз, прозрачно, как лесной ручей, сладко, как нектар; ценится оно дороже, чем труд рабочего, песнь поэта, ласка женщины, но... подальше от него! Шампанское – это блестящая кокотка, мешающая прелесть свою с ложью и наглостью Гоморры[94], это позлащенный гроб, полный костей мертвых и всякия нечистоты. Человек пьет его только в часы скорби, печали и оптического обмана.

Он пьет его, когда бывает богат, пресыщен, то есть когда ему пробраться к свету так же трудно, как верблюду пролезть сквозь игольное ушко.

Оно есть вино укравших кассиров, альфонсов, безуздых саврасов, кокоток... Где пьяный разгул, разврат, объегориванье ближнего, торжество гешефта, там прежде всего ищите шампанского. Платят за него не трудовые деньги, а шальные, лишние, бешеные, часто чужие...

Вступая на скользкий путь, женщина всегда начинает с шампанского, – потому-то оно и шипит, как змея, соблазнившая Еву!

Пьют его обручаясь и женясь, когда за две-три иллюзии принимают на себя тяжелые вериги на всю жизнь.

Пьют его на юбилеях, разбавляя лестью и водянистыми речами, за здоровье юбиляра, стоящего обыкновенно уже одною ногою в могиле.

Когда вы умерли, его пьют ваши родственники от радости, что вы оставили им наследство.

Пьют его при встрече Нового года: с бокалами в руках кричат ему «ура» в полной уверенности, что ровно через 12 месяцев дадут этому году по шее и начихают ему на голову. Короче, где радость по заказу, где купленный восторг, лесть, словоблудие, где пресыщение, тунеядство и свинство, там вы всегда найдете вдову Клико. Нет, подальше от шампанского!

Визитные карточки

Передо мною на столе визитные карточки, которыми почтили меня на Новый год мои добрые знакомые. Прислали они мне их для того, чтобы почтальон сбил новые подметки и лишний раз подмигнул моей горничной. Один древний мудрец сказал: «Скажи мне, от кого ты получаешь визитные карточки, и я скажу, с кем ты знаком». Если кому интересно знать моих знакомых, то вот они – карточки:

Графская корона. Под нею буквы не то в готическом, не то в пошехонском стиле: «Потомственный почетный гражданин Клим Иванович Оболдеев».

Карточка с золотым ободком и загнутым углом. «Jean Pifisoff». Этот жан – здоровеннейший мужчина, говорящий хриплым басом, пахнущий уксусом и вечно ищущий по свету, где оскорбленному есть чувству...[95] рюмка водки и рубль взаимы.

«Надворный советник и кавалер Геморрой Диоскорович Лодкин».

«Савватий Паникадилович Пищик-Заблудовский, член общества покровительства животным, агент страхового от огня общества „Саламандра“, корреспондент журнала „Волна“, комиссионер по продаже швейных машин Зингера и Комп. и проч.».

«Франц Эмилиевич Антр-Ну-Суади[96], преподаватель бальных танцев и французского языка».

«Иеромонах Иеремия».

Княжеская корона. «Ученик VI класса Валентин Сысоевич Бумажкин».

Корона неопределенного свойства. «Действительный статский советник Эраст Кринолинович Стремглавов».

«Князь Агоп Минаевич Обшиаவிшили. Магазин южнобережных и кахетинских вин». Далее: помощник присяжного поверенного Митрофан Алексеевич Красных, Дизентерия Александровна Громоздка, Никита Спевсипович Уехал... Диакон Петр Хлебонасущенский... Сотрудник журнала «Ребус» Иван Иванович Дьяволов... Редактор журнала «Луч» Юдофоб Юдофобович Окрейц и проч. ...

Письма

I. Открытое письмо к г. Окрейцу.

М. г.! Просьбу Вашу – рекомендовать журнал «Луч» знакомым – я исполнил. Но так как все мои знакомые живут далеко от меня, то мне приходилось ездить к ним на извозчике или же рекомендовать им Ваш уважаемый журнал по городской почте. На извозчиков и на марки я истратил 8 руб. 85 коп. Думаю, что Вы будете настолько джентльмен, что поспешите выслать мне эти деньги.

Примите и проч.

Р. Смирнов.

Гор. Жиздра, д. Хилкиной.

II. Тоже открытое письмо к разным лицам.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
я положительно популярен. В сражениях я никогда не бывал, мониторов не взрывал и телефонов не изобретал, но, тем не менее, я почему-то известен в Петербурге, Москве и даже в Гамбурге. В самое короткое время я получил множество приглашений и писем от следующих почтенных лиц и учреждений: от банкирской конторы Клина, от Гамбургской лотереи, от С.-Петербургской мастерской учебных пособий, пять объявлений от редакции журнала «Новь», от «Живописного обозрения»[97], от г. Леухина[98], от картографического магазина Ильина и от многих других лиц. Удивительно, откуда они могли узнать меня и мой адрес? Принося означенным лицам и учреждениям искреннюю мою благодарность за их лестное для меня внимание, я, тем не менее, прошу их прекратить эту непрерывную и частую корреспонденцию, так как она причиняет мне массу неудобств: почтальоны обрывают звонок, а масса писем порождает в обывателях и блюстителях порядка недоумения, сомнения и подозрительность по отношению к моему образу мыслей.

III. Письмо в редакцию «Осколков».

Г-н редактор! Слышны жалобы на то, что мы не дозрели, что мы отстали от Западной Европы... И действительно, отстали на целых 12 дней! Но ведь так легко догнать: стоило бы только первый день нового года считать не первым января, а 13-м. Мы стали бы тогда наряду со всей Европой!

Неудобств для этого, казалось бы, никаких. Экая важность, что дамы и девицы внезапно на 12 лишних дней постареют! Чиновники даже очень рады были бы: скорее жалованье получат. Конечно, для суеверных людей страшно начинать год с 13-го числа. Но разве цивилизация должна церемониться с суеверными людьми? А то, право, стыдно. Тогда, может быть, и курс совсем поднялся бы. [99]

Примите и пр.

Подписчик № 11378.

IV. В редакцию «Радуги».

Будучи, как и дочь моя Зинаида, любителем сценических искусств, имею честь просить уважаемого г. Мансфельда сочинить мне для домашнего обихода четыре комедии, три драмы и две трагедии погамлетистее, на каковой предмет по изготовлении их вышлю три рубля. Сдачу прошу переслать почтовыми марками. При сем считаю долгом присовокупить, что мои соседи, выписывавшие произведения г. Мансфельда оптом и в розницу, весьма довольны и благодарят за дешевизну. Хвалят у нас и г. Метцля[100] за его доброту. Видя, что в «Радугу» не помещаются все произведения г. Мансфельда, он исключительно для них только стал издавать еще «Эпоху». Какая редкая доброта!

Примите и проч.

Полковник Кочкарев.

Пенза, 2-го января.

Художество
Хмурое зимнее утро.

На гладкой и блестящей поверхности речки Быстрянки, кое-где посыпанной снегом, стоят два мужика: куцый Сережка и церковный сторож Матвей. Сережка, малый лет тридцати, коротконогий, оборванный, весь облезлый, сердито глядит на лед. Из его поношенного полушубка, словно на линяющем псе, отвисают клочья шерсти. В руках он держит циркуль, сделанный из двух длинных спиц. Матвей, благообразный старик, в новом тулупе и валенках, глядит кроткими голубыми глазами вверх, где на высоком отлогом берегу живописно ютится село. В руках у него тяжелый лом.

– Что ж, это мы до вечера так будем стоять, сложа руки? – прерывает молчание Сережка, вскидывая свои сердитые глаза на Матвея. – Ты стоять сюда пришел, старый шут, или работать?

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Так ты тово... показывай... – бормочет Матвей, кротко мигая глазами...

– Показывай... Всё я: я и показывай, я и делай. У самих ума нет! Мерять циркулем, вот нужно что! Не вымерявши, нельзя лед ломать. Меряй! Бери циркуль!

Матвей берет из рук Сережки циркуль и неумело, топчась на одном месте и тыча во все стороны локтями, начинает выводить на льду окружность. Сережка презрительно щурит глаза и, видимо, наслаждается его застенчивостью и невежеством.

– Э-э-э! – сердится он. – И того уж не можешь! Сказано, мужик глупый, деревенщина! Тебе гусей пасти, а не Иордань делать! Дай сюда циркуль! Дай сюда, тебе говорю!

Сережка рвет из рук вспотевшего Матвея циркуль и в одно мгновение, молодцевато повернувшись на одном каблуке, чертит на льду окружность. Границы для будущей Иордани уже готовы; теперь остается только колоть лед...

Но прежде чем приступить к работе, Сережка долго еще ломается, капризничает, попрекает:

– я не обязан на вас работать! Ты при церкви служишь, ты и делай!

Он, видимо, наслаждается своим обособленным положением, в какое поставила его теперь судьба, давшая ему редкий талант – удивлять раз в год весь мир своим искусством. Бедному, кроткому Матвею приходится выслушать от него много ядовитых, презрительных слов. Принимается Сережка за дело с досадой, с сердцем. Ему лень. Не успел он начертить окружность, как его уже тянет наверх в село пить чай, шататься, пустословить.

– я сейчас приду... – говорит он, закуривая. – А ты тут пока, чем так стоять и считать ворон, принес бы на чем сесть, да подмети.

Матвей остается один. Воздух сер и неласков, но тих. Из-за разбросанных по берегу изб приветливо выглядывает белая церковь. Около ее золотых крестов, не переставая, кружатся галки. В сторону от села, где берег обрывается и становится крутым, над самой кручей стоит спутанная лошадь неподвижно, как каменная, – должно быть, спит или задумалась.

Матвей стоит тоже неподвижно, как статуя, и терпеливо ждет. Задумчиво-сонный вид реки, круженье галок и лошадь нагоняют на него дремоту. Проходит час, другой, а Сережки всё нет. Давно уже река подметена и принесен ящик, чтоб сидеть, а пьянчуга не показывается. Матвей ждет и только позевывает. Чувство скуки ему незнакомо. Прикажут ему стоять на реке день, месяц, год, и он будет стоять.

Наконец Сережка показывается из-за изб. Он идет вразвалку, еле ступая. Идти далеко, лень, и он спускается не по дороге, а выбирает короткий путь, сверху вниз по прямой линии, и при этом вязнет в снегу, цепляется за кусты, ползет на спине – и всё это медленно, с остановками.

– Ты что же это? – набрасывается он на Матвея. – Что без дела стоишь? Когда же колоть лед?

Матвей крестится, берет в обе руки лом и начинает колоть лед, строго придерживаясь начерченной окружности. Сережка садится на ящик и следит за тяжелыми, неуклюжими движениями своего помощника.

– Легче у краев! Легче! – командует он. – Не умеешь, так не берись, а коли взялся, так делай. Ты!

Наверху собирается толпа. Сережка, при виде зрителей, еще больше волнуется.

– Возьму и не стану делать... – говорит он, закуривая вонючую папиросу и сплевывая. – Погляжу, как вы без меня тут. В прошлом годе в Костюкове Степка Гульков взялся по-моему Иордань строить. И что ж? Смех один вышел. Костюковские к нам же и пришли – видимо-невидимо! Изо всех деревень народу навалило.

– Потому окроме нас нигде настоящей Иордани...

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Работай, некогда разговаривать... Да, дед... Во всей губернии другой такой Иордани не найдешь. Солдаты сказывают, поди-ка поищи, в городах даже хуже. Легче, легче!

Матвей кряхтит и отдувается. Работа не легкая. Лед крепок и глубок; нужно его скалывать и тотчас же уносить куски далеко в сторону, чтобы не загромождать площади.

Но как ни тяжела работа, как ни бестолкова команда Сережки, к трем часам дня на Быстрянке уже темнеет большой водяной круг.

– В прошлом годе лучше было... – сердится Сережка. – И этого даже ты не мог сделать! Э, голова! Держат же таких дураков при храме божием! Ступай, доску принеси колышки делать! Неси круг, ворона! Да того... хлеба захвати где-нибудь... огурцов, что ли.

Матвей уходит и, немного погодя, приносит на плечах громадный деревянный круг, покрашенный еще в прежние годы, с разноцветными узорами. В центре круга красный крест, по краям дырочки для колышков. Сережка берет этот круг и закрывает им прорубь.

– Как раз... годится... Подновим только краску и за первый сорт... Ну, что ж стоишь? Делай аналой! Или того... ступай бревна принеси, крест делать...

Матвей, с самого утра ничего не евший и не пивший, опять плетется на гору. Как ни ленив Сережка, но колышки он делает сам, собственноручно. Он знает, что эти колышки обладают чудодейственной силою: кому достанется колышек после водосвятия, тот весь год будет счастлив. Такая ли работа неблагодарна?

Но самая настоящая работа начинается со следующего дня. Тут Сережка являет себя перед невежественный Матвеем во всем величии своего таланта. Его болтовне, попрекам, капризам и прихотям нет конца. Сколачивает Матвей из двух больших бревен высокий крест, он недоволен и велит передельвать. Стоит Матвей, Сережка сердится, отчего он не идет; он идет, Сережка кричит ему, чтобы он не шел, а работал. Не удовлетворяют его ни инструменты, ни погода, ни собственный талант; ничто не нравится.

Матвей выпиливает большой кусок льда для аналая.

– Зачем же ты уголок отшиб? – кричит Сережка и злобно тарачит на него глаза. – Зачем же ты, я тебя спрашиваю, уголок отшиб?

– Прости, Христа ради.

– Делай сызнава!

Матвей пилит снова... и нет конца его мукам! Около проруби, покрытой изукрашенным кругом, должен стоять аналой; на аналое нужно выточить крест и раскрытое Евангелие. Но это не всё. За аналом будет стоять высокий крест, видимый всей толпе и играющий на солнце, как осыпанный алмазами и рубинами. На кресте голубь, выточенный из льда. Путь от церкви к Иордани будет посыпан елками и можжевельником. Такова задача.

Прежде всего Сережка принимается за аналой. Работает он терпугом, долотом и шилом. Крест на аналое, Евангелие и епитрахиль, спускающаяся с аналая, удаются ему вполне. Затем приступает к голубю. Пока он старается выточить на лице голубя кротость и смиренномудрие, Матвей, поворачиваясь как медведь, обдывает крест, сколоченный из бревен. Он берет крест и окунает его в прорубь. Дождавшись, когда вода замерзнет на кресте, он окунает его в другой раз, и так до тех пор, пока бревна не покроются густым слоем льда... Работа не легкая, требующая и избытка сил и терпения.

Но вот тонкая работа кончена. Сережка бегает по селу, как угорелый. Он спотыкается, бранится, клянется, что сейчас пойдет на реку и сломает всю работу. Это он ищет подходящих красок.

Карманы у него полны охры, синьки, сурика, медянки; не заплатив ни копейки, он опрометью выбегает из одной лавки и бежит в другую. Из лавки рукой подать в кабака. Тут выпьет, махнет рукой и, не заплатив, летит дальше. В одной избе берет

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru он свекловичных бураков, в другой луковичной шелухи, из которой делает он желтую краску. Он бранится, толкается, грозит и... хоть бы одна живая душа огрызнулась! Все улыбаются ему, сочувствуют, величают Сергеем Никитичем, все чувствуют, что художество есть не его личное, а общее, народное дело. Один творит, остальные ему помогают. Сережка сам по себе ничтожество, лентяй, пьянчуга и мот, но когда он с суриком или циркулем в руках, то он уже нечто высшее, божий слуга.

Настает крещенское утро. Церковная ограда и оба берега на далеком пространстве кишат народом. Всё, что составляет Иордань, старательно скрыто под новыми рогожами. Сережка смиренно ходит около рогож и старается побороть волнение. Он видит тысячи народа: тут много и из чужих приходов; все эти люди в мороз, по снегу прошли не мало верст пешком только затем, чтобы увидеть его знаменитую Иордань. Матвей, который кончил свое чернорабочее, медвежье дело, уже опять в церкви; его не видно, не слышно; про него уже забыли... Погода прекрасная... На небе ни облачка. Солнце светит ослепительно.

Наверху раздается благовест... Тысячи голов обнажаются, движутся тысячи рук, – тысячи крестных знамений!

И Сережка не знает, куда деваться от нетерпения. Но вот, наконец, звонят к «Достойно»; затем, полчаса спустя, на колокольне и в толпе заметно какое-то волнение. Из церкви одну за другою выносят хоругви, раздаются бойкий, спешащий трезвон. Сережка дрожащей рукой сдергивает рогожи... и народ видит нечто необычайное. Аналой, деревянный круг, колышки и крест на льду переливают тысячами красок. Крест и голубь испускают из себя такие лучи, что смотреть больно... Боже милостивый, как хорошо! В толпе пробегает гул удивления и восторга; трезвон делается еще громче, день еще яснее. Хоругви колышатся и двигаются над толпой, точно по волнам. Крестный ход, сияя ризами икон и духовенства, медленно сходит вниз по дороге и направляется к Иордани. Машут колокольне руками, чтобы там перестали звонить, и водосвятие начинается. Служат долго, медленно, видимо стараясь продлить торжество и радость общей народной молитвы. Тишина.

Но вот погружают крест, и воздух оглашается необыкновенным гулом. Пальба из ружей, трезвон, громкие выражения восторга, крики и давка в погоне за колышками. Сережка прислушивается к этому гулу, видит тысячи устремленных на него глаз, и душа лентяя наполняется чувством славы и торжества.

Ночь на кладбище
(Святочный рассказ)

– Расскажите, Иван Иванович, что-нибудь страшное!

Иван Иванович покрутил ус, кашлянул, причмокнул губами и, придвинувшись к барышням, начал:

– Рассказ мой начинается, как начинаются вообще все лучшие русские сказания: был я, признаться, выпивши... Встречал я новый год у одного своего старинного приятеля и нализался, как сорок тысяч братьев. В свое оправдание должен я сказать, что напился я вовсе не с радости. Радоваться такой чепухе, как новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже... По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег...

Итак, напился я с горя... Когда я вышел от приятеля, то соборные часы пробили ровно два. Погода на улице стояла подлейшая... Сам чёрт не разберет, была то зима или осень. Темнота кругом такая, что хоть глаза выколи: глядишь-глядишь и ничего не видишь, словно тебя в жестянку с ваксой посадили. Порол дождь... Холодный и резкий ветер выводил ужасные нотки; он выл, плакал, стонал, визжал, точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. Под ногами жалобно всхлипывала слякоть; фонари глядели тускло, как заплаканные вдовы... Бедная природа переживала фридрих-гераус... Короче, была погода, которой порадовался бы тать и разбойник, но не я, смиренный и пьяненький обыватель. Меня повергла она в грустное настроение...

«Жизнь – канитель... – философствовал я, шлепая по грязи и пошатываясь. – Пустое, бесцветное прозябание... мираж... Дни идут за днями, годы за годами, а ты всё такая

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
же скотина, как и был... Пройдут еще годы, и ты останешься всё тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим... В конце концов закопают тебя, болвана, в могилу, поедят на твой счет поминальных блинов и скажут: хороший был человек, но жалко, подлец, мало денег оставил!..»

Шел я с Мещанской на Пресню – дистанция для выпившего почтенная... Пробираясь по темным и узким переулкам, я не встретил ни одной живой души, не услышал ни одного живого звука. Боясь набрать в калоши, я сначала шел по тротуару, потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои калоши начали жалобно всхлипать, я свернул на дорогу: тут меньше шансов наткнуться на тумбу или свалиться в канаву...

Мой путь был окутан холодной, непроницаемой тьмой; сначала я встречал по дороге тускло горящие фонари, потом же, когда я прошел два-три переулка, исчезло и это удобство. Приходилось пробираться ощупью... Вглядываясь в потемки и слыша над собой жалобный вой ветра, я торопился... Душу мою постепенно наполнял неизъяснимый страх... Этот страх обратился в ужас, когда я стал замечать, что я заблудился, сбился с пути.

«Извозчик!» – закричал я.

Ответа не последовало... Тогда я порешил идти прямо, куда глаза глядят, зря, в надежде, что рано или поздно я выйду на большую улицу, где есть фонари и извозчики. Не оглядываясь, боясь взглянуть в сторону, я побежал... Навстречу мне дул резкий, холодный ветер, в глаза хлестал крупный дождь... То я бежал по тротуарам, то по дороге... Как уцелел мой лоб после частых прикосновений к тумбам и фонарным столбам, мне решительно непонятно.

Иван Иваныч выпил рюмку водки, покрутил другой ус и продолжал:

– Не помню, как долго я бежал... Помню только, что в конце концов я споткнулся и больно ударился о какой-то странный предмет... Видеть его я не мог, а осязавши, я получил впечатление чего-то холодного, мокрого, гладко ошлифованного... Я сел на него, чтобы отдохнуть... Не стану злоупотреблять вашим терпением, а скажу только, что, когда, немного спустя, я зажег спичку, чтобы закурить папиросу, я увидел, что я сижу на могильной плите...

Я, не видевший тогда вокруг себя ничего, кроме тьмы, и не слышавший ни одного человеческого звука, увидев могильную плиту, в ужасе закрыл глаза и вскочил... Сделав шаг от плиты, я наткнулся на другой предмет... И представьте мой ужас! Это был деревянный крест...

«Боже мои, я попал на кладбище! – подумал я, закрывая руками лицо и опускаясь на плиту. – Вместе того, чтобы идти в Пресню, я побрел в Ваганьково!»

Не боюсь я ни кладбищ, ни мертвецов... Свободен я от предрассудков и давно уже отделался от нянюшкиных сказок, но, очутившись среди безмолвных могил темною ночью, когда стонал ветер и в голове бродили мысли одна мрачнее другой, я почувствовал, как волосы мои стали дыбом и по спине разлился внутренний холод...

«Не может быть! – утешал я себя. – Это оптический обман, галлюцинация... Всё это кажется мне оттого, что в моей голове сидят Депре, Бауэр и Арабажи[101]... Трус!»

И в то время, когда я бодрил себя таким образом, я услышал тихие шаги... Кто-то медленно шел, но... то были не человеческие шаги... для человека они были слишком тихи и мелки...

«Мертвец», – подумал я.

Наконец этот таинственный «кто-то» подошел ко мне, коснулся моего колена и вздохнул... Засим я услышал вой... Вой был ужасный, могильный, тянущий за душу... Если вам страшно слушать нянек, рассказывающих про воющих мертвецов, то каково же слышать самый вой! Я оступел и окаменел от ужаса... Депре, Бауэр и Арабажи выскочили из головы, и от пьяного состояния не осталось и следа... Мне казалось, что если я открою глаза и рискну взглянуть на тьму, то увижу бледно-желтое, костлявое лицо, полусгнивший саван...

«Боже, хоть бы скорее утро», – молился я.

Но, пока наступило утро, мне пришлось пережить один невыразимый и не поддающийся описанию ужас. Сидя на плите и слушая вой обитателя могилы, я вдруг услышал новые шаги... Кто-то, тяжело и мерно ступая, шел прямо на меня... Поравнявшись со мной, новый выходец из могилы вздохнул, и минуту спустя холодная, костлявая рука тяжело опустилась на мое плечо... Я потерял сознание.

Иван Иваныч выпил рюмку водки и крякнул.

– Ну? – спросили его барышни.

– Очнулся я в маленькой квадратной комнате... В единственное решетчатое окошечко слабо пробивался рассвет... «Ну, – подумал я, – это, значит, меня мертвецы к себе в склеп затащили»... Но какова была моя радость, когда я услышал за стеной человеческие голоса:

«Где ты его взял?» – допрашивал чей-то бас.

«Около монументной лавки Белобрысова, ваше благородие, – отвечал другой бас, – где памятники и кресты выставлены. Гляжу, а он сидит и обнимает памятник, а около него чей-то пес воет... Должно, выпивши...»

Утром, когда я проснулся, меня выпустили...

Конкурс

Редакция «Осколков» объявляет конкурс на премию.

Кто напишет лучшее любовное письмо, тот в награду получит: фотографию хорошенькой женщины, свидетельство (за подписью редактора и судей конкурса) в том, что такой-то, тогда-то вышел победителем на конкурсе, и право быть записанным в число даровых подписчиков настоящего или будущего года, смотря по желанию. Кроме того, письмо, напечатанное в «Осколках», даст его автору 15 коп. со строки.

Условия конкурса: 1) Участниками конкурса могут быть только лица мужского пола. 2) Письмо должно быть прислано в редакцию «Осколков» не позже 1 марта сего года и снабжено адресом и фамилией автора. 3) В письме автор объясняется в любви; доказывает, что он действительно влюблен и страдает; проводит тут же, кстати, параллель между простым увлечением и настоящей любовью; описывает свои новые ощущения, не вдаваясь в глубокий анализ; просит руки; ревнует к Иксу и Зету; описывает муки, какие терпит он при одной только мысли об отказе; кланяется ее папаше и мамаше; тонко и осторожно справляется о приданом и... всё это не более как в 50 строках. 4) *Conditio sine qua non*[102]: автор должен быть литературен, приличен, нежен, игрив и поэтичен. Нытье, ложный классицизм и плохие стихи не допускаются. Вот и всё.

Судьями будут назначены дамы.

Неудача

Илья Сергеич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью, в маленькой зале, происходило, по-видимому, объяснение в любви; объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щупкин.

– Ключет! – шептал Пеплов, дрожа от нетерпения и потирая руки. – Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образ и идем благословлять... Накроем... Благословение образом свято и ненаруσιμο... Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает.

А за дверью происходил такой разговор:

– Оставьте ваш характер! – говорил Щупкин, зажигая спичку о свои клетчатые брюки. – Вовсе я не писал вам писем!

– Ну да! Будто я не знаю вашего почерка! – хохотала, девица, манерно взвизгивая и то и дело поглядывая на себя в зеркало. – Я сразу узнала! И какие вы странные! Учитель чистописания, а почерк как у курицы! Как же вы учите писать, если сами плохо пишете?

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Гм!.. Это ничего не значит-с. В чистописании главное не почерк, главное, чтоб ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени... Да что почерк! Пустое дело! Некрасов писатель был, а совестно глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк. [103]

– То Некрасов, а то вы... (вздых). Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал!

– Стихи и я могу написать вам, ежели желаете.

– О чем же вы писать можете?

– О любви... о чувствах... о ваших глазах... Прочтете – очумеете... Слеза прошибет! А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать?

– Велика важность!.. Да хоть сейчас целуйте!

Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнувшей яичным мылом, ручке.

– Снимай образ! – заторопился Пеплов, толкнув локтем свою жену, бледнея от волнения и застегиваясь. – Идем! Ну!

И, не медля ни секунды, Пеплов распахнул дверь.

– Дети... – забормотал он, воздевая руки и слезливо мигая глазами. – Господь вас благословит, дети мои... Живите... плодитесь... размножайтесь...

– И... и я благословляю... – проговорила мамаша, плача от счастья. – Будьте счастливы, дорогие! О, вы отнимаете у меля единственное сокровище! – обратилась она к Щупкину. – Любите же мою дочь, жалейте ее...

Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова.

«Попался! Окрутили! – подумал он, млея от ужаса. – Крышка теперь тебе, брат! не выскочишь!»

И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать: «Берите, я побежден!»

– Бла... благословляю... – продолжал папаша и тоже заплакал. – Наташенька, дочь моя... становись рядом... Петровна, давай образ...

Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него перекошило от гнева.

– Тумба! – сердито сказал он жене. – Голова твоя глупая! Да нешто это образ?

– Ах, батюшки-светы!

Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза и увидел, что он спасен: мамаша впопыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Лажечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна, с портретом в руках, стояли сконфуженные, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал.

К сведению мужей
(Научная статья)

По мере того, как прогрессировала человеческая мысль, вместе с другими насущными вопросами разрабатывались и способы покорения чужих жен. Эти способы могут служить прекрасным мерилем человеческого развития. Чем тоньше и грациознее способ, тем совершеннее человек – и наоборот. Оставляя в стороне способы, которые употребляются австралийскими дикарями и московским купечеством, все ныне употребляемые способы легко можно подвести под несколько определенных типов.

Самый обычный и употребительный – это старый способ, известный добродетельным людям по романам. Тут на первом плане томное выражение лица, загадочно-жгучий взор, провожание, «понимание друг друга без слов», просиживание по целым часам рядом на диване, романсы, записочки и прочая канитель. Барыня «терпит» около

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru себя вздыхателя, смеется над ним вместе с мужем, но уехал муж – чичисбей, не зевай: барыня «фатально» падает и просит никому не говорить. Этот способ очень любим и поощряется барынями лет 26–35. Он легок, а потому и употребляется чаще всего людьми неизобретательными, юными и нищими духом. В большом ходу он у младших межевых чиновников, мелких железнодорожников и отставных юнкеров.

Способ кузенов. Тут измена бывает не преднамеренная. Она происходит без предисловий, без приготовлений, а нечаянно, сама собою, где-нибудь на даче или в карете, под влиянием неосторожно выпитого шампанского или чудной лунной ночи.

Способ по теории нищей братии: просите и дастся вам. Не справляясь, нравитесь вы ей или нет, вы с первого же абцуга начинаете приставать к ней, как банный лист, как репейник... Вы не отходите от нее ни на один шаг и в этом отношении соперничаете с ее тенью: она от вас, вы за ней... Compliments, любезности, объяснения в любви – ваша речь. Вы умоляете, клянетесь, обещаете застрелиться... Вам смеются в лицо, вас отталкивают, презирают, пугают гневом мужа, но, тем не менее, вы смело идете дальше. Улучив удобную минутку, вы падаете на колени, прижимаетесь к ее руке... Она вспыхивает, плюет, бьет вас по щеке, но вы не идете вспять... Как истый нищий, вы продолжаете подавать ей шубку, прислуживать за ужином, заглядывать умоляюще в глаза... Вам, наконец, грубо отказывают от дома. Но и это не беда. У вас еще в запасе бомбардировка письмами и подсылка третьих лиц. И к тому же, где бы она ни была вне дома, она всюду видит вас: в театре, на скачках, в собрании... «Подайте милостыньку!» – умоляют ее ваши глаза. И так далее. Проходит полгода, год... и скала трогается. В конце концов к вам или привыкают, или же подадут вам милостыню для того только, чтобы отвязаться... Главное, нужно помнить, что *aqua cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo*...[104]

Способ ошеломляющий, когда вы берете жену приступом, во что бы то ни стало, не жалея ни смелости, ни нахальства. Тут действуете вы наудачу, напролом и... если не вылетите из окна третьего этажа, или не сломаете шеи, кувыряясь вниз по крутой лестнице, то вас можно поздравить с полным успехом. Женщины вообще не против ошеломляющих моментов.

Способ à la граф Нулин, нередко практикуемый проезжими поручиками и адвокатами, едущими на съезд мировых судей. Из 100 случаев не удаются только 5, да и то по не зависящим от редакции обстоятельствам.

Способ тонкий. Самый умный, ехидный и самый опасный для мужей. Понятен он только психологам и знатокам женского сердца. По этому способу вы, покоряя чью-нибудь жену, держите себя как можно дальше от нее. Почувствовав к ней влечение, род недуга[105], вы перестаете бывать у нее, встречаетесь с ней возможно реже, мельком... Тут вы действуете на расстоянии. Всё дело в некоторого рода гипнотизации.

Она не должна видеть, но должна чувствовать вас, как кролик чувствует взгляд удава. Гипнотизируете вы ее не взглядом, а ядом вашего языка, причем самой лучшей передаточной проволокой может служить сам муж...

Вот вы встречаете мужа где-нибудь в клубе или в театре...

– А как поживает ваша супруга? – спрашиваете вы его между прочим. – Милейшая женщина! Ужасно она мне нравится! То есть чёрт знает, как нравится!

– Гм... Чем же это она вам так понравилась? – спрашивает довольный супруг.

– И вы еще спрашиваете?! Прелестнейшее, поэтическое создание... Впрочем, вы, мужья, прозаики, не понимаете!.. Поймите, что это идеальная женщина! Я радуюсь за вас! Таких-то именно в наше время и нужно женщин... именно таких! Красавица, полная жизни и правды, искренняя и в то же время загадочная... Такие женщины, если полюбят, то уж любят сильно, всем пылом... и проч. ...

Супруг в тот же день, ложась спать, не утерпит, чтобы не сказать жене:

– Видал я Петра Иваныча... Ужасно тебя расхваливал. И красавица ты, и загадочная... и будто любить ты способна как-то особенно... С три короба наговорил... Ха-ха...

Немного спустя вы опять норовите встретиться с супругом.

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Кстати, милый мой... – говорите вы ему. – Заезжал ко мне вчера один художник... Получил он от какого-то князя заказ: написать за 2000 руб. головку типичной русской красавицы. Просил поискать для него натурщицу. Хотел было я направить его к вашей жене, да постеснялся... А ваша жена как раз бы подошла. Прелестная головка!

Нужно быть слишком нелюбезным супругом, чтобы не передать этого жене. Утром жена долго глядится в зеркало в думает:

«Откуда он взял, что у меня чисто русское лицо?!»

После этого, заглядывая в зеркало, она всякий раз думает о вас. Между тем нечаянные встречи ваши с ее мужем продолжают. После одной из встреч муж приходит домой и начинает всматриваться в лицо жены.

– Что ты вглядываешься? – спрашивает она.

– Да тот чудак, Петр Иваныч, нашел, что будто у тебя один глаз темнее другого. Не нахожу этого, хоть убей!

Жена опять к зеркалу.

– Видал в театре Петра Иваныча, – говорит муж после восьмой или девятой встречи. – Просит извинения, что не может заехать к тебе: некогда! Чудак, ей-богу! Пристал ко мне, как с ножом к горлу: «Отчего ваша жена на сцену не поступает? С этойкой, говорит, наружностью, с таким развитием и умением чувствовать грешно жить дома!» Ха-ха... Далась ты ему! «Не будь, говорит, я занят, отбил бы я у вас ее...» Что ж, говорю, отбивайте... «Вы, говорит, не понимаете ее! Ее понять нужно! Это, говорит, натура недюжинная, ищущая выхода!» Ха-ха... Ну, думаю, пожил бы ты с ней, так другое бы запел...

И бедной женой постепенно овладевает страстная жажда встречи с вами. Вы единственный человек, который понял ее, и только вам может она рассказать многое... очень многое! Но вы упорно не едете и не попадаетесь ей на глаза. Не видела она вас давно, но ваш мучительно сладкий яд уже отравил ее. Муж, зевая, передает ей ваши слова, а ей кажется, что она слышит вас, видит блеск ваших глаз...

Наступает пора ловить момент. В один из вечеров приходит муж домой и говорит жене:

– Встретил я сейчас Петра Иваныча... Скучный такой... Жалуется, что тоска одолела. «С тоски, говорит, и домой не хожу, всю ночь по N-скому бульвару гуляю...» Чудак!

Жена вся в жару... Ей страстно хотелось бы пойти на N-ский бульвар и взглянуть хоть одним глазом на человека, который сумел так понять ее и который теперь почему-то в тоске. Кто знает? Поговори она теперь с ним, скажи ему слова два утешения, быть может, он перестал бы страдать...

«Но это дико... невозможно», – думает она.

Дождавшись, когда уснет муж, она поднимает свою горячую голову, прикладывает палец к губам и думает. Что, если она рискнет выйти сейчас из дому? После можно будет соврать что-нибудь, сказать, что она бегала в аптеку, к зубному врачу...

– Пойду! – решает она.

План у нее уже готов: до бульвара на извозчике, на бульваре она пройдет мимо него, взглянет и – назад... Этим она не скомпрометирует ни себя, ни мужа... И она одевается, тихо выходит из дому и спешит к бульвару. На бульваре темно, пустынно... Но вот она видит чей-то силуэт. Это, должно быть, он... Дрожа всем телом, медленно приближается она к вам... вы идете к ней... Минуту вы стоите молча и глядите друг другу в глаза... Проходит еще минута молчания и... кролик беззаветно падает в пасть удава.

Первый дебют
(Рассказ)

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Помощник присяжного поверенного Пятеркин возвращается на простой крестьянской телеге из уездного городишка N, куда ездил защищать лавочника, обвинявшегося в поджоге. На душе у него было гнусно, как никогда. Он чувствовал себя оскорбленным, провалившимся, оплеванным. Ему казалось, что истекший день, день его долгожданного и многообещающего дебюта, искалечил на веки вечные его карьеру, веру в людей, мировоззрение.

Во-первых, его безобразно и жестоко надул обвиняемый. До суда лавочник так искренно мигал глазами и так чистосердечно, просто расписывал свою невинность, что все собранные против него улики в глазах психолога и физиономиста (каковыми считал себя юный защитник) имели вид бесцеремонных натяжек, придировок и предубеждений. На суде же лавочник оказался плутом и дрянью, и бедная психология пошла к чёрту.

Во-вторых, он, Пятеркин, казалось ему, вел себя на суде невозможно: заикался, путался в вопросах, вставал перед свидетелями, глупо краснел. Язык его совсем не слушался и в простой речи спотыкался, как в скороговорках. Речь свою говорил он вяло, словно в тумане, глядя через головы присяжных. Говорил и всё время казалось ему, что присяжные глядят на него насмешливо, презрительно.

В-третьих, что хуже всего, товарищ прокурора и гражданский истец, старый, матерый адвокат, вели себя не товарищески. Они, казалось ему, условились игнорировать защитника и если поднимали на него глаза, то только для того, чтобы поупражнять на нем свою развязность, поглумиться, эффектно окрыситься. В их речах слышались ирония и снисходительный тон. Говорили они и точно извинения просили, что защитник такой дурачок и барашек. Пятеркин в конце концов не вынес. Во время перерыва он подбежал к гражданскому истцу и, дрожа всем телом, наговорил ему кучу дерзостей. Потом, когда заседание кончилось, он нагнал на лестнице товарища прокурора и этому поднес пилюлю.

В-четвертых... Впрочем, если перечислять всё то, что мутило и сосало теперь за сердце моего героя, то нужно в-пятых, шестых... до сотых включительно...

«Позор... мерзость! – страдал он, сидя в телеге и пряча свои уши в воротник. – Кончено! К чёрту адвокатура! Заберусь куда-нибудь в глушь, в уединение... подальше от этих господ... подальше от этих дрязг».

– Да езжай же, чёрт тебя возьми! – набросился он на возницу. – Что ты едешь, точно мертвого жениться везешь? Гони!

– Гони... гони... – передразнил возница. – Нешто не видишь, какая дорога? Чёрта погони, так и тот замучается. Это не погода, а наказание господне.

Погода была отвратительная. Она, казалось, негодовала, ненавидела и страдала заодно с Пятеркиным. В воздухе, непроглядном, как сажа, дул и посвистывал на все лады холодный влажный ветер. Шел дождь. Под колесами всхлипывал снег, мешавшийся с вязкою грязью. Буеракам, колдобинам и размытым мостикам не было конца.

– Зги не видать... – продолжал возница. – Этак мы и до утра не доедем. Придется на ночь у Луки остановиться.

– У какого Луки?

– Тут по дороге в лесу старик такой живет. Вместо лесника его держат. Да вот она и изба самая.

Послышался хриплый собачий лай, и между голыми ветками замелькал тусклый огонек. Каким бы вы ни были мизантропом, но если ненастную, глухую ночью вы увидите лесной огонек, то вас непременно потянет к людям. То же случилось и с Пятеркиным. Когда телега остановилась у избы, из единственного окошечка которой робко и приветливо выглядывал свет, ему стало легче.

– Здорово, старик! – сказал он ласково Луке, который стоял в сенях и обеими руками чесал себе живот. – Можно у тебя переночевать?

– Мо..можно... – проворчал Лука. – Тут уж есть двое... Пожалуйте в светелку...

Пятеркин нагнулся, вошел в светелку и... мизантропия воротилась к нему во всей

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru своей силе. За маленьким столом, при свете сальной свечки, сидели два человека, имевших такое сильное влияние на его настроение: товарищ прокурора фон Пах и гражданский истец Семечкин. Подобно Пятеркину, они возвращались из N и тоже попали к Луке. Увидев входящего защитника, оба они приятно удивились и привскочили.

– Коллега! Какими судьбами? – заговорили они. – И вас загнало сюда ненастье? Милости просим! Присаживайтесь.

Пятеркин думал, что, увидев его, они отвернутся, почувствуют неловкость и умолкнут, а потому такая дружеская встреча показалась ему по меньшей мере нахальством.

– Я не понимаю... – пробормотал он, с достоинством пожимая плечами. – После того, что между нами произошло, я... я даже удивляюсь!

Фон Пах удивленно поглядел на Пятеркина, пожал плечами и, повернувшись к Семечкину, продолжал прерванную беседу:

– Ну-с, читаю я дознание... А в дознании, батенька, противоречие на противоречии... Пишет, например, становой, что умершая крестьянка Иванова, когда ушла от гостей, была мертвецки пьяна и умерла, пройдя три версты пешком. Как она могла пройти три версты пешком, если была мертвецки пьяна? Ну, разве это не противоречие? А?

Пока фон Пах таким образом разглагольствовал, Пятеркин сел на скамью и принялся осматривать свое временное жилище... Лесной огонек поэтичен только издалека, вблизи же он – жалкая проза... Здесь освещал он маленькую, серую каморку с кривыми стенами и с закопченным потолком. В правом углу висел темный образ, из левого мрачным дуплом глядела неуклюжая печь. На потолке по балкам тянулся длинный шест, на котором когда-то качалась колыбель. Ветхий столик и две узкие, шаткие скамьи составляли всю мебель. Было темно, душно и холодно. Пахло гнилью и сальной гарью.

«Свиньи... – подумал Пятеркин, косясь на своих врагов. – Оскорбили человека, втоптали его в грязь и беседуют теперь, как ни в чем не бывало».

– Послушай, – обратился он к Луке, – нет ли у тебя другой комнаты? Я здесь не могу быть.

– Сени есть, да там холодно-с.

– Чертовски холодно... – проворчал Семечкин. – Знал бы, напитоков и карт с собой захватил. Чаю напиться, что ли? Дедусь, сочини-ка самоварчик!

Через полчаса Лука подал грязный самовар, чайник с отбитым носиком и три чашки.

– Чай у меня есть... – сказал фон Пах. – Теперь бы только сахару достать... Дед, дай-ка сахару!

– Эва! Сахару... – ухмыльнулся в сенях Лука. – В лесу сахару захотели! Тут не город.

– Что ж? Будем пить без сахару, – решил фон Пах.

Семечкин заварил чай и налил три чашки.

«И мне налили... – подумал Пятеркин. – Очень нужно! Наплевали в рожу и потом чаем угощают. У этих людей просто самолюбия нет. Потребую у Луки еще чашку и буду одну горячую воду пить. Кстати же у меня есть сахар».

Четвертой чашки у Луки не оказалось. Пятеркин вылил из третьей чашки чай, налил в нее горячей воды и стал прихлебывать, кусая сахар. Услыхав громкое кусанье, его враги переглянулись и прыснули.

– Ей-богу, это мило! – зашептал фон Пах. – У нас нет сахару, у него нет чая... Ха-ха... Весело! Какой же, однако, он еще мальчик! Верзила, а настолько еще сохранился, что умеет дуться, как институтка... Коллега! – повернулся он к Пятеркину. – Вы напрасно брезгаете нашим чаем... Он не из дешевых... А если вы не

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
пьете из амбиции, то ведь за чай вы могли бы заплатить нам сахаром!

Пятеркин промолчал.

«Нахалы... – подумал он. – Оскорбили, оплевали и еще лезут! И это люди! Им, стало быть, нипочем те дерзости, которые я наговорил им в суде... Не буду обращать на них внимание... лягу...»

Около печи на полу был расстелен тулуп... У изголовья лежала длинная подушка, набитая соломой... Пятеркин растянулся на тулупе, положил свою горячую голову на подушку и укрылся шубой.

– Какая скучища! – зевнул Семечкин. – Читать холодно и темно, спать негде... Брр!.. Скажите мне, Осип Осипыч, если, например, Лука пообедаст в ресторане и не заплатит за это денег, то что это будет: кража или мошенничество?

– Ни то, ни другое... Это только повод к гражданскому иску...

Поднялся спор, тянувшийся полтора часа. Пятеркин слушал и дрожал от злости... Раз пять порывался он вскочить и вмешаться в спор.

«Какой вздор! – мучился он, слушая их. – Как отстали, как нелогичны!»

Спор кончился тем, что фон Пах лег рядом с Пятеркиным, укрылся шубой и сказал:

– Ну, будет... Мы своим спором не даем спать господину защитнику. Ложитесь...

– Он, кажется, уже спит... – сказал Семечкин, ложась по другую сторону Пятеркина.
– Коллега, вы спите?

«Пристают... – подумал Пятеркин. – Свиньи...»

– Молчит, значит спит... – промышал фон Пах. – Ухитрился уснуть в этом хлеву... Говорят, что жизнь юристов кабинетная... Не кабинетная, а собачья... Ишь ведь куда черти занесли! А мне, знаете ли, нравится наш сосед... как его?... Шестеркин, что ли? Горячий, огневой...

– М-да... Лет через пять хорошим адвокатом будет... Есть у мальчика манера... Еще на губах молоко не обсохло, а уж говорит с завитушками и любит фейерверки пускать... Только напрасно он в своей речи Гамлета припутал.

Близкое соседство врагов и их хладнокровный, снисходительный тон душили Пятеркина. Его распирало от злости и стыда.

– А с сахаром-то история... – ухмыльнулся фон Пах. – Сущя институтка! За что он на нас обиделся? Вы не знаете?

– А чёрт его знает...

Пятеркин не вынес. Он вскочил, открыл рот, чтобы сказать что-то, но мучения истекшего дня были уж слишком сильны: вместо слов из груди вырвался истерический плач.

– Что с ним? – ужаснулся фон Пах. – Голубчик, что с вами?

– Вы... вы больны? – вскочил Семечкин. – Что с вами? Денег у вас нет? Да что такое?

– Это низко... гадко! Целый день... целый день!

– Душенька моя, что гадко и низко? Осип Осипыч, дайте воды! Ангел мой, в чем дело? Отчего вы сегодня такой сердитый? Вы, вероятно, защищали сегодня в первый раз? Да? Ну, так это понятно! Плачьте, милый... Я в свое время вешаться хотел, а плакать лучше, чем вешаться. Вы плачьте, оно легче будет.

– Гадко... мерзко!

– Да ничего гадкого не было! Всё было так, как нужно. И говорили вы хорошо, и

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru слушали вас хорошо. Мнительность, батенька! Помню, вышел я в первый раз на защиту. Штанишки рыжие, фрачишко музыкант одолжил. Сижу я, и кажется мне, что над моими штанишками публика смеется. И подсудимый-то, выходит, меня надул, и прокурор глумится, и сам-то я глуп. Чай, порешили уже адвокатуру к чёрту? Со всеми это бывает! Не вы первый, не вы последний. Недешево, батенька, первый дебют стоит!

– А кто издевался? Кто... глумился?

– Никто! Вам только казалось это! Всегда дебютантам это кажется. Вам не казалось ли также, что присяжные глядели вам в глаза презрительно? Да? Ну, так и есть. Выпейте, голубчик. Укройтесь.

Враги укрыли Пятеркина шубами и ухаживали за ним, как за ребенком, всю ночь. Страдания истекшего дня оказались пуфом.

У телефона

– Что вам угодно? – спрашивает женский голос.

– Соединить с «Славянским Базаром».

– Готово!

Через три минуты слышу звонок... Прикладываю трубку к уху и слышу звуки неопределенного характера: не то ветер дует, не то горох сыплется... Кто-то что-то лепечет...

– Есть свободные кабинеты? – спрашиваю я.

– Никого нет дома... – отвечает прерывистый детский голосок. – Папа и мама к Серафиме Петровне поехали, а у Луизы Францовны грипп.

– Вы кто? Из «Славянского Базара»?

– Я – Сережа... Мой папа доктор... Он принимает по утрам...

– Душечка, мне не доктор нужен, а «Славянский Базар»...

– Какой базар? (смех). Теперь я знаю, кто вы... Вы Павел Андреич... А мы от Кати письмо получили! (смех). Она на офицере женится... А вы когда же мне краски купите?

Я отхожу от телефона и минут через десять опять звоню...

– Соединить со «Славянским Базаром»! – прошу я.

– Наконец-то! – отвечает хриплый бас. – И фукс с вами?

– Какой фукс? Я прошу соединить со «Славянским Базаром»!!

– Вы в «Славянском Базаре»! Хорошо, приеду... Сегодня же и кончим наше дело... Я сейчас... Закажите мне, голубчик, порцию селянки из осетрины... Я еще не обедал...

«Тьфу! Чёрт знает что! – думаю я, отходя от телефона. – Может быть, я с телефоном обращаться не умею, путаю... Постой, как нужно? Сначала нужно эту штучку покрутить, потом эту штуку снять и приложить к уху... Ну-с, потом? Потом эту штуку повесить на эти штучки и повернуть три раза эту штучку... Кажется, так!»

Я опять звоню. Ответа нет. Звоню с остервенением, рискуя отломать штучку. В трубке шум, похожий на беготню мышей по бумаге...

– С кем говорю? – кричу я. – Отвечайте же! Громче!

– Мануфактура. Тимофея Ваксина сыновья...

– Покорнейше благодарю... Не нужно мне вашей мануфактуры...

– Вы Сычов? Миткаль вам уж послан...

Я вешаю трубку и опять начинаю экзаменовать себя: не путаю ли я? Прочитываю «правила», выкуриваю папиросу и опять звоню. Ответа нет...

«Должно быть, в „Славянском Базаре“ телефон испортился, – думаю я. – Попробую поговорить с „Эрмитажем“...»

Вычитываю еще раз в правилах, как беседовать с центральной станцией, и звоню..

– Соедините с «Эрмитажем»! – кричу я. – С «Эрми-та-жем»!!

Проходит пять минут, десять... Терпение начинает мало-помалу лопаться, но вот – ура! – слышится звонок.

– С кем говорю? – спрашиваю я.

– Центральная станция...

– Тьфу! Соедините с «Эрмитажем»? Ради бога!

– С феррейном?

– С «Эр-ми-та-жем»!!

– Готово...

«Ну, кажется, кончились мои мучения... – думаю я. – Уф, даже пот выступил!»

Звонок. Хватаюсь за трубку и взываю:

– Отдельные кабинеты есть?

– Папа и мама уехали к Серафиме Петровне, у Луизы Францовны грипп... Никого нет дома!

– Это вы, Сережа?

– Я... А вы кто? (смех)... Павел Андреич? Отчего вы у нас вчера не были? (смех). Папа китайские тени показывал... Надел мамину шляпу и представил Авдотью Николаевну...

Сережин голос вдруг обрывается и наступает тишина. Я вешаю трубку и звоню минуты три, до боли в пальцах.

– Соедините с «Эрмитажем»! – кричу я. – С рестораном, что на Трубной площади! Да вы слышите или нет?

– Отлично слышу-с... Но здесь не «Эрмитаж», а «Славянский Базар».

– Вы «Славянский Базар»?

– Точно так... «Славянский Базар»...

– Уф! Ничего не понимаю! У вас есть свободные кабинеты?

– Сейчас узнаю-с...

Проходит минута, другая... По трубке пробегает легкая голосовая дрожь... Я вслушиваюсь и ничего не понимаю...

– Отвечайте же: есть кабинеты?

– Да вам что нужно? – спрашивает женский голос.

– Вы из «Славянского Базара»?

– Из центральной станции...

Детвора

Папы, мамы и тети Нади нет дома. Они уехали на крестины к тому старому офицеру, который ездит на маленькой серой лошади. В ожидании их возвращения Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркин сын Андрей сидят в столовой за обеденным столом и играют в лото. Говоря по совести, им пора уже спать; но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на крестинах был ребеночек и что подавали за ужином? Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит цифрами, ореховой скорлупой, бумажками и стеклышками. Перед каждым из играющих лежат по две карты и по кучке стеклышек для покрывки цифр. Посреди стола белеет блюдечко с пятью копеечными монетами. Возле блюдечка недоеденное яблоко, ножницы и тарелка, в которую приказано класть ореховую скорлупу. Играют дети на деньги. Ставка – копейка. Условие: если кто смошенничает, того немедленно вон. В столовой, кроме играющих, нет никого. Няня Агафья Ивановна сидит внизу в кухне и учит там кухарку кроить, а старший брат, Вася, ученик V класса, лежит в гостиной на диване и скучает.

Играют с азартом. Самый большой азарт написан на лице у Гриши. Это маленький, девятилетний мальчик с догола остриженной головой, пухлыми щеками и с жирными, как у негра, губами. Он уже учится в приготовительном классе, а потому считается большим и самым умным. Играет он исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. Его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам партнеров. Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженую голову, не дают ему сидеть покойно, сосредоточиться. Вертится он, как на иголках. Выиграв, он с жадностью хватается деньги и тотчас же прячет их в карман. Сестра его Аня, девочка лет восьми, с острым подбородком и умными блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто-нибудь не выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра, Соня, девочка шести лет, с кудрявой головкой и с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на бонбоньерках, играет в лото ради процесса игры. По лицу ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный карапузик, пыхтит, сопит и пучит глаза на карты. У него ни корыстолюбия, ни самолюбия. Не гонят из-за стола, не укладывают спать – и на том спасибо. По виду он флегма, во в душе порядочная бестия. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Ему давно уже нужно кое-куда сбегать, но он не выходит из-за стола ни на минуту, боясь, чтоб без него не похитили его стеклышек и копеек. Так как он знает одни только единицы и те числа, которые оканчиваются нулями, то за него покрывает цифры Аня. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей, черномазый болезненный мальчик, в ситцевой рубашке и с медным крестиком на груди, стоит неподвижно и мечтательно глядит на цифры. К выигрышу и к чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию: сколько на этом свете разных цифр, и как это они не перепутаются!

Выкрикивают числа все по очереди, кроме Сони и Алеши. Ввиду однообразия чисел, практика выработала много терминов и смехотворных прозвищ. Так, семь у игроков называется кочергой, одиннадцать – палочками, семьдесят семь – Семен Семенычем, девяносто – дедушкой и т. д. Игра идет бойко.

– Тридцать два! – кричит Гриша, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрики.
– Семнадцать! Кочерга! Двадцать восемь – сено косим!

Аня видит, что Андрей прозевал 28. В другое время она указала бы ему на это, теперь же, когда на блюдечке вместе с копеекой лежит ее самолюбие, она торжествует.

– Двадцать три! – продолжает Гриша. – Семен Семеныч! Девять!

– Прусак, прусак! – вскрикивает Соня, указывая на прусака, бегущего через стол.
– Ай!

– Не бей его, – говорит басом Алеша. – У него, может быть, есть дети...

Соня провожает глазами прусака и думает о его детях: какие это, должно быть, маленькие прусачата!

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Сорок три! Один! – продолжает Гриша, страдая от мысли, что у Ани уже две катерны. – Шесть!

– Партия! У меня партия! – кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча.

У партнеров вытягиваются физиономии.

– Проверить! – говорит Гриша, с ненавистью глядя на Соню.

На правах большого и самого умного, Гриша забрал себе решающий голос. Что он хочет, то и делают. Долго и тщательно проверяют Соню, и к величайшему сожалению ее партнеров оказывается, что она не смошенничала. Начинается следующая партия.

– А что я вчера видела! – говорит Аня как бы про себя. – Филипп Филиппыч заворотил как-то веки, и у него сделались глаза красные, страшные, как у нечистого духа.

– Я тоже видел, – говорит Гриша. – Восемь! А у нас ученик умеет ушами двигать. Двадцать семь!

Андрей поднимает глаза на Гришу, думает и говорит:

– И я умею ушами шевелить...

– А ну-ка, пошевели!

Андрей шевелит глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходят в движение. Всеобщий смех.

– Нехороший человек этот Филипп Филиппыч, – вздыхает Соня. – Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке... И мне стало так неприлично!

– Партия! – вскрикивает вдруг Гриша, хватая с блюдечка деньги. – У меня партия! Проверяйте, если хотите!

Кухаркин сын поднимает глаза и бледнеет.

– Мне, значит, уж больше нельзя играть, – шепчет он.

– Почему?

– Потому что... потому что у меня больше денег нет.

– Без денег нельзя! – говорит Гриша.

Андрей на всякий случай еще раз роется в карманах. Не найдя в них ничего, кроме крошек и искусанного карандашика, он кривит рот и начинает страдальчески мигать глазами. Сейчас он заплачет...

– Я за тебя поставлю! – говорит Соня, не вынося его мученического взгляда. – Только смотри, отдашь после.

Деньги вносятся, и игра продолжается.

– Кажется, где-то звонят, – говорит Аня, делая большие глаза.

Все перестают играть и, раскрыв рты, глядят на темное окно. За темнотой мелькает отражение лампы.

– Это послышалось.

– Ночью только на кладбище звонят... – говорит Андрей.

– А зачем там звонят?

– Чтоб разбойники в церковь не забрались. Звона они боятся.

– А для чего разбойникам в церковь забираться? – спрашивает Соня.

– Известно для чего: сторожей поубивать!

Проходит минута в молчании. Все переглядываются, вздрагивают и продолжают игру. На этот раз выигрывает Андрей.

– Он смошенничал, – басит ни с того ни с сего Алеша.

– Врешь, я не смошенничал!

Андрей бледнеет, кривит рот и хлоп Алешу по голове! Алеша злобно таращит глаза, вскакивает, становится одним коленом на стол и, в свою очередь, – хлоп Андрея по щеке! Оба дают друг другу еще по одной пощечине и ревут. Соня, не выносящая таких ужасов, тоже начинает плакать, и столовая оглашается разноголосым ревом. Но не думайте, что игра от этого кончилась. Не проходит и пяти минут, как дети опять хохочут и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. Алеша даже счастлив: недоразумение было!

В столовую входит Вася, ученик V класса. Вид у него заспанный, разочарованный.

«Это возмутительно! – думает он, глядя, как Гриша ощупывает карман, в котором звякают копейки. – Разве можно давать детям деньги? И разве можно позволять им играть в азартные игры? Хороша педагогия, нечего сказать. Возмутительно!»

Но дети играют так вкусно, что у него самого является охота присоседиться к ним и попытать счастья.

– Погодите, и я сяду играть, – говорит он.

– Ставь копейку!

– Сейчас, – говорит он, роясь в карманах. – У меня копейки нет, но вот есть рубль. Я ставлю рубль.

– Нет, нет, нет... копейку ставь!

– Дураки вы. Ведь рубль во всяком случае дороже копейки, – объясняет гимназист. – Кто выиграет, тот мне сдачи сдаст.

– Нет, пожалуйста! Уходи!

Ученик V класса пожимает плечами и идет в кухню взять у прислуги мелочи. В кухне не оказывается ни копейки.

– В таком случае разменяй мне, – пристаёт он к Грише, придя из кухни. – Я тебе промен заплачу. Не хочешь? Ну продай мне за рубль десять копеек.

Гриша подозрительно косится на Васю: не подвох ли это какой-нибудь, не жульничество ли?

– Не хочу, – говорит он, держась за карман.

Вася начинает выходить из себя, бранится, называя игроков болванами и чугунами, мозгами.

– Вася, да я за тебя поставлю! – говорит Соня. – Садись!

Гимназист садится и кладет перед собой две карты. Аня начинает читать числа.

– Копейку уронил! – заявляет вдруг Гриша взволнованным голосом. – Постойте!

Снимают лампу и лезут под стол искать копейку. Хватают руками плевки, ореховую скорлупу, стучаются головами, но копейки не находят. Начинают искать снова и ищут до тех пор, пока Вася не вырывает из рук Гриши лампу и не ставит ее на место. Гриша продолжает искать в потемках.

Но вот, наконец, копейка найдена. Игроки садятся за стол и хотят продолжать игру.

– Соня спит! – заявляет Алеша.

Соня, положив кудрявую голову на руки, спит сладко, безмятежно и крепко, словно она уснула час тому назад. Уснула она нечаянно, пока другие искали копейку.

– Поди, на мамину постель ложись! – говорит Аня, уводя ее из столовой. – Иди!

Ее ведут все гурьбой, и через какие-нибудь пять минут мамина постель представляет собой любопытное зрелище. Спит Соня. Возле нее похрапывает Алеша. Положив на их ноги голову, спят Гриша и Аня. Тут же, кстати, заодно примостился и кухаркин сын Андрей. Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу впрямь до новой игры. Спокойной ночи!

Открытие
Навозну кучу разрывая,
Петух нашел жемчужное зерно...
Крылов. [107]

Инженер статский советник Бахромкин сидел у себя за письменным столом и, от нечего делать, настраивал себя на грустный лад. Не далее как сегодня вечером, на бале у знакомых, он нечаянно встретился с барыней, в которую лет 20–25 тому назад был влюблен. В свое время это была замечательная красавица, в которую так же легко было влюбиться, как наступить соседу на мозоль. Особенно памятно Бахромкину ее большие глубокие глаза, дно которых, казалось, было выстлано нежным голубым бархатом, и длинные золотисто-каштановые волосы, похожие на поле поспевшей ржи, когда оно волнуется в бурю перед грозой... Красавица была неприступна, глядела сурово, редко улыбалась, но зато, раз улыбнувшись, «пламя гаснущих свечей она улыбкой оживляла»... [108] Теперь же это была худосочная, болтливая старушенция с кислыми глазами и желтыми зубами... Фи!

«Возмутительно! – думал Бахромкин, водя машинально карандашом по бумаге. – Никакая злая воля не в состоянии так напакостить человеку, как природа. Знай тогда красавица, что со временем она превратится в такую чепуху, она умерла бы от ужаса...»

Долго размышлял таким образом Бахромкин и вдруг вскочил, как ужаленный...

– Господи Иисусе! – ужаснулся он. – Это что за новости? Я рисовать умею?!

На листе бумаги, по которому машинально водил карандаш, из-за аляповатых штрихов и каракуль выглядывала прелестная женская головка, та самая, в которую он был когда-то влюблен. В общем рисунок хромал, но томный, суровый взгляд, мягкость очертаний и беспорядочная волна густых волос были переданы в совершенстве...

– Что за оказия? – продолжал изумляться Бахромкин. – Я рисовать умею! Пятьдесят два года жил на свете, не подозревал в себе никаких талантов, и вдруг на старости лет – благодарю, не ожидал, – талант явился! Не может быть!

Не веря себе, Бахромкин схватил карандаш и около красивой головки нарисовал голову старухи... Эта удалась ему так же хорошо, как и молодая...

– Удивительно! – пожал он плечами. – И как недурно, чёрт возьми! Каков? Стало быть, я художник! Значит, во мне призвание есть! Как же я этого раньше не знал? Вот диковина!

Найди Бахромкин у себя в старом жилете деньги, получи известие, что его произвели в действительные статские, он не был бы так приятно изумлен, как теперь, открыв в себе способность творить. Целый час провозился он у стола, рисуя головы, деревья, пожар, лошадей...

– Превосходно! Bravo! – восхищался он. – Поучиться бы только технике, совсем бы отлично было.

Рисовать дольше и восхищаться помешал ему лакей, внесший в кабинет столик с ужином. Съевши рябчика и выпив два стакана бургонского, Бахромкин раскис и

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru задумался... Вспомнил он, что за все 52 года он ни разу и не помыслил даже о существовании в себе какого-либо таланта. Правда, тяготение к изящному чувствовалось всю жизнь. В молодости он подвизался на любительской сцене, играл, пел, малевал декорации... Потом, до самой старости, он не переставал читать, любить театр, записывать на память хорошие стихи... Острил он удачно, говорил хорошо, критиковал метко. Огонек, очевидно, был, но всячески заглушался суетою...

«Чем чёрт не шутит, – подумал Бахромкин, – может быть, я еще умею стихи и романы писать? В самом деле, что если бы я открыл в себе талант в молодости, когда еще не поздно было, и стал бы художником или поэтом? А?»

И перед его воображением открылась жизнь, не похожая на миллионы других жизней. Сравнить ее с жизнями обыкновенных смертных совсем невозможно.

«Правы люди, что не дают им чинов и орденов... – подумал он. – Они стоят вне всяких рангов и капитулов... Да и судить-то об их деятельности могут только избранные...»

Тут же, кстати, Бахромкин вспомнил случай из своего далекого прошлого... Его мать, нервная, эксцентричная женщина, идя однажды с ним, встретила на лестнице какого-то пьяного безобразного человека и поцеловала ему руку. «Мама, зачем ты это делаешь?» – удивился он. – «Это поэт!» – ответила она. И она, по его мнению, права... Поцелуй она руку генералу или сенатору, то это было бы лакейством, самоуничижением, хуже которого для развитой женщины и придумать нельзя, поцеловать же руку поэту, художнику или композитору – это естественно...

«Вольная жизнь, не будничная... – думал Бахромкин, идя к постели. – А слава, известность? Как я широко ни шагай по службе, на какие ступени ни взбирайся, а имя мое не пойдет дальше муравейника... У них же совсем другое... Поэт или художник спит или пьянствует себе безмятежно, а в это время незаметно для него в городах и весях зубрят его стихи или рассматривают картинки... Не знать их имен считается невоспитанностью, невежеством... моветонством...»

Окончательно раскисший Бахромкин опустил на кровать и кивнул лакею... Лакей подошел к нему и принялся осторожно снимать с него одежду за одеждой.

«М-да... необыкновенная жизнь... Про железные дороги когда-нибудь забудут, а Фидия и Гомера всегда будут помнить... На что плох Тредьяковский, и того помнят... Бррр... холодно!.. А что, если бы я сейчас был художником? Как бы я себя чувствовал?»

Пока лакей снимал с него дневную сорочку и надевал ночную, он нарисовал себе картину... Вот он, художник или поэт, темною ночью плетется к себе домой... Лошадей у талантов не бывает; хочешь не хочешь, иди пешком... Идет он жалкенький, в порыжелом пальто, быть может, даже без калош... У входа в меблированные комнаты дремлет швейцар; эта грубая скотина отворяет дверь и не глядит... Там, где-то в толпе, имя поэта или художника пользуется почетом, но от этого почета ему ни тепло, ни холодно: швейцар не вежливее, прислуга не ласковее, домочадцы не снисходительнее... Имя в почете, но личность в забросе... Вот он, утомленный и голодный, входит наконец к себе в темный и душный номер... Ему хочется есть и пить, но рябчиков и бургонского – увы! – нет... Спать хочется ужасно, до того, что слипаются глаза и падает на грудь голова, а постель жесткая, холодная, отдающая гостиницей... Воду наливай себе сам, раздевайся сам... ходи босиком по холодному полу... В конце концов он, дрожа, засыпает, зная, что у него нет сигар, лошадей... что в среднем ящике стола у него нет Анны и Станислава, а в нижнем – чековой книжки...

Бахромкин покрутил головой, повалился в пружинный матрац и поскорее укрылся пуховым одеялом.

«Ну его к чёрту! – подумал он, нежась и сладко засыпая. – Ну его... к... чёрту... Хорошо, что я... в молодости не тово... не открыл...»

Лакей потушил лампу и на цыпочках вышел.

Самый большой город
В памяти обывателей города Тима, Курской губ., хранится следующая, лестная для их самолюбия легенда.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Однажды какими-то судьбами нелегкая занесла в г. Тим английского корреспондента.
Попал он в него проездом.

– Это какой город? – спросил он возницу, въезжая на улицу.

– Тим! – отвечал возница, старательно лавируя между глубокими лужами и буераками.

Англичанин в ожидании, пока возница выберется из грязи, прикорнул к облучку и уснул. Проснувшись через час, он увидел большую грязную площадь с лавочками, свиньями и с пожарной каланчой.

– А это какой город? – спросил он.

– Ти... Тим! Да ну же, проклятая! – отвечал возница, соскакивая с телеги и помогая лошаденке выбраться из ямы.

Корреспондент зевнул, закрыл глаза и опять уснул. Часа через два, разбуженный сильным толчком, он протер глаза и увидел улицу с белыми домиками. Возница, стоя по колени в грязи, изо всех сил тянул лошадь за узду и бранился.

– А это какой город? – спросил англичанин, глядя на дома.

– Тим!

Остановившись немного погодя в гостинице, корреспондент сел и написал: «В России самый большой город не Москва и не Петербург, а Тим».

Тоска

Кому повем печаль мою?.. [109]

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упав на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина всё нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

– Извозчик, на Выборгскую! – слышит Иона. – Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

– На Выборгскую! – повторяет военный. – Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплется пласты снега... Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

– Куда прешь, леший! – на первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и вперед массы. – Куда черти несут? Пррава держи!

– Ты ездить не умеешь! Права держи! – сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебежавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый,

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
словно не понимает, где он и зачем он здесь.

– Какие все подлецы! – острит военный. – Так и норвят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

– Что? – спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

– А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.

– Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

– А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня лежал в больнице и помер... Божья воля.

– Сворачивай, дьявол! – раздается в потемках. – Пovýлазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!

– Поезжай, поезжай... – говорит седок. – Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется... Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

– Извозчик, к Полицейскому мосту! – кричит дребезжащим голосом горбач. – Трoих... двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак – для него теперь всё равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

– Ну, погоняй! – дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. – Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти...

– Гы-ы... гы-ы... – хохочет Иона. – Какая есть...

– Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

– Голова трещит... – говорит один из длинных. – Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

– Не понимаю, зачем врать! – сердится другой длинный. – Врет, как скотина.

– Накажи меня бог, правда...

– Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

– Гы-ы! – ухмыляется Иона. – Ве-еселые господа!

– Тьфу, чтоб тебя черти!.. – возмущается горбач. – Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысни-ка ее кнутом! Но, чёрт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не раздражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

– А у меня на этой неделе... тово... сын помер!

– Все помрем... – вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. – Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?

– А ты его легонечко подбодри... в шею!

– Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

– Гы-ы... – смеется он. – Веселые господа... дай бог здоровья!

– Извозчик, ты женат? – спрашивает длинный.

– Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена – сырая земля... Хи-хо-хо... Могила, то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Заместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они, наконец, приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

– Милый, который теперь час будет? – спрашивает он.

– Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи... Ему невмоготу.

«Ко двору, – думает он. – Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцей. Спустя часа полтора, Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...

«И на овес не выездил, – думает он. – Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.

– Пить захотел? – спрашивает Иона.

– Стало быть, пить!

– Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице... История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть, – думает Иона. – Спать всегда успеешь... Небось, выспишься...»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

– жуешь? – спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. – Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

– Так-то, брат кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперь, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказывает ей всё...

Переполох

Машенька Павлецкая, молоденькая, едва только кончившая курс институтка, вернувшись с прогулки в дом Кушкиных, где она жила в гувернантках, застала необыкновенный переполох. Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен, как рак.

Сверху доносился шум.

«Вероятно, с хозяйкой припадок... – подумала Машенька, – или с мужем поссорилась...»

В передней и в коридоре встретила она горничных. Одна горничная плакала. Затем Машенька видела, как из дверей ее комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеич, маленький, еще не старый человек с обрюзгшим лицом и с большой плешью. Он был красен. Его передергивало... Не замечая гувернантки, он прошел мимо нее и, поднимая вверх руки, воскликнул:

– О, как это ужасно! Как бестактно! Как глупо, дико! Мерзко!

Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в жизни пришлось испытать во всей остроте чувство, которое так знакомо людям зависимым, безответным, живущим на хлебах у богатых и знатных. В ее комнате делали обыск. Хозяйка Федосья Васильевна, полная, плечистая дама с густыми черными бровями, простоволосая и угловатая, с едва заметными усиками и с красными руками, лицом и манерами похожая на простую бабу-кухарку, стояла у ее стола и вкладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти, лоскутки, бумажки... Очевидно, появление гувернантки было для нее неожиданно, так как, оглянувшись и увидев ее бледное, удивленное лицо, она слегка смутилась и пробормотала:

– Pardon[110], я... я нечаянно рассыпала... зацепила рукавом...

И, сказав еще что-то, мадам Кушкина зашуршала шлейфом и вышла. Машенька обвела удивленными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плечами, похолодела от страха... Что Федосья Васильевна искала в ее сумке? Если действительно, как она говорит, она нечаянно зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергеич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Копилка, в которую гувернантка прятала

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
гривенники и старые марки, была отперта. Ее отперли, но запереть не сумели, хотя и исцарапали весь замок. Этажерка с книгами, поверхность стола, постель – всё носило на себе свежие следы обыска. И в корзине с бельем тоже. Белье было сложено аккуратно, но не в том порядке, в каком оставила его Машенька, уходя из дому. Обыск, значит, был настоящий, самый настоящий, но к чему он, зачем? Что случилось? Машенька вспомнила волнение швейцара, переполох, который всё еще продолжался, заплаканную горничную; не имело ли всё это связи с только что бывшим у нее обыском? Не замешана ли она в каком-нибудь страшном деле? Машенька побледнела и вся холодная опустилась на корзину с бельем.

В комнату вошла горничная.

– Лиза, вы не знаете, зачем это меня... обыскивали? – спросила у нее гувернантка.

– У барыни пропала брошка в две тысячи... – сказала Лиза.

– Да, но зачем же меня обыскивать?

– Всех, барышня, обыскивали. И меня всю обыскали... Нас раздевали всех догола и обыскивали... А я, барышня, вот как перед богом... Не то чтоб ихнюю брошку, но даже к туалету близко не подходила. Я и в полиции то же скажу.

– Но... зачем же меня обыскивать? – продолжала недоумевать гувернантка.

– Брошку, говорю, украли... Барыня сама своими руками всё обшарила. Даже швейцара Михайлу сами обыскивали. Чистый срам! Николай Сергеич только глядит да кудахчет, как курица. А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли! Ежели не вы брошку взяли, так вам и бояться нечего.

– Но ведь это, Лиза, низко... оскорбительно! – сказала Машенька, задыхаясь от негодования. – Ведь это подлость, низость! Какое она имела право подозревать меня и руться в моих вещах?

– В чужих людях живете, барышня, – вздохнула Лиза. – Хотя вы и барышня, а всё же... как бы прислуга... Это не то, что у папаша с мамашей жить...

Машенька повалилась в постель и горько зарыдала. Никогда еще над нею не совершали такого насилия, никогда еще ее так глубоко не оскорбляли, как теперь... Ее, благовоспитанную, чувствительную девицу, дочь учителя, заподозрили в воровстве, обыскали, как уличную женщину! Выше такого оскорбления, кажется, и придумать нельзя. И к этому чувству обиды присоединился еще тяжелый страх: что теперь будет!? В голову ее полезли всякие несообразности. Если ее могли заподозрить в воровстве, то, значит, могут теперь арестовать, раздеть догола и обыскать, потом вести под конвоем по улице, засадить в темную, холодную камеру с мышами и мокрицами, точь-в-точь в такую, в какой сидела княжна Тараканова. [111] Кто вступится за нее? Родители ее живут далеко в провинции; чтобы приехать к ней, у них нет денег. В столице она одна, как в пустынном поле, без родных и знакомых. Что хотят, то и могут с ней сделать.

«Побегу ко всем судьям и защитникам... – думала Машенька, дрожа. – Я объясню им, присягну... Они поверят, что я не могу быть воровкой!»

Машенька вспомнила, что у нее в корзине под простынями лежат сладости, которые она, по старой институтской привычке, прятала за обедом в карман и уносила к себе в комнату. От мысли, что эта ее маленькая тайна уже известна хозяевам, ее бросило в жар, стало стыдно, и от всего этого – от страха, стыда, от обиды началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот.

– Пожалуйте кушать! – позвали Машеньку.

«Идти или нет?»

Машенька поправила прическу, утерлась мокрым полотенцем и пошла в столовую. Там уже начали обедать... За одним концом стола сидела Федосья Васильевна, важная, с тупым, серьезным лицом, за другим – Николай Сергеич. По сторонам сидели гости и дети. Обедать подавали два лакея во фраках и белых перчатках. Все знали, что в доме переполох, что хозяйка в горе, и молчали. Слышны были только жеванье и стук

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
ложек о тарелки.

Разговор начала сама хозяйка.

– Что у нас к третьему блюду? – спросила она у лакея томным, страдальческим голосом.

– Эстуржон аля рюсс! – ответил лакей.

– Это, Феня, я заказал... – поторопился сказать Николай Сергеич. – Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, та chigre[112], то пусть не подают. Я ведь это так... между прочим...

Федосья Васильевна не любила кушаний, которые заказывала не она сама, и теперь глаза у нее наполнились слезами.

– Ну, перестанем волноваться, – сказал сладким голосом Мамиков, ее домашний доктор, слегка касаясь ее руки и улыбаясь также сладко. – Мы и без того достаточно нервны. Забудем о броши! Здоровье дороже двух тысяч!

– Мне не жалко двух тысяч! – ответила хозяйка, и крупная слеза потекла по ее щеке. – Меня возмущает самый факт! Я не потерплю в своем доме воров. Мне не жаль, мне ничего не жаль, но красть у меня – это такая неблагодарность! Так платят мне за мою доброту...

Все глядели в свои тарелки, но Машеньке показалось, что после слов хозяйки на нее все взглянули. Комок вдруг подступил к горлу, она заплакала и прижала платок к лицу.

– Pardon, – пробормотала она. – Я не могу. Голова болит. Уйду.

И она встала из-за стола, неловко гремя стулом и еще больше смущаясь, и быстро вышла.

– Бог знает что! – проговорил Николай Сергеич, морщась. – Нужно было делать у нее обыск! Как это, право... некстати.

– Я не говорю, что она взяла брошку, – сказала Федосья Васильевна, – но разве ты можешь поручиться за нее? Я, признаюсь, плохо верю этим ученым беднячкам.

– Право, Феня, некстати... Извини, Феня, но по закону ты не имеешь никакого права делать обыски.

– Я не знаю ваших законов. Я только знаю, что у меня пропала брошка, вот и всё. И я найду эту брошку! – она ударила по тарелке вилкой, и глаза у нее гневно сверкнули. – А вы ешьте и не вмешивайтесь в мои дела!

Николай Сергеич кротко опустил глаза и вздохнул. Машенька между тем, придя к себе в комнату, повалилась в постель. Ей уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило ее сильное желание пойти и отхлопать по щекам эту черствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину.

Лежа, она дышала в подушку и мечтала о том, как бы хорошо было пойти теперь купить самую дорогую брошь и бросить ею в лицо этой самодурке. Если бы бог дал, Федосья Васильевна разорилась, пошла бы по миру и поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния и если бы оскорбленная Машенька подала ей милостыню! О, если бы получить большое наследство, купить коляску и прокатить с шумом мимо ее окон, чтобы она позавидовала!

Но всё это мечты, в действительности же оставалось только одно – поскорее уйти, не оставаться здесь ни одного часа. Правда, страшно потерять место, опять ехать к родителям, у которых ничего нет, но что же делать? Машенька не могла видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты, ей было здесь душно, жутко. Федосья Васильевна, помешанная на болезнях и на своем мнимом аристократизме, опротивела ей до того, что кажется, всё на свете стало грубо и неприглядно оттого, что живет эта женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться.

– Можно войти? – спросил за дверью Николай Сергеич; он подошел к двери неслышно

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
и говорил тихим, мягким голосом. – Можно?

– Войдите.

Он вошел и остановился у двери. Глаза его глядели тускло и красный носик его лоснился. После обеда он пил пиво, и это было заметно по его походке, по слабым, вялым рукам.

– Это что же? – спросил он, указывая на корзину.

– Укладываюсь. Простите, Николай Сергеич, но я не могу долее оставаться в вашем доме. Меня глубоко оскорбил этот обыск!

– Я понимаю... Только вы это напрасно... Зачем? Обыскали, а вы того... что вам от этого? Вас не убудет от этого.

Машенька молчала и продолжала укладываться. Николай Сергеич пощипал свои усы, как бы придумывая, что сказать еще, и продолжал заискивающим голосом:

– Я, конечно, понимаю, но надо быть снисходительной. Знаете, моя жена нервная, взбалмошная, нельзя судить строго...

Машенька молчала.

– Если уж вы так оскорблены, – продолжал Николай Сергеич, – то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините.

Машенька ничего не ответила, а только ниже нагнулась к своему чемодану. Этот испитой, нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживала и лишнего человека даже у прислуги; и извинение его тоже ничего не значило.

– Гм... Молчите? Вам мало этого? В таком случае я за жену извиняюсь. От имени жены... Она поступила нетактично, я признаю, как дворянин...

Николай Сергеич прошелся, вздохнул и продолжал:

– Вам надо еще, значит, чтоб у меня ковыряло вот тут, под сердцем... Вам надо, чтобы меня совесть мучила...

– Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты, – сказала Машенька, глядя ему прямо в лицо своими большими заплаканными глазами. – Зачем же вам мучиться?

– Конечно... Но вы все-таки того... не уезжайте... Прошу вас.

Машенька отрицательно покачала головой. Николай Сергеич остановился у окна и забарабанил по стеклу.

– Для меня подобные недоразумения – это чистая пытка, – проговорил он. – Что же мне, на колени перед вами становиться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вот вы плакали, собираетесь уехать, но ведь и у меня тоже есть гордость, а вы ее не щадите. Или хотите, чтоб я сказал вам то, чего и на исповеди не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался в том, в чем даже перед смертью на духу не признаюсь?

Машенька молчала.

– Я взял у жены брошку! – быстро сказал Николай Сергеич. – Довольны теперь? Удовлетворены? Да, я... взял... Только, конечно, я надеюсь на вашу скромность... Ради бога, никому ни слова, ни полнамека!

Машенька, удивленная и испуганная, продолжала укладываться; она хватала свои вещи, мяла их и беспорядочно совала в чемодан и корзину. Теперь, после откровенного признания, сделанного Николаем Сергеичем, она не могла оставаться ни одной минуты и уже не понимала, как она могла жить раньше в этом доме.

– И удивляться нечего... – продолжал Николай Сергеич, помолчав немного. – Обыкновенная история! Мне деньги нужны, а она... не дает. Ведь этот дом и всё это

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru мой отец наживал, Марья Андреевна! Всё ведь это мое, и брошка принадлежала моей матери, и... всё мое! А она забрала, завладела всем... Не судиться же мне с ней, согласитесь... Прошу вас, убедительно, извините и... и останьтесь. Tout comprendre, tout pardonner. [113] Остаются?

– Нет! – сказала Машенька решительно, начиная дрожать. – Оставьте меня, умоляю вас.

– Ну, бог с вами, – вздохнул Николай Сергеич, садясь на скамеечку около чемодана. – Я, признаться, люблю тех, кто еще умеет оскорбляться, презирать и прочее. Век бы сидел и на ваше негодующее лицо глядел... Так, стало быть, не остаются? Я понимаю... Иначе и быть не может... Да, конечно... Вам-то хорошо, а вот мне так – тпррр!.. Ни на шаг из этого погреба. Поехать бы в какое-нибудь наше имение, да там везде сидят эти женины прохвосты... управляющие, агрономы, чёрт бы их взял. Закладывают, перезакладывают... Рыбы не ловить, травы не топтать, деревья не ломать.

– Николай Сергеич! – послышался из залы голос Федосьи Васильевны. – Агния, позови барина!

– Так не остаются? – спросил Николай Сергеич, быстро поднимаясь и идя к двери. – А то бы остались, ей-богу. Вечерком я заходил бы к вам... толковали бы. А? Оставайтесь! Уйдете вы, и во всем доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь это ужасно!

Бледное, испитое лицо Николая Сергеича умоляло, но Машенька отрицательно покачала головой, и он, махнув рукой, вышел.

Через полчаса она была уже в дороге.

Беседа пьяного с трезвым чёртом

Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лахматов, сидел у себя за столом и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампы выглянул на него чёрт... Но не пугайтесь, читательница. Вы знаете, что такое чёрт? Это молодой человек приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными выразительными глазами. На голове у него, хотя он и не женат, рожки... Прическа à la Капуть. Тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой... Вместо пальцев – когти, вместо ног – лошадиные копыта. Лахматов, увидев чёрта, несколько смутился, но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, скоро успокоился.

– С кем я имею честь говорить? – обратился он к непрошенному гостю.

Чёрт сконфузился и потупил глазки.

– Вы не стесняйтесь, – продолжал Лахматов. – Подойдите ближе... Я человек без предрассудков, и вы можете говорить со мной искренно... по душе... Кто вы?

Чёрт нерешительно подошел к Лахматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился.

– Я чёрт, или дьявол... – отрекомендовался он. – Состою чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии г. Сатаны!

– Слышал, слышал... Очень приятно. Садитесь! Не хотите ли водки? Очень рад... А чем вы занимаетесь?

Чёрт еще больше сконфузился...

– Собственно говоря, занятий у меня определенных нет... – ответил он, в смущении кашляя и сморкаясь в «Ребус». – Прежде, действительно, у нас было занятие... Мы людей искушали... совращали их с пути добра на стезю зла... Теперь же это занятие, антр-ну-суади [114], и плевка не стоит... Пути добра нет уже, не с чего совращать. И к тому же люди стали хитрее нас... Извольте-ка вы искусить человека, когда он в университете все науки кончил, огонь, воду и медные трубы прошел! Как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уже без моей помощи тысячи цапнули?

– Это так... Но, однако, ведь вы занимаетесь же чем-нибудь?

– Да... Прежняя должность наша теперь может быть только номинальной, но мы все-таки имеем работу... Искушаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала... В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся... Ни рожна мы в этом не смыслим... Многие из нас сотрудничают в «Ребусе», есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди... Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты, вообще очень дельные и уважаемые люди!

– Извините за нескромный вопрос: какое содержание вы получаете?

– Положение у нас прежнее-с... – ответил чёрт. – Штат нисколько не изменился... По-прежнему квартира, освещение и отопление казенные... Жалованья же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными и потому что чёрт – должность почетная... Вообще, откровенно говоря, плохо живется, хоть по миру иди... Спасибо людям, научили нас взятки брать, а то бы давно уже мы переколели... Только и живем доходами... Поставляешь грешникам провизию, ну и... хапнешь... Сатана постарел, ездит всё на Цукки смотреть, не до отчетности ему теперь...

Лахматов налил чёрту рюмку водки. Тот выпил и разговорился. Рассказал он все тайны ада, излил свою душу, поплакал и так понравился Лахматову, что тот оставил его даже у себя ночевать. Чёрт спал в печке и всю ночь бредил. К утру он исчез.

Анюта

В самом дешевом номерке мебелированных комнат «Лиссабон» из угла в угол ходил студент-медик 3-го курса, Степан Клочков, и усердно зубрил свою медицину. От неустанной, напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот.

У окна, подернутого у краев ледяными узорами, сидела на табурете его жилища, Анюта, маленькая, худенькая брюнетка лет 25-ти, очень бледная, с кроткими серыми глазами. Согнувши спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная... Коридорные часы сипло пробили два пополудни, а в номерке еще не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, сор на полу – всё, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано...

– Правое легкое состоит из трех долей... – зубрил Клочков. – Границы! Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4–5 ребер, на боковой поверхности до 4-го ребра... назади до *spina scapulae*[115]...

Клочков, силясь представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра.

– Эти ребра похожи на рояльные клавиши, – сказал он. – Чтобы не спутаться в счете, к ним непременно нужно привыкнуть. Придется поштудировать на скелете и на живом человеке... А ну-ка, Анюта, дай-ка я ориентируюсь!

Анюта оставила вышиванье, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра.

– Гм... Первое ребро не прощупывается... Оно за ключицей... Вот это будет второе ребро... Так-с... Это вот третье... Это вот четвертое... Гм... Так-с... Что ты жмешься?

– У вас пальцы холодные!

– Ну, ну... не умрешь, не вертись... Стало быть, это третье ребро, а это четвертое... Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. Это второе... это третье... Нет, этак спутаешься и не представишь себе ясно... Придется нарисовать. Где мой уголек?

Клочков взял уголек и начертил им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам.

– Превосходно. Всё, как на ладони... Ну-с, а теперь и постучать можно. Встань-ка!

Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выстукиванием и так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы у Анюты посинели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать, и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен.

– Теперь всё ясно, – сказал Клочков, перестав стучать. – Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзубрю еще немножко.

И медик опять стал ходить и зубрить. Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съевшись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало, всегда молчала и всё думала, думала...

За все шесть-семь лет ее шатания по меблированным комнатам, таких, как Клочков, знала она человек пять. Теперь все они уже покончили курсы, вышли в люди и, конечно, как порядочные люди, давно уже забыли ее. Один из них живет в Париже, два докторами, четвертый художник, а пятый даже, говорят, уже профессор. Клочков – шестой... Скоро и этот кончит курс, выйдет в люди. Несомненно, будущее прекрасно, и из Клочкова, вероятно, выйдет большой человек, но настоящее совсем плохо: у Клочкова нет табаку, нет чаю, и сахару осталось четыре кусочка. Нужно как можно скорее оканчивать вышиванье, нести к заказчице и потом купить на полученный четвертак и чаю и табаку.

– Можно войти? – слышалось за дверью.

Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вошел художник Фетисов.

– А я к вам с просьбой, – начал он, обращаясь к Клочкову и зверски глядя из-под нависших на лоб волос. – Сделайте одолжение, одолжите мне вашу прекрасную девицу часика на два! Пишу, видите ли, картину, а без натурщицы никак нельзя!

– Ах, с удовольствием! – согласился Клочков. – Ступай, Анюта.

– Чего я там не видела! – тихо проговорила Анюта.

– Ну, полно! Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. Отчего не помочь, если можешь?

Анюта стала одеваться.

– А что вы пишете? – спросил Клочков.

– Психею. Хороший сюжет, да всё как-то не выходит; приходится всё с разных натурщиц писать. Вчера писал одну с синими ногами. Почему, спрашиваю, у тебя синие ноги? Это, говорит, чулки линяют. А вы всё зубрите! Счастливый человек, терпение есть.

– Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки.

– Гм... Извините, Клочков, но вы ужасно по-свински живете! Чёрт знает как живете!

– То есть как? Иначе нельзя жить... От бабки я получаю только двенадцать в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно.

– Так-то так... – сказал художник и брезгливо поморщился, – но можно все-таки лучше жить... Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Не правда ли? А у вас тут чёрт знает что! Постель не прибрана, помои, сор... вчерашняя каша на тарелке... тьфу!

– Это правда, – сказал медик и сконфузился, – но Анюте некогда было сегодня убрать. Всё время занята.

Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лежа, потом нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову кулаками и мрачно задумался. Ему вспомнились слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком, и его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной, отталкивающей. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru просторной столовой, в обществе жены, порядочной женщины, – и теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятия гадкий. Анюта тоже представлялась некрасивой, неряшливой, жалкой... И он решил расстаться с ней, немедленно, во что бы то ни стало.

Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно:

– Вот что, моя милая... Садись и выслушай. Нам нужно расстаться! Одним словом, жить с тобою я больше не желаю.

Анюта вернулась от художника такая утомленная, изнеможенная. Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудело, и подбородок стал острее. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у нее задрожали.

– Согласись, что рано или поздно нам всё равно пришлось бы расстаться, – сказал медик. – Ты хорошая, добрая, и ты не глупая, ты поймешь...

Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышиванье в бумагу, собрала нитки, иголки; сверток с четырьмя кусочками сахара нашла на окне и положила на столе возле книг.

– Это ваше... сахар... – тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы.

– Ну, что же ты плачешь? – спросил Клочков.

Он прошелся по комнате в смущении и сказал:

– Странная ты, право... Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век, же нам быть вместе.

Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься, и ему стало жаль ее.

«Разве пусть еще одну неделю поживет здесь? – подумал он. – В самом деле, пусть еще поживет, а через неделю я велю ей уйти».

И, досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово:

– Ну, что же стоишь? Уходить, так уходить, а не хочешь, так снимай шубу и оставайся! Оставайся!

Анюта сняла шубу, молча, потихоньку, потом высморкалась, тоже потихоньку, вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции – к табурету у окна.

Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол.

– Правое легкое состоит из трех долей... – зубрил он. – Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4–5 ребер...

А в коридоре кто-то кричал во всё горло:

– Григорий, самовар!

Актерская гибель

Благородный отец и простак Щипцов, высокий, плотный старик, славившийся не столько сценическими дарованиями, сколько своей необычайной физической силой, «вдрызг» поругался во время спектакля с антрепренером и в самый разгар руготни вдруг почувствовал, что у него в груди что-то оборвалось. Антрепренер Жуков обыкновенно в конце каждого горячего объяснения начинал истерически хохотать и падал в обморок, но Щипцов на сей раз не стал дожидаться такого конца и поспешил восвояси. Брань и ощущение разрыва в груди так взволновали его, что, уходя из театра, он забыл смыть с лица грим и только сорвал бороду.

Придя к себе в номер, Щипцов долго шагал из угла в угол, потом сел на кровать, подпер голову кулаками и задумался. Не шевелясь и не издав ни одного звука, просидел он таким образом до двух часов другого дня, когда в его номер вошел комик Сигаев.

– Ты что же это, Шут Иванович, на репетицию не приходил? – набросился на него комик, пересиливая одышку и наполняя номер запахом винного перегара. – Где ты был?

Щипцов ничего не ответил и только взглянул на комика мутными, подкрашенными глазами.

– Хоть бы рожу-то вымыл! – продолжал Сигаев. – стыдно глядеть! Ты натрескался или... болен, что ли? Да что ты молчишь? Я тебя спрашиваю: ты болен?

Щипцов молчал. Как ни была опачкана его физиономия, но комик, вглядевшись попристальнее, не мог не заметить поразительной бледности, пота и дрожания губ. Руки и ноги тоже дрожали, да и всё громадное тело верзилы-простака казалось помятым, приплюснутым. Комик быстро оглядел номер, но не увидел ни штофов, ни бутылок, ни другой какой-либо подозрительной посуды.

– Знаешь, Мишутка, а ведь ты болен! – встревожился он. – Накажи меня бог, ты болен! На тебе лица нет!

Щипцов молчал и уныло глядел в пол.

– Это ты простудился! – продолжал Сигаев, беря его за руку. – Ишь какие руки горячие! Что у тебя болит?

– До... домой хочу, – пробормотал Щипцов.

– А ты нешто сейчас не дома?

– Нет... в Вязьму...

– Эва, куда захотел! До твоей Вязьмы и в три года не доскачешь... Что, к папашеньке и мамашеньке захотелось? Чай, давно уж они у тебя сгнили и могилок их не сыщешь...

– У меня там ро... родина...

– Ну, нечего, нечего мерলেখлюндию распускать. Эта психопатия чувств, брат, последнее дело... Выздоровливай, да завтра тебе нужно в «Князе Серебряном» Митьку играть.[116] Больше ведь некому. Выпей-ка чего-нибудь горячего да касторки прими. Есть у тебя деньги на касторку? Или постой, я сбегая и куплю.

Комик пошарил у себя в карманах, нашел пятиалтынный и побежал в аптеку. Через четверть часа он вернулся.

– На, пей! – сказал он, поднося ко рту благородного отца склянку. – пей прямо из пузырька... Разом! Вот так... На, теперь гвоздичкой закуси, чтоб душа этой дрянью не провоняла.

Комик посидел еще немного у больного, потом нежно поцеловал его и ушел. К вечеру забегал к Щипцову jeune-premier[117] Брама-Глинский. Даровитый артист был в прюнелевых полусапожках, имел на левой руке перчатку, курил сигару и даже издавал запах гелиотропа, но, тем не менее, все-таки сильно напоминал путешественника, брошенного в страну, где нет ни бань, ни прачек, ни портных...

– Ты, я слышал, заболел? – обратился он к Щипцову, перевернувшись на каблуке. – что с тобой? Ей-богу, что с тобой?..

Щипцов молчал и не шевелился.

– Что же ты молчишь? Дурнота в голове, что ли? Ну, молчи, не стану приставать... молчи...

Брама-Глинский (так он зовется по театру, в паспорте же он значится Гуськовым) отошел к окну, заложил руки в карманы и стал глядеть на улицу. Перед его глазами расстилалась громадная пустошь, огороженная серым забором, вдоль которого тянулся целый лес прошлогоднего репейника. За пустошью темнела чья-то брошенная фабрика с наглухо забитыми окнами. Около трубы кружилась запоздавшая

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
галка. Вся эта скучная, безжизненная картина начинала уже подергиваться
вечерними сумерками.

– Домой надо! – услышал jeune-premier.

– Куда это домой?

– В Вязьму... на родину...

– До Вязьмы, брат, тысяча пятьсот верст... – вздохнул Брама-Глинский, барабаня по стеклу. – А зачем тебе в Вязьму?

– Там бы помереть...

– Ну, вот еще, выдумал! Помереть... Заболел первый раз в жизни и уж воображает, что смерть пришла... Нет, брат, такого буйвола, как ты, никакая холера не проберет. До ста лет проживешь... Что у тебя болит?

– Ничего не болит, но я... чувствую...

– Ничего ты не чувствуешь, а всё это у тебя от лишнего здоровья. Силы в тебе бушуют. Тебе бы теперь дербалызнуть хорошенечко, выпить этак, знаешь, чтоб во всем теле пертурбация произошла. Пьянство отлично освежает... Помнишь, как ты в Ростове-на-Дону насвистался? Господи, даже вспомнить страшно! Бочонок с вином мы с Сашкой вдвоем еле-еле донесли, а ты его один выпил да потом еще за ромом послал... Допился до того, что чертей мешком ловил и газовый фонарь с корнем вырвал. Помнишь? Тогда еще ты ходил греков бить...

Под влиянием таких приятных воспоминаний лицо Щипцова несколько прояснилось и глаза заблестели.

– А помнишь, как я антрепренера Савойкина бил? – забормотал он, поднимая голову.
– Да что говорить! Бил я на своем веку тридцать трех антрепренеров, а что меньшей братии, то и не упомяну. И каких антрепренеров-то бил! Таких, что и ветрам не позволяли до себя касаться! Двух знаменитых писателей бил, одного художника!

– Что ж ты плачешь?

– В Херсоне лошадь кулаком убил. А в Таганроге напали раз на меня ночью жулики, человек пятнадцать. Я снимал с них шапки, а они идут за мной да просят: «Дяденька, отдай шапку!» Такие-то дела.

– Что ж ты, дурило, плачешь?

– А теперь шабаш... чувствую. В Вязьму бы ехать!

Наступила пауза. После молчания Щипцов вдруг вскочил и схватился за шапку. Вид у него был расстроенный.

– Прощай! В Вязьму еду! – проговорил он покачиваясь.

– А деньги на дорогу?

– Гм!.. Я пешком пойду!

– Ты ошалел...

Оба взглянули друг на друга, вероятно, потому, что у обоих мелькнула в голове одна и та же мысль – о необозримых полях, нескончаемых лесах, болотах.

– Нет, ты, я вижу, спятил! – решил jeune-premier. – Вот что, брат... Первым делом ложись, потом выпей коньяку с чаем, чтоб в пот ударило. Ну, и касторки, конечно. Постой, где бы коньяку взять?

Брама-Глинский подумал и решил сходить к купчихе Цитринниковой, попытать ее насчет кредита: авось, баба сжалится – отпустит в долг! Jeune-premier отправился и через полчаса вернулся с бутылкой коньяку и с касторкой. Щипцов по-прежнему

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru сидел неподвижно на кровати, молчал и глядел в пол. Предложенную товарищем касторку он выпил, как автомат, без участия сознания. Как автомат, сидел он потом за столом и пил чай с коньяком; машинально выпил всю бутылку и дал товарищу уложить себя в постель. Jeune-premier укрыл его одеялом и пальто, посоветовал пропотеть и ушел.

Наступила ночь. Коньяку было выпито много, но Щипцов не спал. Он лежал неподвижно под одеялом и глядел на темный потолок, потом, увидев луну, глядевшую в окно, он перевел глаза с потолка на спутника земли и так пролежал с открытыми глазами до самого утра. Утром, часов в девять, прибежал антрепренер Жуков.

– Что это вы, ангел, хворать вздумали? – закудахтал он, морща нос. – Ай, ай! Нешто при вашей комплекции можно хворать? Стыдно, стыдно! А я, знаете, испугался! Ну, неужели, думаю, на него наш разговор подействовал? Душенька моя, надеюсь, что вы не от меня заболели! Ведь и вы меня, тово... И к тому же между товарищами не может быть без этого. Вы меня там и ругали и... с кулаками даже лезли, а я вас люблю! Ей-богу, люблю! Уважаю и люблю! Ну, вот объясните, ангел, за что я вас так люблю? Не родня вы мне, не сват, не жена, а как узнал, что вы прихворнули, – словно кто ножом резанул.

Жуков долго объяснялся в любви, потом полез целоваться и в конце концов так расчувствовался, что начал истерически хохотать и хотел даже упасть в обморок, но, спохватившись, вероятно, что он не у себя дома и не в театре, отложил обморок до более удобного случая и уехал.

Вскоре после него явился трагик Адабашев, личность тусклая, подслеповатая и говорящая в нос... Он долго глядел на Щипцова, долго думал и вдруг сделал открытие:

– Знаешь что, Мифа? – спросил он, произнося в нос вместо ш – ф и придавая своему лицу таинственное выражение. – Знаешь что?! Тебе нужно выпить касторки!!

Щипцов молчал. Молчал он и немного погодя, когда трагик вливал ему в рот противное масло. Часа через два после Адабашева пришел в номер театральный парикмахер Евлампий, или, как называли его почему-то актеры, Риголетто. Он тоже, как и трагик, долго глядел на Щипцова, потом вздохнул, как паровоз, и медленно, с расстановкой начал развязывать принесенный им узел. В узле было десятка два банок и несколько пузырьков.

– Послал б за мной, и я б вам давно банки поставил! – сказал он нежно, обнажая грудь Щипцова. – Запустить болезнь не трудно!

Засим Риголетто погладил ладонью широкую грудь благородного отца и покрыл ее всю кровососными банками.

– Да-с... – говорил он, увязывая после этой операции свои орудия, обагренные кровью Щипцова. – Прислали бы за мной, я и пришел бы... Насчет денег беспокоиться нечего... Я из жалости... Где вам взять, ежели тот идол платить не хочет? Таперя вот извольте капель этих принять. Вкусные капли! А таперя извольте маслица выпить. Касторка самая настоящая. Вот так! На здоровье! Ну, а таперя прощайте-с...

Риголетто взял свой узел и, довольный, что помог ближнему, удалился.

Утром следующего дня комик Сигаев, зайдя к Щипцову, застал его в ужаснейшем состоянии. Он лежал под пальто, тяжело дышал и водил блуждающими глазами по потолку. В руках он судорожно мямл скомканное одеяло.

– В Вязьму! – зашептал он, увидав комика. – В Вязьму!

– Вот это, брат, уж мне и не нравится! – развел руками комик. – Вот... вот... вот это, брат, и нехорошо! Извини, но... даже, брат, глупо...

– В Вязьму надо! Ей-богу, в Вязьму!

– Не... не ожидал от тебя!.. – бормотал совсем растерявшийся комик. – Чёрт знает! Чего ради расквасился! Э... э... э... и нехорошо! Верзила, с каланчу ростом, а плачешь. Нешто актеру можно плакать?

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Ни жены, ни детей, – бормотал Щипцов. – Не идти бы в актеры, а в Вязьме жить!
Пропала, Семен, жизнь! Ох, в Вязьму бы!

– Э... э... э... и нехорошо! Вот и глупо... подло даже!

Успокоившись и приведя свои чувства в порядок, Сигаев стал утешать Щипцова, врать ему, что товарищи порешили его на общий счет в Крым отправить и проч., но тот не слушал и всё бормотал про Вязьму... Наконец, комик махнул рукой и, чтобы утешить больного, сам стал говорить про Вязьму.

– Хороший город! – утешал он. – Отличный, брат, город! Пряниками прославился. Пряники классические, но – между нами говоря – того... подгуляли. После них у меня целую неделю потом был того... Но что там хорошо, так это купец! Всем купцам купец. Уж коли угостит тебя, так угостит!

Комик говорил, а Щипцов молчал, слушал и одобрительно кивал головой.

К вечеру он умер.

Панихида

В церкви Одигитриевской божией матери, что в селе Верхних Запрудах, обедня только что кончилась. Народ задвигался и валит из церкви. Не двигается один только лавочник Андрей Андреич, верхнезапрудский интеллигент и старожил. Он облокотился о перила правого клироса и ждет. Его бритое, жирное и бугристое от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства: смирение перед неисповедимыми судьбами и тупое, безграничное высокомерие перед мимо проходящими чуйками и пестрыми платками. По случаю воскресного дня он одет франтом. На нем суконное пальто с желтыми костяными пуговицами, синие брюки навывпуск и солидные калоши, те самые громадные, неуклюжие калоши, которые бывают на ногах только у людей положительных, рассудительных и религиозно убежденных.

Его заплывшие, ленивые глаза обращены на иконостас. Он видит давно уже знакомые лики святых, сторожа Матвея, надувающего щеки и тушащего свечи, потемневшие ставники, потертый ковер, дьячка Лопухова, стремительно выбегающего из алтаря и несущего ктиторю просфору... Всё это давно уже видано и перевидано, как свои пять пальцев... Несколько, впрочем, странно и необыденно только одно: у северной двери стоит отец Григорий, еще не снимавший облачения, и сердито мигает своими густыми бровями.

«Кому это он мигает, дай бог ему здоровья? – думает лавочник. – А, и пальцем закивал! И ногой топнул, скажи на милость... Что за оказия, мать царица? Кому это он?»

Андрей Андреич оглядывается и видит совсем уже опустевшую церковь. У дверей столпилось человек десять, да и те стоят спиной к алтарю.

– Иди же, когда зовут! Что стоишь, как изваяние? – слышит он сердитый голос отца Григория. – Тебя зову!

Лавочник глядит на красное, разгневанное лицо отца Григория и тут только соображает, что миганье бровей и киванье пальца могут относиться и к нему. Он вздрагивает, отделяется от клироса и нерешительно, гремя своими солидными калошами, идет к алтарю.

– Андрей Андреич, это ты подавал на проскомидию за упокой Марии? – спрашивает батюшка, сердито вскидывая глазами на его жирное, вспотевшее лицо.

– Точно так.

– Так, стало быть, ты это написал? Ты?

И отец Григорий сердито тычет к глазам его записочку. А на этой записочке, поданной Андреем Андреичем на проскомидию вместе с просфорой, крупными, словно шатающимися буквами написано:

«За упокой рабы божией блудницы Марии».

– Точно так... я-с написал... – отвечает лавочник.

– Как же ты смел написать это? – протяжно шепчет батюшка, и в его сиплом шёпоте слышатся гнев и испуг.

Лавочник глядит на него с тупым удивлением, недоумевает и сам пугается: отродясь еще отец Григорий не говорил таким тоном с верхнезапрудскими интеллигентами! Оба минуту молчат и засматривают друг другу в глаза. Недоумение лавочника так велико, что жирное лицо его расплывается во все стороны, как пролитое тесто.

– Как ты смел? – повторяет батюшка.

– Ко... кого-с? – недоумевает Андрей Андреич.

– Ты не понимаешь?! – шепчет отец Григорий, в изумлении делая шаг назад и всплескивая руками. – Что же у тебя на плечах: голова или другой какой предмет? Подаешь записку к жертвеннику, а пишешь на ней слово, какое даже и на улице произносить непристойно! Что глаза пучишь? Нешто не знаешь, какой смысл имеет это слово?

– Это вы касательно блудницы-с? – бормочет лавочник, краснея и мигая глазами. – Но ведь господь, по благодати своей, тово... это самое, простил блудницу... место ей уготовал, да и из жития преподобной Марии Египетской видать, в каких смыслах это самое слово, извините...

Лавочник хочет привести в свое оправдание еще какой-то аргумент, но путается и утирает губы рукавом.

– Вот как ты понимаешь! – всплескивает руками отец Григорий. – Но ведь господь простил – понимаешь? – простил, а ты осуждаешь, поносишь, непристойным словом обзываешь, да еще кого! Усопшую дочь родную! Не только из священного, но даже из светского писания такого греха не вычитаешь! Повторяю тебе, Андрей: мудрствовать не нужно! Да, мудрствовать, брат, не нужно! Коли дал тебе бог испытующий разум и ежели ты не можешь управлять им, то лучше уж не вникай... Не вникай и молчи!

– Но ведь она тово... извините, актерка была! – выговаривает ошеломленный Андрей Андреич.

– Актерка! Да кто бы она ни была, ты всё после ее смерти забыть должен, а не то что на записках писать!

– Это точно... – соглашается лавочник.

– Наложить бы на тебя эпитимию, – басит из глубины алтаря дьякон, презрительно глядя на сконфуженное лицо Андрея Андреича, – так перестал бы умствовать! Твоя дочь известная артистка была. Про ее кончину даже в газетах печатали... Философ!

– Оно, конечно... действительно... – бормочет лавочник, – слово неподходящее, но я не для осуждения, отец Григорий, а хотел по-божественному... чтоб вам видней было, за кого молить. Пишут же в поминальницах названия разные, вроде там младенца Иоанна, утопленницы Пелагеи, Егора-воина, убиенного Павла и прочее разное... Так и я желал.

– Неразумно, Андрей! Бог тебя простит, но в другой раз остерегись. Главное, не мудрствуй и мысли по примеру прочих. Положи десять поклонов и ступай.

– Слушаю, – говорит лавочник, радуясь, что нотация уже кончилась, и опять придавая своему лицу выражение важности и степенства. – Десять поклонов? Очень хорошо-с, понимаю. А теперь, батюшка, дозвоьте к вам с просьбой... Потому, как я все-таки отец ей... сами знаете, а она мне, какая там ни на есть, все-таки дочь, то я тово... извините, собираюсь просить вас сегодня отслужить панихиду. И вас дозвоьте просить, отец дьякон!

– Вот это хорошо! – говорит отец Григорий, разоблачаясь. – За это хвалю. Можно одобрить... Ну, ступай! Мы сейчас выйдем.

Андрей Андреич солидно шагает от алтаря и красный, с торжественно-панихидным выражением лица останавливается посреди церкви. Сторож Матвей ставит перед ним столик с коливом, и, немного погодя, панихида начинается.

В церкви тишина. Слышен только металлический звук кадила да протяжное пение... Возле Андрея Андреича стоят сторож Матвей, повитуха Макарьевна и ее сынишка, сухорукий Митька. Больше никого нет. Дьячок поет плохо, неприятным, глухим басом, но напев и слова так печальны, что лавочник мало-помалу теряет выражение степенства и погружается в грусть. Вспоминает он свою Машутку... Он помнит, что родилась она у него, когда он еще служил лакеем у верхнезапрудских господ. За лакейской суетой он и не замечал, как росла его девочка. Тот длинный период, когда она формировалась в грациозное создание с белокурой головкой и большими, как копейки, задумчивыми глазами, прошел для него незамеченным. Воспитывалась она, как и вообще все дети фаворитов-лакеев, в белом теле, около барышень. Господа, от нечего делать, выучили ее читать, писать, танцевать, он же в ее воспитание не вмешивался. Изредка разве, случайно, сойдясь с ней где-нибудь у ворот или на площадке лестницы, он вспоминал, что она его дочь, и начинал, насколько хватало досуга, учить ее молитвам и священной истории. О, и тогда еще он слыл за знатока уставов и св. писания! Девочка, как ни хмуро и ни солидно было лицо отца, охотно слушала его. Молитвы повторяла она за ним зевая, но зато, когда он, заикаясь в стараясь выражаться пофигуристее, начинал рассказывать ей истории, она вся превращалась в слух. Чечевица Исава, казнь Содомы и бедствия маленького мальчика Иосифа[118] заставляли ее бледнеть и широко раскрывать голубые глаза.

Затем, когда он бросил лакейство и на скопленные деньги открыл в селе лавочку, Машутка уехала с господами в Москву...

За три года до своей смерти она приезжала к отцу. Он едва узнал ее. Это была молодая, стройная женщина, с манерами барыни и одетая по-господски. Говорила она по-умному, словно по книге, курила табак, спала до полудня. Когда Андрей Андреич спросил ее, чем она занимается, она, смело глядя ему прямо в глаза, объявила: «Я актриса!» Такая откровенность показалась бывшему лакею верхом цинизма. Машутка начала было хвастать своими успехами и актерским житьем, но, видя, что отец только багровеет и разводит руками, умолкла. И молча, не глядя друг на друга, они прожили недели две, до самого отъезда. Перед отъездом она упросила отца пойти погулять с ней по берегу. Как ни жутко ему было гулять среди бела дня, на глазах всего честного народа с дочкой актрисой, но он уступил ее просьбам...

– Какие чудные у вас места! – восхищалась она, гуляя. – Что за овраги и болота! Боже, как хороша моя родина!

И она заплакала.

«Эти места только место занимают... – думал Андрей Андреич, тупо глядя на овраги и не понимая восторга дочери. – От них корысти, как от козла молока».

А она плакала, плакала и жадно дышала всей грудью, словно чувствовала, что ей недолго еще осталось дышать...

Андрей Андреич встряхивает головой, как укушенная лошадь, и, чтоб заглушить тяжелые воспоминания, начинает быстро креститься...

– Помяни, господи, – бормочет он, – усопшую рабу твою блудницу Марию и прости ей вольная и невольная...

Непристойное слово опять срывается с его языка, но он не замечает этого: что прочно засело в сознания, того, знать, не только наставлениями отца Григория, но и гвоздем не выковыришь! Макарьевна вздыхает и что-то шепчет, втягивая в себя воздух, сухорукий Митька о чем-то задумался...

– ...идеже несть болезни, печалей и въздыхания... – гудит дьячок, прикрывая рукой правую щеку.

Из кадила струится синеватый дымок и купается в широком косом луче, пересекающем мрачную, безжизненную пустоту церкви. И кажется, вместе с дымом носится в луче душа самой усопшей. Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну и словно сторонятся уныния и скорби, которыми полна эта бедная душа.

Глупый француз

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Клоун из цирка братьев Гинц, Генри Пуркуа, зашел в московский трактир Тестова позавтракать.

– Дайте мне консоме! – приказал он половому.

– Прикажете с пашотом[119] или без пашота?

– Нет, с пашотом слишком сытно... Две-три гренки, пожалуй, дайте...

В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготавливавшийся есть блины.

«Как, однако, много подают в русских ресторанах! – подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. – Пять блинов! Разве один человек может съесть так много теста?»

Сосед между тем помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее, чем в пять минут...

– Челаэк! – обернулся он к половому. – Подай еще порцию! Да что у вас за порции такие? Подай сразу штук десять или пятнадцать! Дай балыка.. семги, что ли?

«Странно... – подумал Пуркуа, рассматривая соседа. – Съел пять кусков теста и еще просит! Впрочем, такие феномены не составляют редкости... У меня у самого в Бретани был дядя франсуа, который на пари съедал две тарелки супу и пять бараньих котлет... Говорят, что есть также болезни, когда много едят...»

Половой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки с балыком и семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К великому удивлению Пуркуа, ел он их спеша, едва разжевывая, как голодный...

«Очевидно, болен... – подумал француз. – И неужели он, чудак, воображает, что съест всю эту гору? Не съест и трех кусков, как желудок его будет уже полон, а ведь придется платить за всю гору!»

– Дай еще икры! – крикнул сосед, утирая салфеткой масляные губы. – Не забудь зеленого луку!

«Но... однако, уж половины горы нет! – ужаснулся клоун. – Боже мой, он и всю семгу съел? Это даже неестественно... Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть! Как бы ни был растяжим желудок, но он не может растянуться за пределы живота... Будь этот господин у нас во Франции, его показывали бы за деньги... Боже, уже нет горы!»

– Подашь бутылку нюи... – сказал сосед, принимая от полового икру и лук. – Только погрей сначала... Что еще? Пожалуй, дай еще порцию блинов... Поскорей только...

– Слушаю... А на после блинов что прикажете?

– Что-нибудь полегче... Закажи порцию селянки из осетрины по-русски и... и... Я подумаю, ступай!

«Может быть, это мне снится? – изумился клоун, откидываясь на спинку стула. – Этот человек хочет умереть! Нельзя безнаказанно съесть такую массу! Да, да, он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуге не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть!»

Пуркуа подозвал к себе полового, который служил у соседнего стола, и спросил шепотом:

– Послушайте, зачем вы так много ему подаете?

– То есть, э... э... они требуют-с! Как же не подавать-с? – удивился половой.

– Странно, но ведь он таким образом может до вечера сидеть здесь и требовать! Если у вас у самих не хватает смелости отказывать ему, то доложите метрд'отелю, пригласите полицию!

Половой ухмыльнулся, пожал плечами и отошел.

«Дикари! – возмутился про себя француз. – Они еще рады, что за столом сидит сумасшедший, самоубийца, который может съесть на лишний рубль! Ничего, что умрет человек, была бы только выручка!»

– Порядки, нечего сказать! – проворчал сосед, обращаясь к французу. – Меня ужасно раздражают эти длинные антракты! От порции до порции изволь ждать полчаса! Этак и аппетит пропадет к чёрту, и опоздаешь... Сейчас три часа, а мне к пяти надо быть на юбилейном обеде.

– Pardon, monsieur[120], – побледнел Пуркуа, – ведь вы уж обедаете!

– Не-ет... Какой же это обед? Это завтрак... блины...

Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку, поперчил кайенским перцем и стал хлебать...

«Бедняга... – продолжал ужасаться француз. – Или он болен и не замечает своего опасного состояния, или же он делает всё это нарочно... с целью самоубийства... Боже мой, знай я, что наткнулся здесь на такую картину, то ни за что бы не пришел сюда! Мои нервы не выносят таких сцен!»

И француз с сожалением стал рассматривать лицо соседа, каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся с ним судороги, какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасного пари...

«По-видимому, человек интеллигентный, молодой... полный сил... – думал он, глядя на соседа. – Быть может, приносит пользу своему отечеству... и весьма возможно, что имеет молодую жену, детей... Судя по одежде, он должен быть богат; доволен... но что же заставляет его решаться на такой шаг?... И неужели он не мог избрать другого способа, чтобы умереть? Чёрт знает как дешево ценится жизнь! И как низок, бесчеловечен я, сидя здесь и не идя к нему на помощь! Быть может, его еще можно спасти!»

Пуркуа решительно встал из-за стола и подошел к соседу.

– Послушайте, monsieur, – обратился он к нему тихим, вкрадчивым голосом. – Я не имею чести быть знаком с вами, но, тем не менее, верьте, я друг ваш... Не могу ли я вам помочь чем-нибудь? вспомните, вы еще молоды... у вас жена, дети...

– Я вас не понимаю! – замотал головой сосед, тараща на француза глаза.

– Ах, зачем скрытничать, monsieur? Ведь я отлично вижу! Вы так много едите, что... трудно не подозревать...

– Я много ем?! – удивился сосед. – Я?! Полноте... Как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел?

– Но вы ужасно много едите!

– Да ведь не вам платить! Что вы беспокоитесь? И вовсе я не много ем! Поглядите, ем, как все!

Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая друг на друга, носили целые горы блинов... За столами сидели люди и поедали горы блинов, семгу, икру... с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин.

«О, страна чудес! – думал Пуркуа, выходя из ресторана. – Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса! О страна, чудная страна!»

Блины

Вы знаете, что блины живут уже более тысячи лет, с самого, что называется, древле-славянского ab ovo...[121] Они появились на белый свет раньше русской истории, пережили ее всю от начала до последней странички, что лежит вне всякого сомнения, выдуманы так же, как и самовар, русскими мозгами... В антропологии они должны занимать такое же почтенное место, как трехсаженный папоротник или

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
каменный нож; если же у нас до сих пор и нет научных работ относительно блинов, то это объясняется просто тем, что есть блины гораздо легче, чем ломать мозги над ними...

Поддаются времена и исчезают мало-помалу на Руси древние обычаи, одежды, песни; многое уже исчезло и имеет только исторический интерес, а между тем такая чепуха, как блины, занимает в современном российском репертуаре такое же прочное и насиженное место, как и 1000 лет тому назад. Не видно и конца им и в будущем...

Принимая во внимание почтенную давность блинов и их необыкновенную, веками засвидетельствованную стойкость в борьбе с новаторством, обидно думать, что эти вкусные круги из теста служат только узким целям кулинарии и благоутробия... Обидно и за давность и за примерную, чисто спартанскую стойкость... Право, кухня и чрево не стоят тысячи лет.

Что касается меня, то я почти уверен, что многоговорящие старики-блины, помимо кулинарии и чревоугодия, имеют и другие конечные цели... Кроме тяжелого, трудно переваримого теста, в них скрыто еще что-то более высшее, символическое, быть может, даже пророческое... Но что именно?

Не знаю и знать не буду. Это составляло и составляет поднесь глубокую, непроницаемую женскую тайну, до которой добраться так же трудно, как заставить смеяться медведя... Да, блины, их смысл и назначение – это тайна женщины, такая тайна, которую едва ли скоро узнает мужчина. Пишите оперетку!

Со времен доисторических русская женщина свято блюдет эту тайну, передавая ее из рода в род не иначе, как только через дочерей и внуков. Если, храни бог, узнает ее хоть один мужчина, то произойдет что-то такое ужасное, чего даже женщины не могут представить себе. Ни жена, ни сестра, ни дочь... ни одна женщина не выдаст вам этого секрета, как бы вы дороги ей ни были, как бы она низко ни пала. Купить или выменять секрет невозможно. Его женщина не проронит ни в пылу страсти, ни в бреду. Одним словом, это единственная тайна, которая сумела в течение 1000 лет не просыпаться сквозь такое частое решето, как прекрасная половина!..

Как пекут блины? Неизвестно... Об этом узнает только отдаленное будущее, мы же, не рассуждая и не спрашивая, должны есть то, что нам подают... Это тайна!

Вы скажете, что и мужчины пекут блины... Да, но мужские блины не блины. Из их ноздрей дышит холодом, на зубах они дают впечатление резиновых калош, а вкусом далеко отстают от женских... Повара должны ретироваться и признать себя побежденными...

Печенье блинов есть дело исключительно женское... Повара должны давно уже понять, что это есть не простое поливание горячих сковород жидким тестом, а священнодействие, целая сложная система, где существуют свои верования, традиции, язык, предрассудки, радости, страдания... Да, страдания... Если Некрасов говорил, что русская женщина исстрадалась, то тут отчасти виноваты и блины...

Я не знаю, в чем состоит процесс печения блинов, но таинственность и торжественность, которыми женщина обставила это священнодействие, мне несколько известны... Тут много мистического, фантастического и даже спиритического... Глядя на женщину, пекущую блины, можно подумать, что она вызывает духов или добывает из теста философский камень...

Во-первых, ни одна женщина, как бы она развита ни была, ни за что не начнет печь блины 13-го числа или под 13-е, в понедельник или под понедельник. В эти дни блины не удаются. Многие догадливые женщины, чтобы обойти это, начинают печь блины задолго до масленицы, таким образом домочадцы получают возможность есть блины и в масленичный понедельник и 13-го числа.

Во-вторых, накануне блинов всегда хозяйка о чем-то таинственно шепчется с кухаркой. Шепчутся и глядят друг на друга такими глазами, как будто сочиняют любовное письмо... После шептания посылают обыкновенно кухонного мальчишку Егорку в лавочку за дрожжами... Хозяйка долго потом смотрит на принесенные дрожжи, нюхает их и, как бы они идеальны ни были, непременно скажет:

– Эти дрожжи никуда не годятся. Поди, скверный мальчишка, скажи, чтобы тебе получше дали...

Мальчишка бежит и приносит новые дрожжи... За сим берется большая черепамяная банка и наливается водой, в которой распускаются дрожжи и немного муки... Когда дрожжи распустились, барыня и кухарка бледнеют, покрывают банку старой скатертью и ставят ее в теплое место.

– Смотри же, не проспи, Матрена... – шепчет барыня. – И чтоб у тебя банка всё время в тепле стояла!

За сим следует беспокойная, томительная ночь. Обе, кухарка и барыня, страдают бессонницей, если же спят, то бредят и видят ужасные сны... Как вы, мужчины, счастливы, что не печете блинов!

Не успеет засереть за окном хмурое утро, как барыня, босая, разлохмаченная и в одной сорочке бежит уже в кухню.

– Ну, что? Ну, как? – забрасывает она вопросами Матрену. – А? Отвечай!

А Матрена стоит уже у банки и сыплет в нее гречневую муку...

В-третьих, женщины строго следят за тем, чтобы кто-нибудь из посторонних или из домочадцев-мужчин не вошел в кухню в то время, когда там пекутся блины... Кухарки не пускают в это время даже пожарных. Нельзя ни входить, ни глядеть, ни спрашивать... Если же кто-нибудь заглянет в черепамяную банку и скажет: «Какое хорошее тесто!», то тогда хоть выливай – не удадутся блины! Что говорят во время печения блинов женщины, какие читают они заклинания – неизвестно.

Ровно за полчаса до того момента, когда тесто поливается на сковороды, красная и уже замученная кухарка льет в банку немного горячей воды или же теплого молока. Барыня стоит тут же, что-то хочет сказать, но под влиянием священного ужаса не может выговорить. А домочадцы в это время, в ожидании блинов, шагают по комнатам и, глядя на лицо то и дело бегающей в кухню хозяйки, думают, что в кухне родят или же, по меньшей мере, женятся.

Но вот, наконец, шипит первая сковорода, за ней другая, третья... Первые три блина – это макулатура, которую может съесть Егорка... зато четвертый, пятый, шестой и т. д. кладутся на тарелку, покрываются салфеткой и несутся в столовую к давно уже жаждущим и алчущим. Несет сама хозяйка, красная, сияющая, гордая... Можно думать, что у нее на руках не блины, а ее первенец.

Ну, чем вы объясните этот торжествующий вид? К вечеру барыня и кухарка от утомления не могут ни стоять, ни сидеть. Вид у них страдальческий... Еще бы, кажется, немного, и они прикажут долго жить...

Такова внешняя сторона священнодействия. Если бы блины предназначались исключительно только для низменного чревоугодия, то, согласитесь, тогда непонятны были бы ни эта таинственность, ни описанная ночь, ни страдания... Очевидно, что-то есть, и это «что-то» тщательно скрыто.

Глядя на дам, следует все-таки заключить, что в будущем блинам предстоит решение какой-либо великой, мировой задачи.

О бренности
(Масленичная тема для проповеди)

Надворный советник Семен Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины... Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина... Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская наливка, шатолароз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с производением отцов бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра (3 руб. 40 коп. за фунт), свежая семга и проч. Подтыкин глядел на всё это и жадно глотал слюнки... Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастьем...

– Ну, можно ли так долго? – поморщился он, обращаясь к жене. – Скорее, катя!

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами... Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки... Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной... Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился... Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крикнул, раскрыл рот...

Но тут его хватил апоплексический удар.

Персона

«Вакансия на должность писца имеется в канцелярии г. Податного инспектора, на жалованье 250 руб. в год. Лица, окончившие по меньшей мере уездное училище или 3 кл. гимназии, должны обращаться письменно с приложением своего жизнеописания, адресуя прошение на имя г. Податного инспектора в д. Поджилкиной по Гусиной улице».

Прочитав в двадцатый раз это объявление, Миша Набалдашников, молодой человек с прыщеватым лбом, с носом красным от застарелого насморка, в брюках кофейного цвета, походил, подумал и сказал, обращаясь к своей мамаше:

– Кончил я не три класса гимназии, а четыре. Почерк у меня великолепнейший, хоть в писатели или в министры иди. Ну-с, а жалованье, сами видите, великолепное – 20 руб. в месяц! При нашей бедности я бы и за пять пошел! Что ни говорите, а место самое подходящее, лучше и не надо... Только вот одно тут скверно, мамаша: жизнеописание писать нужно!

– Ну, так что ж? Возьми и напиши...

– Легко сказать: напиши! Чтоб сочинить жизнеописание, нужно талант иметь, а как его без таланта напишешь? А написать как-нибудь, зря, пятое через десятое, сами понимаете, неловко. Тут ведь сочинение не учителю подавать, а при прошении, в канцелярию вместе с документами! Мало того, чтоб было на хорошей бумаге и чисто написано, нужно еще, чтоб хороший слог был... Конечно! А то как вы думали? Ежели этак со стороны поглядеть на податного инспектора Ивана Андреича, то он не важная шишка... Губернский секретарь, шесть лет без места ходил и по всем лавочкам должен, но ежели вникнуть, то не-е-т, мамаша, это персона, важная личность! Видали, что в объявлении сказано? «Адресуя прошение»... Про-ше-ние! А прошения ведь подаются только значительным лицам! Нам с вами или дяденьке Нилу Кузьмичу не подадут прошения!

– Это так... – согласилась мамаша. – А на что ему понадобилось твое жизнеописание?

– Этого не могу вам сказать... Должно быть, нужно!

Миша еще раз прочел объявление, заходил из угла в угол и отдался мечтам... Кто хоть раз в жизни сидел без места и томился от безделья, тот знает, как взбудораживают душу объявления вроде вышеписанного. Миша, с самой гимназии не съевший ни одного куска без того, чтоб его не попрекнули в дармоедстве, щеголявший в старых брюках дяденьки Нила Кузьмича и выходивший на улицу только по вечерам, когда не видно было его рваных сапог и облезлого пиджака, воспрянул духом от одной только возможности получить место. 20 рублей в месяц – деньги не малые. Правда, на них лошадей не заведешь и свадьбы не сыграешь, но зато их вполне достаточно, чтобы в первый же месяц, как мечтал Миша, купить себе новые брюки, сапоги, фуражку, гармонийку и дать матери на провизию рублей 5–6. Как бы там ни было, маленькое жалованье гораздо лучше большого безденежья. Но Мишу не так занимали 20 рублей, как то блаженное время, когда мать перестанет колотить ему глаза его тунеядством и походя реветь, а дядюшка Нил Кузьмич прекратит свои нотации и клятвенные обещания выпороть племянника-дармоеда.

– Чем шморгать-то из угла в угол, – перебила его мечтания мамаша, – сел бы лучше да и сочинил...

– Не умею я, мамаша, сочинять, – вздохнул Миша. – Признаться, я уж раз пять садился за писанье, а ни черта у меня не выходит. Хочу писать по-умному, а

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
выходит просто, словно тетке в Кременчуг пишешь...

– Ничего, что просто... Инспектор не взыщет... За мои матерние молитвы и терпение господь смягчит его сердце: не рассердится, ежели что... Небось, и сам-то он в твои годы не бог весть как учен был!

– Пожалуй, еще попробую, только знаю, что опять ничего не выйдет... Хорошо, попробую...

Миша сел за стол, положил перед собой лист бумаги и задумался. После долгого тарашенья глаз на потолок он взял перо и, раскачав кисть руки, как это делают все почитатели собственного почерка, начал: «Ваше высокоблагородие! Родился я в 1867 году в городе К. от отца Кирилла Никаноровича Набалдашникова и матери Наталии Ивановны. Отец мой служил на сахарном заводе купца Подгойского в конторщиках и получал 600 рублей в год. Потом он уволился и долго жил без места. Потом...»

Дальше отец спился и умер от пьянства, но это уж была семейная тайна, которую Мише не хотелось сообщать его высокоблагородию. Миша подумал немного, зачеркнул всё написанное и, после некоторого размышления, написал снова то же самое...

«Потом он скончался, – продолжал он, – в бедности, оплакиваемый женой и горячо любящим сыном, который у него был только я один, Михаил. Когда мне исполнилось 9 лет, меня отдали в приготовительный класс, за меня платил Подгойский, но когда отец уволился от него и он перестал за меня платить, я вышел из IV класса. Учился я посредственно, в I и III классе сидел по 2 года, но по чистописанию и поведению получал всегда пять». И т. д.

Исписал Миша целый лист. Писал он искренно, но бестолково, без всякого плана и хронологического порядка, повторяясь и путаясь. Вышло что-то размазанное, длинное и детски-наивное... Кончил Миша так: «Теперь же я живу на средства моей матери, которая не имеет никаких средств к жизни, а потому всепокорнейше прошу Ваше высокоблагородие, дайте мне место, чтоб я мог жить и кормить мою болезненную мать, которая тоже просит Вас. И извините за беспокойство» (Подпись).

На другой день, после долгих ломаний и застенчивой нерешительности, это жизнеописание было переписано начисто и вместе с документами отправлено по назначению, а через две недели Миша, истомившийся от ожиданий, дрожа всем телом, стоял в передней податного инспектора и ждал гонорара за свое сочинение.

– Позвольте узнать, где здесь канцелярия? – спросил он, заглядывая из передней в большую, скудно меблированную комнату, где на диване лежал какой-то рыжий человек в туфлях и в летней крылатке вместо халата.

– А что вам нужно? – спросил рыжий человек.

– Тут я... две недели тому назад прошение подал... о месте писца... Могу я видеть г. инспектора?

– Это просто возмутительно... – пробормотал рыжий, придавая своему лицу страдальческое выражение и запахиваясь в крылатку. – Сто человек на день! Так и ходят, так и ходят! Да неужели, господа, у вас другого дела нет, как только мне мешать?

Рыжий вскочил, расставил ноги и сказал, отчеканивая каждое слово:

– Тысячу раз говорил уж я всем, что у меня писец есть! Есть, есть и есть! Пора уже перестать ходить! Уж есть у меня писец! Так всем и передайте!

– Виноват-с... – забормотал Миша. – Я не знал-с...

И, неловко поклонившись, Миша вышел... Гонорар – увы и ах!

Иван Матвеич

Шестой час вечера. Один из достаточно известных русских ученых – будем называть его просто ученым – сидит у себя в кабинете и нервно кусает ногти.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Это просто возмутительно! – говорит он, то и дело посматривая на часы. – Это верх неуважения к чужому времени и труду. В Англии такой субъект не заработал бы ни гроша, умер бы с голода! Ну, погоди же, придешь ты...

И, чувствуя потребность излить на чем-нибудь свой гнев и нетерпение, ученый подходит к двери, ведущей в женину комнату, и стучится.

– Послушай, Катя, – говорит он негодующим голосом. – Если увидишь Петра Данилыча, то передай ему, что порядочные люди так не делают! Это мерзость! Рекомендует переписчика и не знает, кого он рекомендует! Мальчишка аккуратнейшим образом опаздывает каждый день на два, на три часа. Ну, разве это переписчик? Для меня эти два-три часа дороже, чем для другого два-три года! Придет он, я его изругаю, как собаку, денег ему не заплачу и вышвырну вон! С такими людьми нельзя церемониться!

– Ты каждый день это говоришь, а между тем он всё ходит и ходит.

– А сегодня я решил. Достаточно уж я из-за него потерял. Ты извини, но я с ним ругаться буду, извозчицки ругаться!

Но вот, наконец, слышится звонок. Ученый делает серьезное лицо, выпрямляется и, закинув назад голову, идет в переднюю. Там, около вешалки, уже стоит его переписчик Иван Матвеич, молодой человек лет восемнадцати, с овальным, как яйцо, безусым лицом, в поношенном, облезлом пальто и без калош. Он запыхался и старательно вытирает свои большие, неуклюжие сапоги о подстилку, причем старается скрыть от горничной дыру на сапоге, из которой выглядывает белый чулок. Увидев ученого, он улыбается той продолжительной, широкой, немножко глуповатой улыбкой, какая бывает на лицах только у детей и очень простодушных людей.

– А, здравствуйте, – говорит он, протягивая большую мокрую руку. – Что, прошло у вас горло?

– Иван Матвеич! – говорит ученый дрогнувшим голосом, отступая назад и складывая вместе пальцы обеих рук. – Иван Матвеич!

Затем он подскакивает к переписчику, хватая его за плечо и начинает слабо трясти.

– Что вы со мной делаете!? – говорит он с отчаянием. – Ужасный, гадкий вы человек, что вы делаете со мной! Вы надо мной смеетесь, издеваетесь? Да?

Иван Матвеич, судя по улыбке, которая еще не совсем сползла с его лица, ожидал совсем другого приема, а потому, увидев дышащее негодованием лицо ученого, он еще больше вытягивает в длину свою овальную физиономию и в изумлении открывает рот.

– Что... что такое? – спрашивает он.

– И вы еще спрашиваете! – всплескивает руками ученый. – Знаете, как дорого для меня время, и так опаздываете! Вы опоздали на два часа!.. Бога вы не боитесь!

– Я ведь сейчас не из дому, – бормочет Иван Матвеич, нерешительно развязывая шарф. – Я у тетки на именинах был, а тетка верст за шесть отсюда живет... Если бы я прямо из дому шел, ну, тогда другое дело.

– Ну, сообразите, Иван Матвеич, есть ли логика в ваших поступках? Тут дело нужно делать, дело срочное, а вы по именинам да по теткам шляетесь! Ах, да развязывайте поскорее ваш ужасный шарф! Это, наконец, невыносимо!

Ученый опять подскакивает к переписчику и помогает ему распутать шарф.

– Какая вы баба... Ну, идите!.. Скорей, пожалуйста!

Сморкаясь в грязный, скомканный платочек и поправляя свой серенький пиджачок, Иван Матвеич идет через залу и гостиную в кабинет. Тут для него давно уже готово и место, и бумага, и даже папиросы.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Садитесь, садитесь, – подгоняет ученый, нетерпеливо потирая руки. – Несносный вы человек... Знаете, что работа срочная, и так опаздываете. Поневоле браниться станешь. Ну, пишите... На чем мы остановились?

Иван Матвееч приглаживает свои щетинистые, неровно остриженные волосы и берется за перо. Ученый прохаживается из угла в угол, сосредоточивается и начинает диктовать:

– Суть в том... запятая... что некоторые, так сказать, основные формы... написали? – формы единственно обуславливаются самой сущностью тех начал... запятая... которые находят в них свое выражение и могут воплотиться только в них... С новой строки... Там, конечно, точка... Наиболее самостоятельности представляют... представляют... те формы, которые имеют не столько политический... запятая... сколько социальный характер...

– Теперь у гимназистов другая форма... серая... – говорит Иван Матвееч. – Когда я учился, при мне лучше было: мундиры носили...

– Ах, да пишите, пожалуйста! – сердится ученый. – Характер... написали? Говоря же о преобразованиях, относящихся к устройству... государственных функций, а не регулированию народного быта... запятая... нельзя сказать, что они отличаются национальностью своих форм... последние три слова в кавычках... Э-э... тово... Так что вы хотели сказать про гимназию?

– Что при мне другую форму носили.

– Ага... так... А вы давно оставили гимназию?

– Да я же вам говорил вчера! Я уж года три как не учусь... Я из четвертого класса вышел.

– А зачем вы гимназию бросили? – спрашивает ученый, заглядывая в писанье Ивана Матвееча.

– Так, по домашним обстоятельствам.

– Опять вам говорить, Иван Матвееч! Когда, наконец, вы бросите вашу привычку растягивать строки? В строке не должно быть меньше сорока букв!

– Что ж, вы думаете, я это нарочно? – обижается Иван Матвееч. – Зато в других строках больше сорока букв... Вы сочтите. А ежели вам кажется, что я натягиваю, то вы можете мне плату убавить.

– Ах, да не в том дело! Какой вы неделикатный, право... Чуть что, сейчас вы о деньгах. Главное – аккуратность, Иван Матвееч, аккуратность главное! Вы должны приучать себя к аккуратности.

Горничная вносит в кабинет на подносе два стакана чаю и корзинку с сухарями... Иван Матвееч неловко, обеими руками берет свой стакан и тотчас же начинает пить. Чай слишком горяч. Чтобы не ожечь губ, Иван Матвееч старается делать маленькие глотки. Он съедает один сухарь, потом другой, третий и, конфузливо покосившись на ученого, робко тянется за четвертым... Его громкие глотки, аппетитное чавканье и выражение голодной жадности в приподнятых бровях раздражают ученого.

– Кончайте скорей... Время дорого.

– Вы диктуйте. Я могу в одно время и пить и писать... Я, признаться, проголодался.

– Еще бы, пешком ходите!

– Да... А какая нехорошая погода! В наших краях в это время уж весной пахнет... Везде лужи, снег тает.

– Вы ведь, кажется, южанин?

– Из Донской области... А в марте у нас совсем уж весна. Тут мороз, все в шубах ходят, а там травка... везде сухо и тарантулов даже ловить можно.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– А зачем ловить тарантулов?

– Так... от нечего делать... – говорит Иван Матвеич и вздыхает. – Их ловить забавно. Нацепишь на нитку кусочек смолы, опустишь смолку в норку и начнешь смолкой бить тарантула по спине, а он, проклятый, рассердится, схватит лапками за смолу, и увязнет... А что мы с ними делали! Накидаем их, бывало, полный тазик и пустим к ним бихорку.

– Какого бихорку?

– Это такой паук есть, вроде тоже как бы тарантула. В драке он один может сто тарантулов убить.

– М-да... Однако будем писать... На чем мы остановились?

Ученый диктует еще строк двадцать, потом садится и погружается в размышление.

Иван Матвеич в ожидании, пока тот надумает, сидит и, вытягивая шею, старается привести в порядок воротничок своей сорочки. Галстук сидит не плотно, запонки выскочили, и воротник то и дело расходится.

– М-да... – говорит ученый. – Так-с... Что, не нашли еще себе места, Иван Матвеич?

– Нет. Да где его найдешь? Я, знаете ли, надумал в вольноопределяющиеся идти. А отец советует в аптеку поступить.

– М-да... А лучше, если бы в университет поступили. Экзамен трудный, но при терпении и усидчивом труде можно выдержать. Занимайтесь, читайте побольше... Вы много читаете?

– Признаться, мало... – говорит Иван Матвеич, закуривая.

– Тургенева читали?

– Н-нет...

– А Гоголя?

– Гоголя? Гм!.. Гоголя... Нет, не читал!

– Иван Матвеич! И вам не совестно? Ай-ай! Такой хороший вы малый, так много в вас оригинального, и вдруг... даже Гоголя не читали! Извольте прочесть! Я вам дам! Обязательно прочтите! Иначе мы рассоримся!

Опять наступает молчание. Ученый полулежит на мягкой кушетке и думает, а Иван Матвеич, оставив в покое воротнички, всё свое внимание обращает на сапоги. Он и не заметил, как под ногами от растаявшего снега образовались две большие лужи. Ему совестно.

– Что-то не клеится сегодня... – бормочет ученый. – Иван Матвеич, вы, кажется, и птиц любите ловить?

– Это осенью... Здесь я не ловлю, а там, дома, всегда ловил.

– Так-с... хорошо-с. А писать все-таки нужно.

Ученый решительно встает и начинает диктовать, но через десять строк опять садится на кушетку.

– Нет уж, вероятно, отложим до завтрашнего утра, – говорит он. – Приходите завтра утром, только пораньше, часам к девяти. Храни вас бог опоздать.

Иван Матвеич кладет перо, встает из-за стола и садится на другой стул. Проходит минут пять в молчании, и он начинает чувствовать, что ему пора уходить, что он лишний, но в кабинете ученого так уютно, светло и тепло, и еще настолько свежо впечатление от сдобных сухарей и сладкого чая, что у него сжимается сердце от одной только мысли о доме. Дома – бедность, голод, холод, ворчун-отец, попреки, а тут так безмятежно, тихо и даже интересуются его тарантулами и птицами.

Ученый смотрит на часы и берется за книгу.

– Так вы дадите мне Гоголя? – спрашивает Иван Матвеич, поднимаясь.

– Да, да. Только куда же вы спешите, голубчик? Посидите, расскажите что-нибудь...

Иван Матвеич садится и широко улыбается. Почти каждый вечер сидит он в этом кабинете и всякий раз чувствует в голосе и во взгляде ученого что-то необыкновенно мягкое, притягательное, словно родное. Бывают даже минуты, когда ему кажется, что ученый привязался к нему, привык, и если бранит его за опаздывания, то только потому, что скучает по его болтовне о тарантулах и о том, как на Дону ловят щеглят.

Ведьма

Время шло к ночи. Дьячок Савелий Гыкин лежал у себя в церковной сторожке на громадной постели и не спал, хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами. Из одного края засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскутьев одеяла глядели его рыжие, жесткие волосы, из-под другого торчали большие, давно не мытые ноги. Он слушал... Его сторожка врезывалась в ограду, и единственное окно ее выходило в поле. А в поле была сушая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей гибели заварилась в природе каша, но, судя по неумолкаемому, зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто. Какая-то победительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше, злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, а что-то побежденное выло и плакало... Жалобный плач слышался то за окном, то над крышей, то в печке. В нем звучал не призыв на помощь, а тоска, сознание, что уже поздно, нет спасения. Снежные сугробы подернулись тонкой льдяной корой; на них и на деревьях дрожали слезы, по дорогам и тропинкам разливалась темная жижица из грязи и таявшего снега. Одним словом, на земле была оттепель, но небо, сквозь темную ночь, не видело этого и что есть силы сыпало на таявшую землю хлопья нового снега. А ветер гулял, как пьяный... Он не давал этому снегу ложиться на землю и кружил его в потемках как хотел.

Гыкин прислушивался к этой музыке и хмурился. Дело в том, что он знал, или, по крайней мере, догадывался, к чему клонилась вся эта возня за окном и чьих рук было это дело.

– Я зна-аю! – бормотал он, грозя кому-то под одеялом пальцем. – Я всё знаю!

У окна, на табурете сидела дьячиха Раиса Ниловна. Жестяная лампочка, стоявшая на другом табурете, словно робела и не веря в свои силы, лила жиденький, мелькающий свет на ее широкие плечи, красивые, аппетитные рельефы тела, на толстую косу, которая касалась земли. Дьячиха шила из грубого рядна мешки. Руки ее быстро двигались, всё же тело, выражение глаз, брови, жирные губы, белая шея замерли, погруженные в однообразную, механическую работу и, казалось, спали. Изредка только она поднимала голову, чтобы дать отдохнуть своей утомившейся шее, взглядывала мельком на окно, за которым бушевала метель, и опять сгибалась над рядном. Ни желаний, ни грусти, ни радости – ничего не выражало ее красивое лицо с вздернутым носом и ямками на щеках. Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не бьет.

Но вот она кончила один мешок, бросила его в сторону и, сладко потянувшись, остановила свой тусклый, неподвижный взгляд на окне... На стеклах плавали слезы и белели недолговечные снежинки. Снежинка упадет на стекло, взглянет на дьячиху и растает...

– Поди ложись! – проворчал дьячок.

Дьячиха молчала. Но вдруг ресницы ее шевельнулись и в глазах блеснуло внимание. Савелий, всё время наблюдавший из-под одеяла выражение ее лица, высунул голову и спросил:

– Что?

– Ничего... Кажись, кто-то едет... – тихо ответила дьячиха.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Дьячок сбросил с себя руками и ногами одеяло, стал в постели на колени и тупо поглядел на жену. Робкий свет лампочки осветил его волосатое, рябое лицо и скользнул по всклоченной, жесткой голове.

– Слышишь? – спросила жена.

Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва уловимый слухом, тонкий, звенящий стон, похожий на зуденье комара, когда он хочет сесть на щеку и сердится, что ему мешают.

– Это почта... – проворчал Савелий, садясь на пятки.

В трех верстах от церкви лежал почтовый тракт. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитателям сторожки слышались звонки.

– Господи, приходит же охота ездить в такую погоду! – вздохнула дьячиха.

– Дело казенное. Хочешь – не хочешь, поезжай...

Стон подержался в воздухе и замер.

– Проехала! – сказал Савелий, ложась.

Но не успел он укрыться одеялом, как до его слуха донесся явственный звук колокольчика. Дьячок тревожно взглянул на жену, спрыгнул с постели и, переваливаясь с боку на бок, заходил вдоль печки. Колокольчик прозвучал немного и опять замер, словно оборвался.

– Не слышать... – пробормотал дьячок, останавливаясь и щуря на жену глаза.

Но в это самое время ветер стукнул по окну и донес тонкий, звенящий стон... Савелий побледнел, крикнул и опять зашлепал по полу босыми ногами.

– Почту кружит! – прохрипел он, злобно косясь на жену. – Слышишь ты? Почту кружит!.. Я... я знаю! Нешто я не... не понимаю! – забормотал он. – Я всё знаю, чтоб ты пропала!

– Что ты знаешь? – тихо спросила дьячиха, не отрывая глаз от окна.

– А то знаю, что всё это твои дела, чертиха! Твои дела, чтоб ты пропала! И метель эта, и почту кружит... всё это ты наделала! Ты!

– Бесишься, глупый... – покойно заметила дьячиха.

– Я за тобой давно уж это замечаю! Как поженился, в первый же день заметил, что в тебе сучья кровь!

– Тьфу! – удивилась Раиса, пожимая плечами и крестясь. – Да ты перекрестись, дурень!

– Ведьма и есть ведьма, – продолжал Савелий глухим, плачущим голосом, торопливо сморкаясь в подол рубахи. – Хоть ты и жена мне, хоть и духовного звания, но я о тебе и на духу так скажу, какая ты есть... Да как же? Заступи, господи, и помилуй! В прошлом годе под пророка Даниила и трех отроков была метель и – что же? мастер греться заехал. Потом на Алексея, божьего человека, реку взломало, и урядника принесло... Всю ночь тут с тобой, проклятый, калякал, а как на утро вышел, да как взглянул я на него, так у него под глазами круги и все щеки втянуло! А? В Спасовку два раза гроза была, и в оба раза охотник ночевать приходил. Я всё видел, чтоб ему пропасть! Всё! О, красней рака стала! Ага!

– Ничего ты не видел...

– Ну да! А этой зимой перед Рождеством на десять мучеников в Крите, когда метель день и ночь стояла... помнишь? – писарь предводителя сбился с дороги и сюда, собака, попал... И на что польстилась! Тьфу, на писаря! Стоило из-за него божью погоду мутить! Чертяка, сморкун, из земли не видно, вся морда в угрях и шея кривая... Добро бы, красивый был, а то – тьфу! – сатана!

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Дьячок перевел дух, утер губы и прислушался. Колокольчика не было слышно, но рванул над крышей ветер и в потемках за окном опять зазвякало.

– И теперь тоже! – продолжал Савелий. – Недаром это почту кружит! Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет! О, бес знает свое дело, хороший помощник! Покружит, покружит и сюда доведет. Зна-аю! Ви-ижу! Не скроешь, бесова балаболка, похоть идольская! Как метель началась, я сразу понял твои мысли.

– Вот дурень! – усмехнулась дьячиха. – Что ж, по твоему, по дурацкому уму, я ненастье делаю?

– Гм... Усмехайся! Ты или не ты, а только я замечаю: как в тебе кровь начинает играть, так и непогода, а как только непогода, так и несет сюда какого ни на есть безумца. Каждый раз так приходится! Стало быть, ты!

Дьячок для большей убедительности приложил палец ко лбу, закрыл левый глаз и проговорил певучим голосом:

– О, безумие! О, иудино окаянство! Коли ты в самом деле человек есть, а не ведьма, то подумала бы в голове своей: а что, если то были не мастер, не охотник, не писарь, а бес в их образе! А? Ты бы подумала!

– Да и глупый же ты, Савелий! – вздохнула дьячиха, с жалостью глядя на мужа. – Когда папенька живы были и тут жили, то много разного народа ходило к ним от трясушки лечиться: и из деревни, и из выселков, и из армянских хуторов. Почитай, каждый день ходили, и никто их бесами не обзывал. А к нам ежели кто раз в год в ненастье заедет погреться, так уж тебе, глупому, и диво, сейчас у тебя и мысли разные.

Логика жены тронула Савелия. Он расставил босые ноги, нагнул голову и задумался. Он не был еще крепко убежден в своих догадках, а искренний, равнодушный тон дьячихи совсем сбил его с толку, но, тем не менее, подумав немного, он мотнул головой и сказал:

– Не то чтобы старики или косолапые какие, а всё молодые ночевать просятся... Почему такое? И пуцай бы только грелись, а то ведь чёрта тешат. Нет, баба, хитрей вашего бабьего рода на этом свете и твари нет! Настоящего ума в вас – ни боже мой, меньше, чем у скворца, зато хитрости бесовской – у-у-у! – спаси, царица небесная! Вон, звонит почта! Метель еще только начиналась, а уж я все твои мысли знал! Наведьмачила, паучиха!

– Да что ты пристал ко мне, окаянный? – вышла из терпения дьячиха. – Что ты пристал ко мне, смола?

– А то пристал, что ежели нынче ночью, не дай бог, случится что... ты слушай!.. ежели случится что, то завтра же чуть свет пойду в Дядьково к отцу Никодиму и всё объясню. Так и так, скажу, отец Никодим, извините великодушно, но она ведьма. Почему? Гм... желаете знать почему? Извольте... Так и так. И горе тебе, баба! Не токмо на страшном судилище, но и в земной жизни наказана будешь! Недаром насчет вашего брата в требнике молитвы написаны!

Вдруг в окне раздался стук, такой громкий и необычайный, что Савелий побледнел и присел от испуга. Дьячиха вскочила и тоже побледнела.

– Ради бога, пустите погреться! – послышался дрожащий густой бас. – Кто тут есть? Сделайте милость! С дороги сбились!

– А кто вы? – спросила дьячиха, боясь взглянуть на окно.

– Почта! – ответил другой голос.

– Недаром дьяволила! [122] – махнул рукой Савелий. – Так и есть! Моя правда... Ну, гляди же ты мне!

Дьячок подпрыгнул два раза перед постелью, повалился на перину и, сердито сопя, повернулся лицом к стене. Скоро в его спину пахнуло холодом. Дверь скрипнула, в на пороге показалась высокая человеческая фигура, с головы до ног облепленная снегом. За нею мелькнула другая, такая же белая...

– И тюки вносить? – спросила вторая хриплым басом.

– Не там же их оставлять!

Сказавши это, первый начал развязывать себе башлык и, не дожидаясь, когда он развяжется, сорвал его с головы вместе с фуражкой и со злобой швырнул к печке. Затем, стащив с себя пальто, он бросил его туда же и, не здороваясь, зашагал по сторожке.

Это был молодой белокурый почтальон в истасканном форменном сюртучишке и в рыжих грязных сапогах. Согревши себя ходьбой, он сел за стол, протянул грязные ноги к мешкам и подпер кулаком голову. Его бледное, с красными пятнами лицо носило еще следы только что пережитых боли и страха. Искривленное злобой, со свежими следами недавних физических и нравственных страданий, с тающим снегом на бровях, усах и круглой бородачке, оно было красиво.

– Собачья жизнь! – проворчал почтальон, водя глазами по стенам и словно не веря, что он в тепле. – Чуть не пропали! Коли б не ваш огонь, так не знаю, что бы и было... И чума его знает, когда всё это кончится! Конца краю нет этой собачьей жизни! Куда мы заехали? – спросил он, понизив голос и вскидывая глазами на дьячиху.

– На Гуляевский бугор, в имение генерала Калиновского, – ответила дьячиха, встрепенувшись и краснея.

– Слышь, Степан? – повернулся почтальон к ямщику, застрявшему в дверях с большим кожаным тюком на спине. – Мы на Гуляевский бугор попали!

– Да... далече!

Произнеся это слово в форме хриплого, прерывистого вздоха, ямщик вышел и, немного погодя, внес другой тюк, поменьше, затем еще раз вышел и на этот раз внес почтальонную саблю на широком ремне, похожую фасоном на тот длинный плоский меч, с каким рисуется на лубочных картинках Юдифь у ложа Олоферна[123]. Сложив тюки вдоль стены, он вышел в сени, сел там и закурил трубку.

– Может, с дороги чаю покушаете? – спросила дьячиха.

– Куда тут чай распивать! – нахмурился почтальон. – Надо вот скорее греться да ехать, а то к почтовому поезду опоздаем. Минут десять посидим и поедем. Только вы, сделайте милость, дорогу нам покажите...

– Наказал бог погодой! – вздохнула дьячиха.

– М-да... Вы же сами кто тут будете?

– Мы? Тутошние, при церкви... Мы из духовного звания... Вон мой муж лежит! Савелий, встань же, иди поздоровайся! Тут прежде приход был, а года полтора назад его упразднили. Оно, конечно, когда господа тут жили, то и люди были, стоило приход держать, а теперь без господ, сами судите, чем духовенству жить, ежели самая близкая деревня здесь Марковка, да и та за пять верст! Теперь Савелий заштатный и... заместо сторожа. Ему споручено за церковью глядеть...

И почтальон тут же узнал, что если бы Савелий поехал к генеральше и выпросил у нее записку к преосвященному, то ему дали бы хорошее место; не идет же он к генеральше потому, что ленив и боится людей.

– Все-таки мы духовного звания... – добавила дьячиха.

– Чем же вы живете? – спросил почтальон.

– При церкви есть сенокос и огороды. Только нам от этого мало приходится... – вздохнула дьячиха. – Дядькинский отец Никодим, завидушие глаза, служит тут на, Николу летнего да на Николу зимнего и за это почти всё себе берет. Заступиться некому!

– Врешь! – прохрипел Савелий. – Отец Никодим святая душа, светильник церкви, а

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
ежели берет, то по уставу!

– Какой он у тебя сердитый! – усмехнулся почтальон. – А давно ты замужем?

– С прощеного воскресенья четвертый год пошел. Тут прежде в дьячках мой папенька были, а потом, как пришло им время помирать, они, чтоб место за мной осталось, поехали в консисторию и попросили, чтоб мне какого-нибудь неженатого дьячка в женихи прислали. Я и вышла.

– Ага, стало быть, ты одной хлопущкой двух мух убил! – сказал почтальон, глядя на спину Савелия. – И место получил, и жену взял.

Савелий нетерпеливо дрыгнул ногой и ближе придвинулся к стенке. Почтальон вышел из-за стола, потянулся и сел на почтовый тюк. Немного подумав, он помял руками тюки, переложил саблю на другое место и растянулся, свесив на пол одну ногу.

– Собачья жизнь... – пробормотал он, кладя руки под голову и закрывая глаза. – И лихому татарину такой жизни не пожелаю.

Скоро наступила тишина. Слышно было только, как сопел Савелий да как уснувший почтальон, мерно и медленно дыша, при всяком выдыхании выпускал густое, протяжное «к-х-х-х...». Изредка в его горле поскрипывало какое-то колесико да шуршала по тюку вздрагивавшая нога.

Савелий заворочался под одеялом и медленно оглянулся. Дьячиха сидела на табурете и, сдавив щеки ладонями, глядела в лицо почтальона. Взгляд ее был неподвижный, как у удивленного, испуганного человека.

– Ну, чего воззрилась? – сердито прошептал Савелий.

– А тебе что? Лежи! – ответила дьячиха, не отрывая глаз от белокурой головы.

Савелий сердито выдыхнул из груди весь воздух и резко повернулся к стене. Минуты через три он опять беспокойно заворочался, стал в постели на колени и, упершись руками о подушку, покосился на жену. Та всё еще не двигалась и глядела на гостя. Щеки ее побледнели и взгляд загорелся каким-то странным огнем. Дьячок крикнул, сполз на животе с постели и, подойдя к почтальону, прикрыл его лицо платком.

– Зачем ты это? – спросила дьячиха.

– Чтоб огонь ему в глаза не бил.

– А ты огонь совсем потуши!

Савелий недоверчиво поглядел на жену, потянулся губами к лампочке, но тотчас же спохватился и всплеснул руками.

– Ну, не хитрость ли бесовская? – воскликнул он. – А? Ну, есть ли какая тварь хитрее бабьего роду?

– А, сатана длиннополая! – прошипела дьячиха, поморщившись от досады. – Погоди же!

И, поудобнее усевшись, она опять уставилась на почтальона.

Ничего, что лицо было закрыто. Ее не столько занимало лицо, как общий вид, новизна этого человека. Грудь у него была широкая, могучая, руки красивые, тонкие, а мускулистые, стройные ноги были гораздо красивее и мужественнее, чем две «кулдышки» Савелия. Даже сравнивать было невозможно.

– Хоть я и длиннополый нечистый дух, – проговорил, немного постояв, Савелий, – а тут им нечего спать... Да... Дело у них казенное, мы же отвечать будем, зачем их тут держали. Коли везешь почту, так вези, а спать нечего... Эй, ты! – крикнул Савелий в сени. – Ты, ямщик... как тебя? Проводить вас, что ли? Вставай, нечего с почтой спать!

И расходившийся Савелий подскочил к почтальону и дернул его за рукав.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Эй, ваше благородие! Ехать, так ехать, а коли не ехать, так и не тово... Спать не годится.

Почтальон вскочил, сел, обвел мутным взглядом сторожку и опять лег.

– А ехать же когда? – забарабанил языком Савелий, дергая его за рукав. – На то ведь она и почта, чтоб во благовремени поспевать, слышишь? Я провожу.

Почтальон открыл глаза. Согретый и изнеможенный сладким первым сном, еще не совсем проснувшийся, он увидел, как в тумане, белую шею и неподвижный, масляный взгляд дьячихи, закрыл глаза и улыбнулся, точно ему всё это снилось.

– Ну, куда в такую погоду ехать! – услышал он мягкий женский голос. – Спали бы себе да спали на доброе здоровье!

– А почта? – встревожился Савелий. – Кто же почту-то повезет? Нешто ты повезешь? Ты?

Почтальон снова открыл глаза, взглянул на двигающиеся ямки на лице дьячихи, вспомнил, где он, понял Савелия. Мысль, что ему предстоит ехать в холодных потемках, побежала из головы по всему телу холодными мурашками, и он поехался.

– Пять минуток еще бы можно поспать... – зевнул он. – Всё равно опоздали...

– А может, как раз вовремя приедем! – послышался голос из сеней. – Гляди, неровен час и сам поезд на наше счастье опоздает.

Почтальон поднялся и, сладко потягиваясь, стал надевать пальто.

Савелий, видя, что гости собираются уезжать, даже заржал от удовольствия.

– Помоги, что ль! – крикнул ему ямщик, поднимая с пола тюк.

Дьячок подскочил к нему и вместе с ним потащил на двор почтовую клажу. Почтальон стал распутывать узел на башлыке. А дьячиха заглядывала ему в глаза и словно собиралась залезть ему в душу.

– Чаю бы попили... – сказала она.

– Я бы ничего... да вот они собрались! – соглашался он. – Всё равно опоздали.

– А вы останьтесь! – шепнула она, опустив глаза и трогая его за рукав.

Почтальон развязал, наконец, узел и в нерешимости перекинул башлык через локоть. Ему было тепло стоять около дьячихи.

– Какая у тебя... шея...

И он коснулся двумя пальцами ее шеи. Видя, что ему не сопротивляются, он погладил рукой шею, плечо...

– Фу, какая...

– Остались бы... чаю попили бы.

– Куда кладешь? Ты, кутья с патокой! – послышался со двора голос ямщика. – Поперек клади.

– Остались бы... Ишь как воеет погода!

И не совсем еще проснувшимся, не успевшим стряхнуть с себя обаяние молодого томительного сна, почтальоном вдруг овладело желание, ради которого забываются тюки, почтовые поезда... всё на свете. Испуганно, словно желая бежать или спрятаться, он взглянул на дверь, схватил за талию дьячиху и уж нагнулся над лампочкой, чтобы потушить огонь, как в сенях застучали сапоги и на пороге показался ямщик... Из-за его плеча выглядывал Савелий. Почтальон быстро опустил руки и остановился словно в раздумье.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Всё готово! – сказал ямщик.

Почтальон постоял немного, резко мотнул головой, как окончательно проснувшийся, и пошел за ямщиком. Дьячиха осталась одна.

– Что же, садись, показывай дорогу! – услышала она.

Лениво зазвучал один колокольчик, затем другой, и звенящие звуки мелкой, длинной цепочкой понеслись от сторожки.

Когда они мало-помалу затихли, дьячиха рванулась с места и нервно заходила из угла в угол. Сначала она была бледна, потом же вся раскраснелась. Лицо ее искажилось ненавистью, дыхание задрожало, глаза заблестели дикой, свирепой злобой, и, шагая как в клетке, она походила на тигрицу, которую пугают раскаленным железом. На минуту остановилась она и взглянула на свое жильё. Чуть ли не полкомнаты занимала постель, тянувшаяся вдоль всей стены и состоявшая из грязной перины, серых жестких подушек, одеяла и разного безымянного тряпья. Эта постель представляла собой бесформенный, некрасивый ком, почти такой же, какой торчал на голове Савелия всегда, когда тому приходила охота маслить свои волосы. От постели до двери, выходящей в холодные сени, тянулась темная печка с горшками и висящими тряпками. Всё, не исключая и только что вышедшего Савелия, было донельзя грязно, засалено, закопчено, так что было странно видеть среди такой обстановки белую шею и тонкую, нежную кожу женщины. Дьячиха подбежала к постели, протянула руки, как бы желая раскидать, растоптать и изорвать в пыль всё это, но потом, словно испугавшись прикосновения к грязи, она отскочила назад и опять зашагала...

Когда часа через два вернулся облепленный снегом и замученный Савелий, она уже лежала раздетая в постели. Глаза у нее были закрыты, но по мелким судорогам, которые бегали по ее лицу, он догадался, что она не спит. Возвращаясь домой, он дал себе слово до завтра молчать и не трогать ее, но тут не вытерпел, чтобы не уязвить.

– Даром только ворожила: уехал! – сказал он, злорадно ухмыльнувшись.

Дьячиха молчала, только подбородок ее дрогнул. Савелий медленно разделся, перелез через жену и лег к стенке.

– А вот завтра я объясню отцу Никодиму, какая ты жена! – пробормотал он, съезживаясь калачиком.

Дьячиха быстро повернулась к нему лицом и сверкнула на него глазами.

– Будет с тебя и места, – сказала она, – а жену поищи себе в лесу! Какая я тебе жена? Да чтоб ты треснул! Вот еще навязался на мою голову телепень, лежебока, прости господи!

– Ну, ну... Спи!

– Несчастливая я! – зарыдала дьячиха. – Коли б не ты, я, может, за купца бы вышла или за благородного какого! Коли б не ты, я бы теперь мужа любила! Не замело тебя снегом, не замерз ты там на большой дороге, ирод!

Долго плакала дьячиха. В конце концов она глубоко вздохнула и утихла. За окном всё еще злилась вьюга. В печке, в трубе, за всеми стенами что-то плакало, а Савелию казалось, что это у него внутри и в ушах плачет. Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены. Что жена его при помощи нечистой силы распорядилась ветрами и почтовыми тройками, в этом уж он более не сомневался. Но, к сугубому горю его, эта таинственность, эта сверхъестественная, дикая сила придавали лежавшей около него женщине особую, непонятную прелесть, какой он и не замечал ранее. Оттого, что он по глупости, сам того не замечая, опоэтизировал ее, она стала как будто белее, глаже, неприступнее...

– Ведьма! – негодовал он. – Тьфу, противная!

А между тем, дождавшись, когда она утихла и стала ровно дышать, он коснулся пальцем ее затылка... подержал в руке ее толстую косу. Она не слышала... Тогда он

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru стал смелее и погладил ее по шее.

– Отстань! – крикнула она и так стукнула его локтем в переносицу, что из глаз его посыпались искры.

Боль в переносице скоро прошла, но пытка всё еще продолжалась.

Примечания

Условные сокращения

Архивохранилища

ГБЛ – Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Отдел рукописей (Москва).

ИРЛИ – институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Рукописный отдел (Ленинград).

ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

ЦГИАЛ – Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

Печатные источники

Вокруг Чехова – М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. Изд. 4-е. М., «Московский рабочий», 1964.

ВС1–13 – Ан. П. Чехов. В сумерках. Очерки и рассказы. Изд. А. С. Суворина. СПб., 1887; изд. 2-е, 1889; изд. 3-е, 1889; изд. 4-е, 1890; изд. 5-е, 1891; изд. 6-е, 1892; изд. 7-е, 1894; изд. 8-е, 1895; изд. 9-е, 1896; изд. 10-е, 1897; изд. 11-е, 1898; изд. 12-е, 1899; изд. 13-е, 1899.

Д1–3 – Ан. Чехов. Детвора. Изд. А. С. Суворина. СПб., 1889; изд. 2-е, 1890; изд. 3-е, 1895.

ЛН – Литературное наследство, т. 68. Чехов. М., Изд-во АН СССР, 1960.

НР – А. Чехонте (А. П. Чехов). Невинные речи. Изд. журнала «Сверчок». М., 1887.

Письма Ал. Чехова – Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. Подготовка текста писем к печати, вступит. статья и коммент. И. С. Ежова. М., Соцэкгиз, 1939. (Всес. б-ка им. В. И. Ленина).

ПР1–14 – А. Чехонте (Ан. П. Чехов). Пестрые рассказы. Издание журнала «Осколки». СПб., 1886; Антон Чехов. Пестрые рассказы. Изд. 2-е, исправленное. Изд. и тип. А. Суворина. СПб., 1891; изд. 3-е, 1892; изд. 4-е, 1893; изд. 5-е, 1894; изд. 6-е, 1895; изд. 7-е, 1895; изд. 8-е, 1896; изд. 9-е, 1897; изд. 10-е, 1897; изд. 11-е, 1898; изд. 12-е, 1898; изд. 13-е, 1899; изд. 14-е, 1899.

ПСС – А. П. Чехов. Полное собрание сочинений. Под ред. А. В. Луначарского и С. Д. Балухатого. М. – Л., 1930–1933.

ПССП – А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. I–XX. М., Гослитиздат, 1944–1951.

Слово, сб. 2. – Слово. Сборник второй. Под ред. М. П. Чеховой. М., Кн-во писателей в Москве, 1914.

Чехов – Антон Чехов. Рассказы. Издание А. Ф. Маркса. СПб., 1899 <Сочинения, том I>; Повести и рассказы. СПб., 1900 <Сочинения, том II>; Рассказы. СПб., 1901 <Сочинения, том III>.

1

В четвертом томе Полного собрания сочинений А. П. Чехова помещены рассказы и юморески, написанные с июня 1885 по февраль 1886 г.

Для собрания сочинений (издание А. Ф. Маркса), подготовленного при жизни Чехова, из их числа было отобрано 38 рассказов; они печатаются по текстам этого издания.

Рассказ «Из воспоминаний идеалиста», также отредактированный и набранный для

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
издания А. Ф. Маркса, но исключенный из его состава уже в гранках,
воспроизводится по тексту гранок.

В 1899 г. Чехов, как видно по сохранившимся писарским копиям, вырезкам из журналов, газет и другим материалам, просмотрел еще 32 рассказа, относящихся к июню 1885 – февралю 1886 г. На большей части копий и вырезок рукою Чехова сделаны пометы: «В полное собрание не войдет».

«В аптеке», «Не судьба!», «Конь и трепетная лань», «Свистуны», «Стена», «Два газетчика», «Циник», «Тапер», не перепечатывавшиеся после первого издания «Пестрых рассказов», СПб., 1886, даются по тексту этого сборника. Юмореска «К сведению мужей», запрещенная цензором «Осколков», печатается по сохранившимся гранкам.

Все остальные рассказы и юморески воспроизводятся по первым журнальным или газетным публикациям, с исправлением явных ошибок набора.

В ЦГАЛИ сохранились гранки, набранные при подготовке дополнительных, посмертных томов издания А. Ф. Маркса (т. XVII–XXII). Здесь находится 15 рассказов и юмористических мелочей: «Реклама», «Шампанское (Мысли с новогоднего похмелья)», «Визитные карточки», «У телефона», «Самый большой город», «Врачебные советы», «Моя „она“», «Надул», «Мнения по поводу шляпной катастрофы», «Мои жены», «Нечто серьезное», «К свадебному сезону», «Руководство для желающих жениться», «Рыбье дело», «Домашние средства». Из них в основной состав посмертных томов издания А. Ф. Маркса вошел лишь рассказ «Мои жены»; некоторые юморески перепечатаны в статье А. Измайлова «Первые шаги „Антоши Чехонте“» (т. XXII, стр. 82–150).

Рассказы в томе располагаются хронологически, по дате написания. Филологические заметки: «Об июне и июле», «Об августе» – вошли в том III, как относящиеся к единому циклу, начатому заметкой «О марте».

В том не включены юмористические «мелочишки», предназначавшиеся для «Специальной почты „Осколков“». Эти юморески были напечатаны в «Осколках», 1886, № 3, 18 января, и № 4, 25 января, в общей подборке, без подписи. Поскольку выделить принадлежащее Чехову можно лишь предположительно, юморески печатаются в разделе «Dubia» (т. XVIII настоящего издания).

Из юмористических мелочей Чехова, посланных в конце 1885 – начале 1886 г. в «Осколки», остаются неизвестными:

1. «Помеха». 20–21 ноября Лейкин сообщил: «Конверт Ваш с мелочами получил <...> „Помеха“ очень плохая мелочишка, решительно ничего не выражающая, но она все-таки пойдет» (ГБЛ; «Новый мир», 1940, № 2–3, стр. 381).
2. «Дипломаты». Тогда же Лейкин писал: «„Дипломаты“ тоже подгуляли, но тоже, при случае, уйдут» (там же).

Варианты даются по всем печатным источникам, включая материалы цензурного архива, где, в частности, сохранились гранки рассказов «Циник» и «Унтер Пришибеев», предназначавшихся первоначально для журнала «Осколки», но в 1885 г. запрещенных Петербургским цензурным комитетом.

В 1885 – начале 1886 г. Чехов печатался под прежними своими псевдонимами: А. Чехонте, А. Ч., Брат моего брата, Человек без селезенки; появились и три новые подписи: Врач без пациентов, Рувер и Ревур. Рассказы, опубликованные в газете «Новое время», были подписаны полным именем: Ан. Чехов.

2

Значительная часть рассказов и юморесок, включенных в четвертый том, появилась впервые на страницах петербургского журнала «Осколки». Озабоченный тем, чтобы журнал «хоть по некоторым своим сотрудникам стоял вне конкуренции», его издатель и редактор Н. А. Лейкин обеспечил Чехову твердый литературный заработок, связав его в то же время множеством стеснительных условий и обязательств, ограничивая возможность печататься в других юмористических журналах. В «Будильнике», например, с июня 1885 по февраль 1886 г. прошло лишь 10 публикаций, в большинстве – коротких юморесок и откликов на московскую злобу дня. Появление на страницах «Будильника» рассказа «Тапер» вызвало резкое недовольство Лейкина. «Он очень ревнив... – писал Чехов В. В. Билибину 28 февраля 1886 г. об издателе

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
„Осколков“. – Не пробовали ли Вы его щекотать?»

Несмотря на то, что в некоторых номерах «Осколков» помещалось до 400 строк чеховского текста (при полном объеме около 1000 строк), Лейкин часто упрекал своего сотрудника в нерадивости. «Писать надо больше, одно скажу. Надо выгнать из себя ленивого человека и нахлыстать себя, – советовал он в письме от 17–18 октября 1885 г. – Ведь нахлыстываю же себя я. Вы говорите, надо читать, заниматься наукой. Ничего не значит <...> Вот, например, что отнимает у Вас много времени: зачем Вы перебеливаете Ваши рассказы? Кто это нынче делает? Пишите прямо набело. Написал, прочел и посылаю, исправив кое-что – вот как все журнальные работники делают» (ГБЛ).

Чехов, по-видимому, и в самом деле не всегда успевал перебеливать предназначенные для «Осколков» рукописи. «Позавидуешь Чехову, который пишет рассказы Лейкину прямо набело и без помарок. Я сам видел», – сообщал А. С. Лазарев-Грузинский Н. М. Ежову 19 марта 1887 г. (ЦГАЛИ, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 7, л. 189),

Литературный заработок Чехова от его «многочисления» почти не увеличивался. «Сколько бы я ни писал и как бы часто ни посылал Вам свою прозу, – замечал он в письме к Лейкину от 23 ноября 1885 г., – мой гонорар не перестанет колебаться между 45 и 65 в месяц... Пошли я Вам сейчас целый мешок статей, и мой гонорар от этого не станет толще, ибо предел ему положен не Вами, а рамками журнала...»

Чехов обязан был еженедельно отсылать в Петербург порцию юморесок – таких, например, как «Письма» или «Конкурс», злободневных «мелочишек» и безвредных в цензурном отношении подписей к рисункам, дававшихся ему с особым трудом: «Вы сами знаете, что легче найти 10 тем для рассказов, чем одну порядочную подпись» (4 ноября 1884 г.); «Подписи шлю по мере сил» (14 сентября 1885 г.); «Подписей – увы! – нет в моих мозгах! Политические темы только тогда не скучны и не сухи, когда в них затрагивается сама Русь, ее ошибки» (30 сентября 1885 г.).

Рассказы же, в которых затрагивалась «сама Русь, ее ошибки», не нравились издателю «Осколков», казались ему недостаточно юмористичными, «сухими». Пропуская без редакторских помарок юморески в бытовые сценки Чехова, Лейкин правил рассказы, подобные «Вороне» и «Унтеру Пришибееву».

Многие рассказы этой поры («Мертвое тело», «Художество», «Детвора», «Егерь» и др.) не соответствовали направлению и характеру юмористического журнала. «Подписчик на „Осколки“ – специальный подписчик и требует юмористики, веселых сценок, сатирических или шуточных или шаловливых стихов. И так уж мы не ту ноту тянем. Раздаются даже жалобы на серьезность», – писал 12–13 октября 1886 г. Лейкин, давно уже убеждавший Чехова, что «одними рассказами журнал наполнить нельзя» (ГБЛ).

В 1885–1886 годах резко выявились те расхождения с программой Лейкина, которые наметились уже в 1884 г. «Вы упрекаете меня, что я придаю фельетонный характер „Осколкам“, – писал Лейкин 19 февраля 1884 г. – Удивляюсь такому упреку! Если бы я мог, я сделал бы „Осколки“ от строчки до строчки фельетоном, но людей нет. Вы забываете, что „Осколки“ журнал, журнал еженедельный, а не сборник. Журнал должен откликаться на все злобы дня, как крупные, так и мелкие <...> Нет, посмотрю я на Вас, Вы не журналист» (ГБЛ).

Переписка с издателями «Осколков», довольная полно сохранившаяся в архивах, позволяет представить те цензурные условия, в которых приходилось работать Чехову.

Правительственные распоряжения 1882 и 1884 годов, установившие строгий режим для всей русской печати, поставили юмористическую журналистику в совершенно бесправное положение. Судьбы журналов стали зависеть непосредственно от умонастроения и воли ближайшего цензурного начальства. Лейкину было объявлено, например, что «начальник главного управления по делам печати вообще против сатирических журналов и не находит, чтобы они были необходимы для публики» (письмо Н. А. Лейкина к Чехову от 10 октября 1885 г. – ГБЛ). К «Осколкам», как журналу наиболее популярному и либеральному, был приставлен специальный чиновник.

Еще в 1884 г. Лейкин сообщал, что на «Осколки» приказано обратить особое внимание: «Что-то будет! Надо сократиться, надо сжаться, а то как бы не вышло

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru чего-нибудь, не отняли бы розничной продажи...» (письмо к Чехову от 20 апреля 1884 г. – ГБЛ). В 1885 г. Лейкин то и дело извещал Чехова о цензурных погромах и «мамаевых побоищах», в результате которых запрещалось – или, по выражению Лейкина, «закрещивалось» – до половины содержания очередного номера. «Крепко поналегли на нас в последнее время; поналегли и давят, душат <...> Идею почти ничего не проходит. С чем ни сунешься, крест» (11 апреля 1885 г.). «Громы разверзлись страшные. Мне приказано, чтобы весь запас каждую неделю посылаем был в комитет на новое рассмотрение, и мотивировано это тем, что неделю раньше могло быть дозволено, то неделю позже, вследствие некоторых циркуляров, не может быть уже дозволено <...> Дамоклов меч висит, и надо, хоть на время, сократиться. Против рожна не попрешь!» (10 октября 1885 г. – ГБЛ).

В 1885 – начале 1886 г. цензура запретила или исказила целый ряд рассказов и «мелочишек» Чехова, в которых усмотрела «опасную тенденцию» или «возможность понимать в дурную сторону» (подробнее – в примечаниях к рассказам «Не судьба!», «Унтер Пришибеев», «К свадебному сезону», «На чужбине», «Циник», «К сведению мужей», «Анюта»).

«Погром на „Осколки“ подействовал на меня, как удар обухом... – писал Чехов Лейкину в октябре 1885 г. – С одной стороны, трудов своих жалко, с другой – как-то душно, жутко... Конечно, Вы правы: лучше сократиться и жевать мочалу, чем с риском для журнала хлестать плетью по обуху <...> Но думаю, что придется сокращаться бесконечно. Что дозволено сегодня, из-за того придется съездить в комитет завтра, и близко время, когда даже чин „купец“ станет недозволённым фруктом. Да, непрочный кусок хлеба дает литература, и умно Вы сделали, что родились раньше меня, когда легче и дышалось и писалось...»

3

С мая 1885 г. Чехов начал сотрудничать в «Петербургской газете». Здесь ему была предоставлена несколько большая, сравнительно с «Осколками», свобода. Газета выходила без предварительной цензуры (поэтому могли быть напечатаны, например, «Циник», «Унтер Пришибеев», «Циник», запрещенные для «Осколков»); редакция не ограничивалась чисто юмористической тематикой, помещая рассказы объемом в 300–400 строк.

Чехов печатался на страницах «Петербургской газеты» еженедельно, иногда – дважды в неделю, с редкими пропусками; с июня 1885 по февраль 1886 г. здесь появилось 42 рассказа, в том числе «Сапоги», «Налим», «Егерь», «Злоумышленник», «Горе», «Детвора», «Тоска».

Гонорар, определенный редактором-издателем С. Н. Худековым, был невелик, высылался неаккуратно и далеко не соответствовал тому успеху, которым рассказы Чехова пользовались у читателей. Лейкин советовал Чехову прервать работу в газете: «Пусть он почувствует Ваше отсутствие – и тогда прибавит. Ведь его начнут спрашивать, куда девался Чехов. А что он ответит?» – писал Лейкин 12–13 октября 1886 г. (ГБЛ).

На запрос Чехова Худеков отвечал 28 октября 1886 г.: «Я с особенным удовольствием готов исполнить Ваше справедливое желание: до нового года буду платить Вам по 10 к., а в новом, 1887 г. – по 12 к. за строчку» (ГБЛ).

Если в начале 1886 г. Худеков еще ограничивал Чехова и в гонораре и в объеме рассказов (говоря о том, что «талантливые сценки» Чехова составляют украшение газеты, он, однако, напоминал, что размер их не должен превосходить двух газетных гранок, – письмо от 11 апреля 1886 г., ГБЛ), то в 1888 г., «почувствовав отсутствие» Чехова, он писал: «Как приятно было бы сердцу моих подписчиков, если бы Вы приняли на себя труд писать для „Газеты“ один маленький рассказ или просто сценку (количество строк безусловно зависит от Вас) – один рождественский и один на Пасху. За последние два по сто рублей за каждый, а за 12 – семьсот двадцать рублей в год, т. е. по 60 рублей в месяц <...> Позволяю себе надеяться, что, взявши на себя такой труд, Вы не будете слишком оторваны от Ваших крупных работ» (26 декабря 1888 г., ГБЛ).

Но в конце 1887 г. Чехов оставил и «Петербургскую газету», и «Осколки», и малую прессу вообще.

4

Рассказы, печатавшиеся в «Петербургской газете», выдвинули Чехова «далеко из

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru круга литераторов нового поколения». Д. В. Григорович, которому принадлежат эти слова, писал Чехову 25 марта 1886 г.: «Читая Вас, я постоянно советовал Суворину и Буренину следовать моему примеру. Они меня послушали и теперь, вместе со мною, не сомневаются, что у Вас настоящий талант, – талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколения <...> Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений» (Слово, сб. 2, стр. 199).

С Д. В. Григоровичем и А. С. Сувориным Чехов познакомился в декабре 1885 г., когда, по приглашению Лейкина, впервые приехал в Петербург.

«Я был поражен приемом, – сообщал Чехов старшему брату 4 января 1886 г., – который оказали мне питерцы. Суворин, Григорович, Буренин... всё это приглашало, воспевало... и мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя рукава».

По-видимому, тогда же, по настоятельному совету Григоровича, Суворин решил пригласить Чехова в свою газету.

Переговоры о сотрудничестве в «Новом времени» закончились уже после возвращения Чехова в Москву, в январе 1886 г. Вел их, по поручению Суворина, редактор «Будильника» А. Д. Курепин.

«С Чеховым мы – давнишние добрые знакомые, – писал он Суворину 1 января 1886 г. – Сегодня или завтра увижу его и постараюсь уговорить. Неделей раньше было бы больше шансов на успех, а теперь он побывал в Петербурге, и Лейкин с Худековым совсем затормошили его. Худеков взял с него обещание писать по два раза в неделю, а Лейкин предлагал 600 р. жалованья в год с тем, чтобы Чехов не писал в „Будильник“. Во всяком случае, постараюсь уладить» (ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 2173).

10 января Курепин сообщил Суворину: «Чехов в принципе готов работать у Вас. Значит, поладить нетрудно» (там же).

Дебютный рассказ Чехова «Панихида» (в этом томе стр. 351 – 355) появился в «Новом времени» 15 февраля. 1886 г. Через неделю (23–24 февраля 1886 г.) Лейкин писал: «Поздравляю Вас с дебютом в „Новом времени“. Мне Суворин недели три тому назад сообщил уже, что Курепину было поручено вести с Вами переговоры. Вот против этого дебюта я ничего не могу сказать и даже радуюсь за Вас. Здесь можно рассчитывать помещать товар постоянно, к тому же Суворин платит прекрасно» (ГБЛ).

Гонорар Чехова в «Новом времени» был значительно выше, чем в других изданиях; своего нового сотрудника Суворин не связывал сроками и в объеме рассказов не ограничивал. «Я радуюсь, – писал Чехов 21 февраля 1886 г., – что условием моего сотрудничества Вы не поставили срочность работы. Где срочность, там спешка и ощущение тяжести на шее <...> Назначенного Вами гонорара для меня пока вполне достаточно». 11 марта 1886 г. Чехов писал В. В. Билибину: «„Ведьма“ в „Новом времени“ дала мне около 75 р. – нечто, превышающее месячную ренту с „Осколков“».

Новым рассказам Чехова сопутствовал большой успех. «Видел Лейкина, – сообщал Билибин 2 марта 1886 г. – Говорит, что на вечере у Суворина «юбилейный вечер по поводу десятилетия „Нового времени“ 28 февраля 1886 г.» были сливки литературно-музыкального и артистически-ученого миров. Григорович Вас опять расхваливал и стыдил Я. Полонского, что тот не читал» (ГБЛ). «Старик Григорович просто влюблен в Ваши рассказы, – извещал Чехова Н. А. Лейкин 6 марта 1886 г. – Суворин пророчит Вашей книге большой успех...» (ГБЛ).

К 1886 г. относится отзыв Н. С. Лескова (статья «О куфельном мужике и проч. Заметки по поводу некоторых отзывов о Л. Толстом»). «В числе молодых беллетристов, – писал Лесков, – есть люди с хорошими дарованиями и тоже с здоровым реальным направлением». Далее названы Гаршин, Короленко и «молодой писатель Чехов, начинающий писать в том же реальном направлении <...> Еще никому не явлено ясно, чего эти люди достигнут, если станут трудиться, имея, между прочим, графа Толстого для себя образцом, а не пугалом...» (Н. С. Лесков. Собр. соч. в одиннадцати томах, т. 11. М., 1958, стр. 139).

Переписка с В. В. Билибиным свидетельствует, что сотрудничество в «Новом времени» внушало Чехову определенные опасения. «Крупное напишу, но с условием,

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru что Вы найдете этому крупному месту среди избранных толстой журналистики... – писал Чехов 28 февраля 1886 г. – Надо полагать, после дебюта в „Новом времени“ меня едва ли пустят теперь во что-нибудь толстое... Как Вы думаете? Или я ошибаюсь?»

Как показало ближайшее будущее, Чехов ошибался: «У него выходило хорошо всё, даже сношения с Сувориным, с которым он дружил сначала и разошелся потом, – заметил Б. Г. Короленко. – И всё ясно до прозрачности: почему дружил и почему разошелся <...> надо сказать при этом, что ни в „Новом времени“, ни вне его Чехов не написал ни одной строки, в которой ему пришлось бы каяться, от которой пришлось бы отречься... Не отречься, не каяться – это редкая судьба, выпадающая на долю писателя. Она дается не всем» (ЛН, т. 68, стр. 524, 528).

5

Из помещенных в этом томе рассказов 30 входили в сборник «Пестрые рассказы», выпущенный в 1886 г. Во втором издании (1891) Чехов сохранил, лишь 16; они перепечатывались затем во всех последующих изданиях.

«Ведьма» и «Панихида» вошли в сборник «В сумерках». Всего в нем было 16 рассказов 1886–1887 годов, из них 13 – печатавшихся «субботниками» в «Новом времени» и 3 – из «Петербургской газеты». Книга была составлена весной 1887 г. 13 марта этого года Чехов писал из Петербурга: «Суворин <...> одолжил мне денег (секрет: 300 руб.) и велел прислать ему материал для издания книги». 18 марта 1887 г. рассказы были отправлены в Петербург; на следующий день в письме к Ал. П. Чехову сообщен порядок их размещения и название сборника: «Мои рассказы» или просто «Рассказы». Когда в письме от 25 мая 1887 г. Ал. П. Чехов предложил «придумать что-нибудь другое», Чехов дал новое заглавие: «В сумерках». Книга была выпущена в августе 1887 г. с посвящением Д. В. Григоровичу. До 1899 г. она выдержала еще двенадцать изданий. Как видно из сопоставления текстов, Чехов вносил некоторые поправки во втором, третьем, пятом, девятом и тринадцатом изданиях.

Для сборника «Невинные речи» (изд. журнала «Сверчок», М., 1887) Чехов дал, в числе других, входящие в этот том рассказы «Нервы», «Средство от запоя» (в сборнике – «Битая знаменитость»), «Дорогая собака», «На чужбине».

В 1889 г. вышел в издании суворинской «дешевой библиотеки» сборник «Детвора», куда, кроме одноименного рассказа, были включены также «Кухарка женится» (1885) и еще четыре рассказа 1886–1887 годов (см. т. V–VI). Все они, кроме «Беглеца», входили в предшествующие книги Чехова («Пестрые рассказы», «В сумерках», «Рассказы»). Сборник «Детвора» переиздавался, без авторских изменений, в 1890 и 1895 годах.

Успех новых книг Чехова «двинул и „Пестрые рассказы“, которые вдруг, недели в три-четыре, разошлись до последнего экземпляра, заставив А. П. по этому случаю заметить: „Чего они (т. е. покупатели) раньше-то смотрели!“» (Н. М. Ежов. Антон Чехов. Мое с ним знакомство, встречи, воспоминания. – «Новое время», 1904, № 10185, 10 июля).

Рассказы, печатавшиеся в «Петербургской газете» и в «Новом времени», изменили отношение русской журнальной критики к Чехову, что сказалось уже в содержании и тоне критических статей, посвященных сборнику в «В сумерках». Авторы рецензий и статей не просто отмечали «симпатичный талант молодого писателя», но стремились объяснить природу этого таланта и его литературную судьбу, во многих отношениях казавшуюся загадочной. Чехов и Лейкин, Чехов и Суворин, Чехов и малая пресса – в отношении к этой теме особенно ясно выразились противоречия, разделявшие тогдашние литературные группировки и партии.

Л. Е. Оболенский, затронув эту тему, употребил чрезвычайно сильные выражения: «Он родился, так сказать, в ослиных яслях, или, говоря менее высоким слогом, в юмористических журналах, среди того навоза, которым покрывают свои страницы эти несчастные листки...». Говоря о «нескольких замечательных вещах», опубликованных в «Новом времени», Оболенский заметил о Чехове: «Шума он не произвел, по крайней мере в печати, что, быть может, объясняется недружелюбным отношением нашей прессы к „Новому времени“» (Л. Е. Оболенский. Обо всем. (Критическое обозрение). – «Русское богатство», 1886, № 12, стр. 166, 167).

С другой стороны, В. Буренин опубликовал пространную статью, в которой с обычной

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru нововременской тенденциозностью упрекнул критику «толстых» журналов в ограниченности и близорукости: «Г–на Чехова заметили, о нем начали говорить лишь с тех пор, как появились его рассказы на столбцах „Нового времени“. А ведь и прежде можно было бы заметить: он давал под разными псевдонимами такие же талантливые и живые вещи, какие дает и теперь <...> причина, заставлявшая и заставляющая до сих пор критику „толстых“ журналов умалять и как бы игнорировать талант молодого беллетриста, заключается, кажется, в том, что произведения Чехова вообще чужды всяких приходско-журнальных тенденций и в большинстве обнаруживают вполне свободное отношение автора к делу искусства, в большинстве руководствуются только одним направлением: тем, какого требует художественная правда...» («Новое время». 1887, № 4157, 25 сентября).

Критик либерального «Вестника Европы» К. Арсеньев, явно подразумевая выступление Буренина, писал в статье «Беллетристы последнего времени»: «Напрасно было бы связывать невнимание к г. Чехову с нерасположением к тем органам печати, в которых он обыкновенно помещает свои рассказы. Эта связь могла бы существовать разве в таком случае, если бы написанное г. Чеховым отличалось специфическим характером, свойственным известной прессе, если бы оно носило на себе следы соседства с нравственной распущенностью, с полемическими приемами низшего сорта; но <...> ни в чем подобном г. Чехова упрекнуть нельзя» («Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 766–767). Близкий взгляд высказал несколько позднее (в 1888 г.) в своем известном письме к Чехову Н. К. Михайловский: «Ваша сила ясная, и в этой ясности речительство, что злу она не послужит, не может послужить, за что бы Вы ни взяли, что бы ни задумали. Я был сначала поражен Вашей неиспорченностью, потому что не знал школы хуже той, которую Вы проходили в „Новом времени“, „Осколках“ и проч.» (Слово, сб. 2, стр. 216–217).

Лишь в позднейшей, опубликованной в связи с восьмым (1895) изданием сборника «В сумерках», статье П. Краснова была сделана попытка – в литературе о Чехове едва ли не первая – раскрыть это противоречие и определить некоторые положительные стороны той «школы», которую Чехов прошел в малой прессе: «Он сумел выйти из тяжелого положения сотрудника юмористических листков <...> научился писать легко и даже весело, что умеют далеко не многие наши писатели. А эта способность была очень важной для г. Чехова, потому что сюжеты, на которые предстояло ему писать, были далеко не веселые, и, при всей легкости изложения <...> рассказы его и теперь всё же оставляют очень тяжелое впечатление» (П. Краснов. Осенние беллетристы. – «Труд», 1895, № 1, стр. 202–203).

В статьях, вызванных появлением сборника «В сумерках», так или иначе затрагивался вопрос о жизненном содержании, о правдивости и реализме чеховских рассказов, и вместе с тем – о связях Чехова с традициями русской классической литературы. Об этом писал уже Л. Е. Оболенский: «Для нас, русских, идеалы таланта и художественности невольно рисуются в Гоголе, Гончарове, Толстом. Обо всех этих писателях можно сказать, что они меньше всего гнали за вычурностью сюжета <...> Отовсюду в их восприимчивую душу бьет жизнь, ее вопросы, ее скрытые, тайные, невидимые боли, печали и радости» («Русское богатство», 1886, № 12, стр. 177–178).

П. Краснов считал, что в русской литературе Чехов стоит совершенно особо, «примыкая, однако, к натуралистической школе с гр. Толстым во главе», и одним из первых коснулся темы «Чехов и Мопассан», приобретающей в ту пору особенную злободневность: «Мопассан, с которым у г. Чехова есть нечто общее, отнюдь не является учителем русского писателя. Они только принадлежали к одной школе и имели сходную точку зрения на мир; однако и тут <...> точка зрения русского писателя и человечнее и неизмеримо глубже» («Труд», 1895, № 1, стр. 210).

Критика 80-х годов поставила вопрос и о художественном своеобразии короткого чеховского рассказа. Так, К. Арсеньев отметил в повествовании Чехова характерную черту: «Из самых обыкновенных, заурядных элементов складывается материал для драмы, развязка которой остается неизвестной читателям, но легко может быть выполнена их воображением». Правда, лаконизм Чехова К. Арсеньев связывал с «примитивностью» самого жизненного материала его рассказов. «Психология „простых“ людей – простых не по сословию или званию, а по малочисленности и несложности управляющих ими побуждений – не требует обширных исследований и находит для себя достаточно простора в рассказах г. Чехова», – заметил он по поводу «Ведьмы», «Агафьи» и «Панихиды». Но «есть задачи, – писал критик, – которые невозможно исполнить на пространных нескольких страницах, невозможно сжать дальше известной черты даже с помощью самого могучего художественного

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru пресса». Отметив, что во втором сборнике «есть несколько рассказов, замысел которых легко мог бы наполнить и более обширную рамку», критик предположил, что в будущем Чехов обратится к повести или роману («Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 771–776).

П. Краснов, писавший позднее, полагал, что «общественное настроение» 80-х годов обусловило не только содержание, но и основную форму чеховской прозы – небольшую повесть, короткий рассказ: «Чехов посвятил свой талант изображению общественного настроения своего времени <...> Его рассказы открывают нам тайные стороны души современного общества, ее недуги, ее безнадежность, ее апатию. Пусть у него не один герой, а множество, но так как в наш век нет резко выраженных оригинальных личностей, а все похоже друг на друга, нет героев, а только толпа, то произведения г. Чехова дадут ключ к пониманию этой толпы...» («Труд», 1895, № 1, стр. 205–206).

Критика 80-х годов с редким единодушием отвела Чехову первое место в ряду литераторов молодого поколения. Л. Е. Оболенский поставил Чехова несравненно выше Короленко, К. Арсеньев отмечал, что между «Маленькими рассказами» Баранцевича нет ни одного, который выдерживал бы сравнение с лучшими страницами сборника «В сумерках». «Одна из сильных сторон г. Чехова, – писал К. Арсеньев, – это описание природы. Он обладает искусством олицетворять ее, заставляя ее жить точно человеческою жизнью, и вместе с тем он свободен от подражания образцам, представляемым в этом отношении нашею и западноевропейскими литературами» («Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 774). Ссылаясь на такие рассказы, как «Егерь», «Ведьма», которые, по мнению критика, «могут стать наряду с лучшими рассказами „Записок охотника“», В. Буренин также выделил пейзажные описания Чехова: «...описывать природу поэтически, как описывали Тургенев, Толстой, теперь почти разучились <...> А между тем ни в чем так не сказывается непосредственность и свежесть таланта, как в таких описаниях: беллетрист, не чувствующий картин природы и не умеющий их воспроизводить иначе, как только рутинными описаниями, не может считаться настоящим художником и не бывает таким художником. И наоборот: беллетрист, обладающий чувством природы и умением схватывать ее поэзию и красоту, – всегда чуткий и живой художник» («Новое время», 1887, № 4157, 25 сентября).

Повторился лишь А. М. Скабичевский: предсказав за год перед тем Чехову гибель «от газетного много- и скорописания», в новом сборнике он усмотрел «начало исполнения этого печального предсказания» («Северный вестник», 1887, № 9, стр. 83, без подписи). Не обнаружил в сборнике ничего существенно нового и безымянный рецензент «Русской мысли». Вспомнив о «Пестрых рассказах», он заметил: «На лучший конец можно сказать, что г. Чехов не пошел и назад, – не начал еще исписываться и повторяться» («Русская мысль», 1887, № 10, стр. 589).

Среди критических отзывов о Чехове своеобразное место занял разбор книги «В сумерках», подготовленный академиком А. Ф. Бычковым (1818–1899) в связи с присуждением Чехову в 1888 г. Пушкинской премии. «Книга под заглавием „В сумерках“, – писал рецензент, – свидетельствует о несомненном таланте г. Чехова; в рассказах, в ней помещенных, много наблюдательности и искренности; выведенные в них лица отличаются жизненною правдою; встречаются между рассказами и художественно исполненные». Подходя к Чехову с мерками традиционной стилистики, Бычков отмечал далее недостатки книги: рассказы «деланные и придуманные („Ведьма“), растянутые („Пустой случай“) и бессодержательные („Событие“) <...> неточные и неправильные выражения, как, например: на траве висят тусклые, недобрые слезы (стр. 3), прекрасно симулировал влюбленного (стр. 23), где бы я мог сгодиться (стр. 25)» и т. п. («Сборник отделения русского языка и словесности императорской Академии наук», т. 46, спб., 1890, стр. 52).

Отзыву А. Ф. Быčkoва в его критической части резко возражал А. Кузин (статья «Академическая критика и молодые таланты» – «Колосья», 1888, № 11).

Академическая комиссия 7 октября 1888 г. присудила Чехову половинную Пушкинскую премию, записав в своем постановлении, что «рассказы г. Чехова, хотя и не вполне удовлетворяют требованиям высшей художественной критики, представляют однако же выдающееся явление в вашей современной беллетристической литературе» («Сборник отделения русского языка и словесности...», стр. 53).

Тексты подготовил и примечания к ним составил М. П. Громов.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Сапоги

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 149, 3 июня, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 306–311.

Редактируя рассказ для собрания сочинений, Чехов снял подзаголовок, устранил иноязычные слова (вместо: «Судя по интонации его голоса» стало: «И глядя на его испуганное лицо»), усилил комизм, речей Мурина и Блистанова в финале, устранил карикатурные просторечия в речах коридорного («киятр», «ахтер», «кажинный» и т. п.). Натуралистическое копирование просторечных и жаргонных форм было свойственно стилю малой прессы. Старшему брату по поводу его работы в «Осколках» Чехов писал 8 мая 1889 г.: «Язык должен быть прост и изящен. Лакеи должны говорить просто, без пуцай и без теперича».

При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий, сербскохорватский и чешский языки.

Моя «она»

Впервые – «Будильник», 1885, № 22 (ценз. разр. 6 июня), стр. 264–265. Подпись: Брат моего брата.

Печатается по журнальному тексту.

Нервы

Впервые – «Осколки», 1885, № 23, 8 июня (ценз. разр. 7 июня), стр. 4, с подзаголовком: (Рассказ). Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Невинные речи», М., 1887.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 294–298, с исправлением по «Осколкам» и сборнику «Невинные речи»: неприлично девице (стр. 14, строка 1) – вместо неприлично девице.

Готовя текст для сборника «Невинные речи», Чехов снял подзаголовок и опустил юмористический выпад против Д. В. Аверкиева, который в 1885 г. начал издавать, в подражание Достоевскому, свой «Дневник писателя». В январском выпуске на 1885 год он поместил рассказ «Месть ничтожного человека». Содержание рассказа таково: человек, любовь которого отвергнута, угрожает отомстить женщине. Когда у нее умер муж, неудачливый любовник раскапывает могилу и переворачивает труп, с тем чтобы на женщину пало подозрение в отравлении мужа опиумом.

В тексте собрания сочинений упоминание про «страшный рассказ о мертвец, перевернувшись в гробу», без имени Аверкиева, было восстановлено; перерабатывая рассказ, Чехов опустил характерные для «Осколков» грубовато-просторечные обороты и несколько сократил сцену беседы с гувернанткой.

Л. Н. Толстой относил «Нервы» к числу лучших рассказов Чехова (письмо И. Л. Толстого к Чехову от 25 мая 1903 г. – т. III этого изд., стр. 537).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, немецкий и сербскохорватский языки.

Дачники

Впервые – «Осколки», 1885, № 24, 15 июня (ценз. разр. 14 июня), стр. 5. Заглавие: Обратите наконец внимание! (Ужасное происшествие). Подпись: Человек без селезенки.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 88–90.

Для собрания сочинений Чехов изменил заглавие, стилистически выправил текст

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru (например, уточнил описание весеннего дачного пейзажа: «запахом сирени и черемухи» вместо «запахом сена, сирени и черемухи»; опустил ряд бытовых подробностей и бранных слов), снял псевдодрагическую концовку, устранив, таким образом, характерный колорит сезонной «осколочной» юморески.

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, сербскохорватский, немецкий, чешский и японский языки.

Вверх по лестнице
Впервые – «Осколки», 1885, № 24, 15 июня (ценз. разр. 14 июня), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Стража под стражей
Впервые – «Петербургская газета», 1885, 17 июня, № 163, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

Мои жены
Впервые – «Будильник», 1885, № 24 (ценз. разр. 20 июня), стр. 283–285. Подпись – в тексте (стр. 30).

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по журнальному тексту.

Пародийное «письмо в редакцию» является откликом на постановку в театре М. В. Лентовского оперетты «Синяя Борода» (подробнее – в примечаниях к рассказу «Сапоги», стр. 467 этого тома).

Надул
Впервые – «Осколки», 1885, № 25, 22 июня (ценз. разр. 21 июня), стр. 5–6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Интеллигентное бревно
Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 169, 23 июня, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

РЫБЬЕ ДЕЛО
Впервые – «Будильник», 1885, № 23 (ценз. разр. 14 июня), стр. 276, и № 25 (ценз. разр. 27 июня), стр. 300, отдел «„Будильник“ на даче». В № 23 – без подписи; в № 25 – подпись: Брат моего брата.

Сохранилась писарская копия второй части с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по журнальному тексту.

Юмореска была написана, очевидно, в ответ на просьбу редактора «Будильника» А. Д. Курепина: «Дачных материалов нет ли?» (письмо от 19 мая 1885 г. – ГБЛ).

6 июня 1885 г. издатель журнала В. Д. Левинский снова просил Чехова: «Дайте мелочишек для „Будильника на даче“ и вообще мелочи, ибо Ваши крупности по необходимости должны лежать <...> Срочное: для „Будильника на даче“ необходимы: календарь, передовая, корреспонденции в прозе, телеграммы (корреспонденции и

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru телеграммы могут быть из мест лечебных, других городов и даже Китая» (ГБЛ).

Сатирические типы («породы») рыб напоминают образы «Сказок» М. Е. Салтыкова-Щедрина, появившихся в печати в 1884 г.: «Премудрый пескарь» и «Карась-идеалист» (в январской книжке «Отечественных записок», а после их закрытия – в сборнике Литературного фонда «XXV лет», СПб., 1884).

Симулянты

Впервые – «Осколки», 1885, № 26, 29 июня (ценз. разр. 28 июня), стр. 4–5, с подзаголовком: (Рассказ). Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы» (СПб., 1886).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 122–126, с исправлением по «Осколкам» и сб. «Пестрые рассказы»: Кузя (стр. 41, строка 26) – вместо Коля.

В сборник «Пестрые рассказы» рассказ был включен без авторских исправлений. В тексте для собрания сочинений Чехов устранил утрированно-комедийные названия и просторечные формы, свойственные «осколочному» юмору. Опущено, например, название села «Битые Холуйки»; в речи Замухришина «покеда» исправлено на «покуда», «окромья» на «кроме» и т. п. Комический смысл рассказа был усилен введением высокопарно-ласковых обращений Замухришина к генеральше: «благодетельница рода человеческого», «благодетельная фея», «матушка-красавица» и др.

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий, польский, сербскохорватский и чешский языки.

Налим

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 177, 1 июля, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 90–95.

Правка рассказа при переизданиях была небольшой. Для сборника «Пестрые рассказы» Чехов снял подзаголовок и внес в текст лишь несколько изменений, в частности: устранил ошибку газетного набора – «горличка» (должно быть «орличка» – степная птица); добавил слово «анафема» («Печенка-то так и отдувается у анафемы»), устранившееся, однако, во втором издании сборника; в реплике Василия «сейчас» заменил на «сичас», но «иде» – на «где». Для второго издания сборника были сделаны еще некоторые стилистические поправки и небольшие сокращения. В тексте собрания сочинений появились всего две незначительные поправки.

Сюжет рассказа, как вспоминал М. П. Чехов, связан с действительным происшествием: «Я отлично помню, как плотники в Бабкине ставили купальню и как во время работы наткнулись в воде на налима» (М. П. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты, М., 1923, стр. 33).

В пространной статье Н. Ладожского «Обещающее дарование», посвященной сборнику «Пестрые рассказы», отмечалось: «Рассказ „Детвора“ <...> и другой рассказ – „Налим“, где описана сцена ловли налима <...> – хороши очень» («С.-Петербургские ведомости», 1886, № 167, 20 июня).

При жизни Чехова рассказ был переведен на польский и сербскохорватский языки.

Из воспоминаний идеалиста

Впервые – «Будильник», 1885, № 26 (ценз. разр. 4 июля), стр. 307–308. Заглавие: Дачный казус (Из воспоминаний идеалиста). Подпись: Брат моего брата.

Как видно из писем Чехова к А. Ф. Марксу (30 апреля 1899 г.) и Ю. О. Грюнбергу (21 мая 1899 г.), исправленный текст рассказа, с измененным заглавием, был

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru выслан 30 апреля 1899 г. в Петербург и предназначался для второго тома издания А. Ф. Маркса. Однако в письме к Грюнбергу от 21 октября 1899 г. Чехов назвал «Из воспоминаний идеалиста» в числе рассказов, которые «не войдут в полное собрание и должны быть разобраны».

По гранкам изд. А. Ф. Маркса, хранившимся в музее А. П. Чехова при ГБЛ, текст был опубликован впервые в 1929 г.: А. П. Чехов. Собрание сочинений. Под общей ред. А. В. Луначарского, т. III. Нынешнее местонахождение гранок неизвестно.

Печатается по тексту: ПСС, т. III, стр. 249–252, с исправлением по «Осколкам»: Но мужчина лучше! (стр. 51, строка 29) – вместо Но мужчины лучше!

Правка текста в 1899 г. была довольно существенной: подзаголовок стал заглавием, устранены жаргонные слова и обороты («стрескать ужин» заменено на «съесть ужин», «заклевать носом» на «вернуться домой навеселе» и др.), сняты обращения к читателю («и вы согласитесь...», «Хороший урок идеалисту!»), но появилось комически восторженное: «Читатель, я в восторге, позвольте мне вас обнять!»

В аптеке

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 182, 6 июля, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы».

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 147–151.

Отдавая рассказ в сборник, Чехов снял подзаголовок и внес единственную поправку: снял слова «знаете ли», оказавшиеся рядом с «Нельзя ли».

Лошадиная фамилия

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 183, 7 июля, стр. 3, отдел: «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 160–164.

Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов снял подзаголовок, устранил просторечия в репликах приказчика (изменено, например: «бывальча» на «бывало», «сичас» на «сейчас» и т. д.), дал несколько новых разновидностей «лошадиной» фамилии, но, сокращая текст, опустил эпизод с поисками фамилии от слова «конюшня» и вариант, придуманный гувернанткой: «Лошадинчиков».

Е. К. Сахарова (Маркова), познакомившаяся с Чеховым в 1884 г., писала, что этот рассказ Чехов передавал ей «в несколько другом виде <...> действующее лицо никак не может вспомнить фамилию.

„Такая обыкновенная простая фамилия, так и вертится на языке, ах ты господи, ну птица еще такая, птичья фамилия!“ Его собеседник начинает перечислять всех птиц: „Соколов, Воробьев, Петухов, Сеницын, Чижов...“ – „Нет, нет, не то, не то!“ – и наконец вспоминает: „Вербицкий, Вербицкий, насилу вспомнил“. – „Позвольте, но ведь вы говорили – фамилия птичья!?“ – „Ну да, конечно, ведь птица же садится на вербу“» («Воспоминания об А. П. Чехове». Рукопись – ЦГАЛИ, ф. 549, оп. 1, ед. хр. 352, лл. 14–14 об.).

Известен фольклорный мотив, соответствующий пересказу Е. К. Сахаровой: мужик забывает «птичью» фамилию; оказывается, это – Вербицкий (Н. П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов, л., 1929, № 2081).

Возможно, что этот сюжет объединился у Чехова с таганрогским воспоминанием, о котором рассказывал писатель В. Г. Богораз (Н. А. Тан): «„Лошадиная фамилия“ – тоже таганрогский анекдот, хотя и измененный. В таганрогском округе были два обывателя, довольно зажиточных и видных, Жеребцов и Кобылин. Им как-то случилось заехать одновременно в одну и ту же гостиницу, и их записали на доску рядом особенно крупными буквами. Я помню, над этим смеялись все в Таганроге» (Тан. На

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru родине Чехова. – «Чеховский юбилейный сборник», М., 1910, стр. 486).

При жизни Чехова рассказ был переведен на польский, сербскохорватский и чешский языки.

Не судьба!

Впервые – «Осколки», 1885, № 28, 13 июля (ценз. разр. 12 июля), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы».

Сохранилась журнальная вырезка с авторской пометой. «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 244–249.

О рассказе «Не судьба!» Н. А. Лейкин сообщил Чехову 11 июля 1885 г.: «Рассказ Ваш о помещиках и о попе Анисиме был помаран цензором в нескольких местах, но, вследствие подачи мною жалобы, прошел целиком во второй инстанции, т. е. в цензурном комитете» (ГБЛ). В июле 1885 г. «Осколки» цензуровал не П. Г. Сватковский, а другой цензор. Лейкин писал по этому поводу сотруднику журнала, поэту Л. Н. Трефолеву: «Дело в том, что Сватковский относительно либеральный цензор, но теперь он в отпуску на 28 дней и за него цензирует „Осколки“ Пантелеев, цензор строгий, а главное тупой» (ЦГАЛИ, ф. 507, оп. 1, ед. хр. 201).

Необходимое предисловие

Впервые – «Осколки», 1885, № 29, 20 июля (ценз. разр. 19 июля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Юмореска была отправлена в «Осколки» в начале июля 1885 г. 11 июля Лейкин писал: «Получил от Вас два присыла: один с двумя мелочишками („Необходимое предисловие“ и „Нечто серьезное“), другой с анекдотами („В вагоне“) и рассказом „Философ“ („Мыслитель“))» (ГБЛ).

Нечто серьезное

Впервые – «Осколки», 1885, № 30, 27 июля (ценз. разр. 26 июля), стр. 6. Подпись: А. Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

В вагоне

Впервые – «Осколки», 1885, № 30, 27 июля (ценз. разр. 26 июля), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

Сценки Чехова были перепечатаны 29 июля 1885 г. в газете «Новости дня» (№ 204), под рубрикой «Мелочи русской юмористики», с измененным заглавием: «В вагоне конки (Из разговорной перестрелки)». В газете первая, третья и последняя сценки опущены; добавлена новая:

«Ужасное положение человека, заведывающего газетой!.. Романисты требуют денег, фельетонистка норовит ограбить, во сне видишь „Пиковую даму“, в секретари возьмишь человека, оказывается – он Пушкина не читал!.. Газету, знаете, на пуды предлагал – не берут! И в довершение всего ежедневно Погодину видишь!..

– А вы какой газетой заведываете?

– Я?! Бестужев!»

В остальных сделаны изменения, приспособляющие текст к московской тематике и газетной полемике «Новостей дня».

Вместо: « – А вы где изволите писать? – Пишу в „Луче“ статьи по еврейскому вопросу» – появилось: « – Извините за нескромный вопрос: вы, вероятно, известный литератор? – Да!.. я... Пазухин»; вместо: «Сапожных дел мастер Егоров...» – «Я?!

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Коробочных дел мастер Жадаев».

Очевидно, перепечатка была сделана без ведома и Чехова и редактора «Осколков». Такие перепечатки были обычны для «Новостей дня». Так, в письме к Чехову 26 апреля 1885 г. Лейкин резко протестовал против того, что редактор «Новостей дня» А. Я. Липскеров «ворует» его, Лейкина, рассказы из «Петербургской газеты».

Мыслитель

Впервые – «Осколки», 1885, № 32, 10 августа (ценз. разр. 9 августа), стр. 4.
Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 5–8.

Рассказ был отправлен в «Осколки» в начале июля 1885 г.; в письме Н. А. Лейкина от 11 июля он упоминается под заглавием «философ» (ГБЛ).

Правка рассказа при переизданиях была небольшой. Во втором издании «Пестрых рассказов» снята фамилия учителя – Фунин; для собрания сочинений, кроме мелких стилистических поправок, Чехов произвел две замены: в авторской речи вместо «нового протеста» стало «новых ересей» и в реплике Пимфова вместо нейтрального «А я-то боялся!» – «а то бы волосы дыбом, хоть святых выноси».

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский и сербскохорватский языки.

Заблудшие

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 191, 15 июля, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы» (СПб., 1886).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 113–117.

В сборнике «Пестрые рассказы» текст воспроизведен почти без изменений (снят подзаголовок и сделаны две поправки). Для собрания сочинений Чехов изъясил несколько фраз и провел сплошную стилистическую правку, устранив, в частности, варваризмы в авторской речи («растет crescendo» заменено: «становится всё громче»).

Рассказ «Заблудшие» К. Арсеньев упомянул в статье «Беллетристы последнего времени» как пример «анекдота, совершенно чуждого искусству»: «чересчур веселые, присяжные поверенные, попадающие по ошибке в чужую дачу <...> это, пожалуй, забавно, но забавно на манер послеобеденных рассказней, потешающих маловзыскательную и смешливо настроенную публику» («Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 768).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, сербскохорватский, словацкий и чешский языки.

Егерь

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 194, 18 июля, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 208–213, с исправлениями по «Петербургской газете» и сб. «Пестрые рассказы».

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Правка рассказа при переизданиях была небольшой. В «Пестрых рассказах» снят подзаголовок, устранены ошибки газетного набора (в сборнике «тетерью» – вместо «тетерку», «сызмалетства» – вместо «с измальства», «и век тебе не понять» – вместо «и в век тебе не понять»), а в следующих изданиях сборника сделано несколько стилистических изменений. Готовя текст для собрания сочинений, Чехов в финале опустил фразу: «Долго видит она его...» и поправил в речи Пелагеи: «я с ими» (вместо «я с ними»).

«Егерь» – первый рассказ Чехова, отмеченный Д. В. Григоровичем. 25 марта 1886 г. он писал Чехову: «Около года тому назад я случайно прочел в „Петербургской газете“ Ваш рассказ; названия его теперь не припомню; помню только, что меня поразили в нем черты особенной своеобразности, а главное – замечательная верность, правдивость в изображении действующих лиц и также при описании природы. С тех пор я читал всё, что было подписано Чехонте...» (Слово, сб. 2, стр. 199).

Отвечая Григоровичу, Чехов рассказывал, в частности, об условиях, в которых ему случалось писать: «Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а „Егеря“, который Вам понравился, я писал в купальне!» (28 марта 1886 г.).

Вскоре после опубликования «Егеря» Григорович настойчиво рекомендовал Чехова А. С. Суворину. Сам Чехов, по свидетельству современника, рассказывал об этом так:

«Когда в „Петербургской газете“ появился мой „Егерь“ <...> Григорович поехал к Суворину и начал говорить: „Алексей Сергеевич, пригласите же Чехова! Прочтите его „Егеря“. Грех не пригласить!»

Суворин написал Курепину, Курепин пригласил меня и торжественно объявил, что меня зовут в „Новое время“...» (А. Грузинский. О Чехове. Отрывки воспоминаний. – «Русская правда», 1904, № 99).

Рассказ «Егерь» был отмечен критикой среди тех, «которые без всякого преувеличения могут стать наряду с лучшими рассказами „Записок охотника“» (В. Буренин. Рассказы г. Чехова. – «Новое время», 1887, № 4157, 25 сентября). Появился, однако, и необычный по грубости тона отзыв Ф. Змиева (Ф. И. Булгакова): «Такие рассказы, например, как „Разговор с собакой“, „Егерь“, „Сонная одурь“, „Кухарка женится“, „Репетитор“, „Надлежащие меры“ и многие другие – похожи скорее на полубред какой-то или болтовню ради болтовни, чем на мало-мальски отчетливое изложение осмысленной фабулы» («Новь», 1886, т. XI, № 17, стр. 62).

Мысль о связи «Егеря» с «Записками охотника» И. С. Тургенева была высказана – правда, весьма прямолинейно и упрощенно – еще и в 1889 г. А. С. Лазарев (Грузинский) писал Н. М. Ежову 6 мая 1889 г.:

«В чеховском „Егере“ мало сходства со „Свиданием“, но Ермолай („Ермолай и мельничиха“) им целиком взят для типа егеря. Как мы с тобой этого давно не разобрали? Например:

(Пишу это не в укор Чехову; ведь мы подражаем иногда Чехову и Лейкину, а уж лучше подражать Тургеневу, чем Лейкину и даже Чехову; вообще никто из молодых не избегает подражания. Пишу просто для выяснения факта.)

„Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной полуразвалившейся избенке, перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жестоко и грубо... бедная его жена не знала чем угодить ему, трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном“.

Это весь Егерь с женой перед глазами. Затем разговор Ермолая с мельничихой отразился в „Агафье“ (Савка и Агафья) и в разговоре егеря с женой» (ЦГАЛИ, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 7).

Впоследствии рассказ «Егерь» неоднократно упоминался в критической литературе в связи с темой «Чехов и Тургенев». Подробнее об этом – в статье А. С. Долинина

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru «Тургенев и Чехов (Параллельный анализ „Свидания“ Тургенева и „Егеря“ Чехова)» – «Творческий путь Тургенева». Сборник статей под редакцией Н. Л. Бродского. Книгоиздательство «Сеятель», Пг., 1923, стр. 281.

При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, немецкий, польский, сербскохорватский и чешский языки.

Злоумышленник

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 200, 24 июля, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 5–9.

Правка рассказа при переизданиях была небольшой. Для «Пестрых рассказов» был лишь снят подзаголовок; во втором издании сборника Чехов трижды поправил реплики Дениса Григорьева, заменяя просторечную форму литературной («надо» вместо «надыть» и т. п.), две стилистические поправки внес для десятого издания и семь – для собрания сочинений.

В заметке «Сюжет рассказа „Злоумышленник“» В. А. Гиляровский рассказывал о встрече с Чеховым в подмосковном дачном местечке Краскове и о знакомстве с крестьянином Никитой Пантюхиным (Хромым), «великим мастером по ловле налимов», который использовал гайки вместо грузил:

«А. П. старался объяснить Никите, что отвинчивать гайки нельзя, что из-за этого может произойти крушение поезда, но это было совершенно непонятно мужику:

– Нешто я все гайки-то отвинчиваю? В одном месте одну, в другом – другую... Нешто мы не понимаем, что лъзя, что нельзя!» («Чеховский юбилейный сборник», изд. И. Д. Сытина, М., 1910, стр. 369–370).

В критическом обозрении Л. Е. Оболенского «Обо всем» рассказ «Злоумышленник» отнесен к числу наиболее удачных и характерных рассказов Чехова: «Мелкие штрихи, иногда в одно слово, рисуют и быт и обстановку так ясно, что вы только удивляетесь этому уменью – свести в один крохотный фокус все необходимые детали, только самое необходимое, а в то же время взволновать и чувстве ваше и разбудить мысль: в самом деле, взгляните глубже в этого следователя и в этого мужика, ведь это два мира, оторванные от одной и той же жизни; оба русские, оба в существе не злые люди, и оба не понимают друг друга. Подумайте только над этим, и вы поймете, какая глубина содержания в этом крохотном рассказике, изложенном на двух с половиной страницах» («Русское богатство», 1886, № 12, стр. 171).

К. Арсеньев в статье «Беллетристы последнего времени» отметил: «В „Злоумышленнике“ чрезвычайно живо обрисован крестьянин, сделавшийся преступником сам того не зная и не понимая» («Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 770).

Известен отзыв Л. Н. Толстого: «„Злоумышленник“ – превосходный рассказ... Я его раз сто читал. Тоже судьи» («Из дневника Д. П. Маковицкого». Запись 1 марта 1906 г. – ЛН, т. 68, стр. 874).

Об отношении Л. Н. Толстого к рассказу писал также французский переводчик Дени Рош: «Л. Н. вспоминал, в частности, рассказ, озаглавленный „Злоумышленник“. Он считал его одним из шедевров Чехова» (ЛН, т. 75, М., 1965, кн. 2, стр. 28).

Отзыв Л. Н. Толстого о «Злоумышленнике» был сообщен Чехову И. Л. Толстым; письмо И. Л. Толстого к Чехову – в т. III наст. изд., стр. 537.

По воспоминаниям Горького, Толстой восхищался «изящной правдою приемов письма» Чехова и ставил в пример молодым литераторам «такие превосходные и глубокие вещи Чехова, каковы: „Тиф“, „Душечка“, „Припадок“, „Злоумышленник“, „Дуэль“ и многие другие» («М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказывания». М., 1951, стр. 161).

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, немецкий, сербскохорватский, словацкий и чешский языки.

Жених и папенька

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 207, 31 июля, стр. 3, отдел: «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

Гость

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 212, 5 августа, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

Конь и трепетная лань

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 219, 12 августа, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы».

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 1–6.

В названии рассказа использованы стихи из «Полтавы» А. С. Пушкина (песнь вторая): «В одну телегу впрячь неможно / Коня и трепетную лань».

Для сборника «Пестрые рассказы» Чехов снял подзаголовок и внес в текст несколько поправок.

При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорватский язык.

Делец

Впервые – «Осколки», 1885, № 33, 17 августа (ценз. разр. 16 августа), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Утопленник

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 226, 19 августа, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

Реклама

Впервые – «Будильник», 1885, № 33 (ценз. разр. 22 августа), стр. 397. Подпись: Брат моего брата.

Печатается по журнальному тексту.

Свистуны

Впервые – «Осколки», 1885, № 34, 24 августа (ценз. разр. 23 августа), стр. 4, с подзаголовком: (Рассказ). Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы».

Сохранилась журнальная вырезка с авторской пометой. «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 368–372.

Для сборника Чехов снял подзаголовок, сделал несколько стилистических поправок, сократил речь Восьмеркина о Фильке.

Отец семейства

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 233, 26 августа, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Заглавие: Козлы отпущения (Посвящается молодым папашам). Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы» (СПб., 1886). Заглавие: Козлы отпущения (Посвящается многим папашам).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 132–136.

При включении в сборник был изменен подзаголовок, в тексте сделано две поправки и несколько пунктуационных изменений; для собрания сочинений подзаголовок снят совсем, дано новое заглавие, а текст сильно выправлен и сокращен. Изменилась фамилия главы семейства (в первоначальном тексте – Крутоносов), устранены иноязычные слова (вместо «не деликатес какая-нибудь» стало «не барышня», вместо «около него группируются» – «около него сидят» и др.), усилена грубость «отца семейства» (вместо «Кто пришел?» – «Кого принесло»; вместо «У меня, брат... я, брат...» – «Болван» и т. д.). Заново был написан финал (утренний разговор отца с сыном), перенесший акцент всего рассказа на душевные переживания мальчика.

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, норвежский, румынский, финский и чешский языки.

Староста

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 340, 2 сентября, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Печатается по тексту газеты.

Унтер Пришибеев

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 273, 5 октября, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Заглавие: Кляузник (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

В гранках сохранился первоначальный текст, посланный в «Осколки» и запрещенный цензурой (ЦГИАЛ). Заглавие: «Сверхштатный блюстителъ». В ИРЛИ хранятся гранки с авторской правкой для собрания сочинений.

Печатаются по тексту: Чехов, т. II, стр. 144–148.

Рассказ был послан в «Осколки», по-видимому, в начале сентября 1885 г. Н. А. Лейкину он показался растянутым и недостаточно юмористичным, «сухим». 6 сентября 1885 г. он писал Чехову: «Да длинен-то бы еще ничего, а сух очень, так уж пусть будет сухота покороче. Впрочем, я сократил очень немного» (ГБЛ).

Рассказ был набран в типографии «Осколков») и в гранках отправлен в Петербургский цензурный комитет. Уже 16 сентября Лейкин сообщил Чехову: «Цензор не разрешил к печати ваш рассказ „Сверхштатный блюстителъ“. Что он нашел в нем либерального – не понимаю» (там же).

В определении цензора говорилось: «Эта статья принадлежит к числу тех, в которых описываются уродливые общественные формы, явившиеся вследствие усиленного наблюдения полиции. По резкости преувеличения вреда такого наблюдения, статья не может быть дозволена» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 3, ед. хр. 97, л. 180).

Пытаясь спасти рассказ, Лейкин обжаловал решение цензора. Но и комитет в заседании 18 сентября определил: «Статью к напечатанию не дозволить». 26 сентября 1885 г. Лейкин писал Чехову: «Посылаю Вам корректуру Вашего рассказа

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru „Сверхштатный блюстителъ“. Рассказ не прошел в двух инстанциях. Что узрела в нем такого опасного цензура, просто руками развожу. Не понял ли он выставляемого Вами унтера как деревенского шпиона, назначенного на эту должность? Но ведь это совсем не похоже. Тут просто, по-моему, кляузник соn amore <по любви>. Рассказ этот у Вас непременно уйдет в „Петербургской газете“. Не посылайте только туда его в корректуре, а перепишите. Худеков страшный трус. Узнает, что рассказ не пропущен цензурой для „Осколков“, и ни за что не поместит» (ГБЛ).

Чехов отвечал 30 сентября: «Получил Ваше письмо с корректурой после злополучного рассказа... Судьбы цензорские неисповедимы! Покорный Вашему совету, шлю изгнанника в „Петербургскую газету“».

В «Петербургскую газету» рассказ был отослан с небольшими исправлениями и под новым заглавием: вместо «Сверхштатный блюстителъ» – «Кляузник» (Чехов, по-видимому, учитывал мнение, которое высказал о главном персонаже Лейкин – «кляузник соn amore»). В начале рассказа Чехов изменил дату действия (3 сентября вместе 3 августа), смягчил характеристику Пришибеева («сморщенный унтер с колючим лицом» вместо «маленький, тощенький и сморщенный утер с колючим лицом и выпученными глазами»), внес несколько добавлений: дописаны комическая сцена, где мировой учит Пришибеева говорить «вы», а не «ты», и чистосердечная сентенция унтера: «Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо, ежели за дело... ежели беспорядок...»

В газете рассказ прошел беспрепятственно, и около 7 октября 1885 г. Чехов сообщил Лейкину: «Похеренный цензурой рассказ пошел в „Петербургской газете“ под другим названием, и, таким образом, я не в убытке».

В собрание сочинений рассказ был включен под новым заглавием: «Унтер Пришибеев».

В гранках, сохранившихся в ИРЛИ, Чехов сделал карандашом некоторые замены и сокращения, не учтенные в напечатанном тексте. Правка в этом экземпляре не завершена, и в издательство А. Ф. Маркса послана другая, выправленная автором, корректура.

И в тексте, запрещенном цензурой, и в «Петербургской газете» рассказ заканчивался недоуменным вопросом унтера: «За что?!» Судя по карандашным поправкам в гранках издания А. Ф. Маркса, Чехов предполагал кончить рассказ так: приговоренный к аресту, Пришибеев, выйдя из судебной камеры и увидев мужиков, кричит: «Наррод, расходись! Не толпись! Чего толпитесь? По какому такому закону?! По домам!!» В окончательном тексте карандашные вставки не учтены, окрик унтера лаконичнее.

Стилистической правкой рассказа для собрания сочинений Чехов устранил утрированно-комические словечки и обороты (преимущественно в речах Пришибеева).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий, сербскохорватский и чешский языки.

Мертвое тело

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 247, 9 сентября, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Картинка). Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 17–22, с исправлением по «Петербургской газете» и сб. «Пестрые рассказы»: освещает в багровый цвет (стр. 127, строка 33) – вместо: освещает в багровый свет.

Правка рассказа при переизданиях была небольшой. В первом издании «Пестрых рассказов» снят подзаголовок и сделано несколько изменений в речи старого мужика (опущено «побей меня бог», «подложи-кась» исправлено на «подложи-ка»); по одной стилистической поправке сделано во втором и в двенадцатом изданиях сборника. Готовя текст для собрания сочинений, Чехов лишь сократил реплику Семы о сове (осталось «Это сова пташек забирает», снято: «А может и не сова... Христос его знает... В лесу много зверья разного...») и внес еще несколько стилистических

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru поправок.

Сюжет рассказа, вероятно, связан с происшествием, о котором Чехов сообщал Н. А. Лейкину в письме от 27 июня 1884 г., когда он в Звенигороде заменял уехавшего в отпуск врача С. П. Успенского: «Сейчас я приехал с судебно-медицинского вскрытия, бывшего в 10 верстах от Воскресенска <...> Встревоженная деревушка, понятия, десятский с бляшкой, баба-вдова, голосащая в 200 шагах от места вскрытия, и два мужика в роли кустодиев около трупа... Около молчащих кустодиев тухнет маленький костер... Стеречь труп днем и ночью до прибытия начальства – мужицкая, никем не оплачиваемая повинность...» (в тексте рассказа: «...два мужика, исполняющих одну из самых тяжелых и неприглядных крестьянских повинностей»).

М. П. Чехов вспоминал о жизни брата в Звенигороде: «Он здесь и принимал больных, и в качестве уездного врача, тоже уехавшего в отпуск, должен был исполнять поручения местной администрации, ездить на вскрытия и быть экспертом в суде <...> Звенигородские впечатления дали Чехову тему для рассказов „Мертвое тело“, „На вскрытии“, „Сирена“» (Вокруг Чехова, стр. 141–142).

При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорватский язык.

Женское счастье

Впервые – «Осколки», 1885, № 37, 14 сентября (ценз. разр. 13 сентября), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 24–28.

При подготовке собрания сочинений рассказ был существенно выправлен. В речах персонажей опущены или заменены утрированно-юмористические и просторечные обороты, обычные для юмористических журналов («этим шлепохвостым», например, изменено на «этим шиньонам», «мужчинскому полу» на «мужскому полу»).

Л. Н. Толстой относил «Женское счастье» к числу лучших рассказов Чехова (письмо И. Л. Толстого к Чехову от 25 мая 1903 г. – т. III этого изд., стр. 537).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, польский, сербскохорватский и словацкий языки.

Кухарка женится

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 254, 16 сентября, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Рассказ). Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

В сборнике «Детвора», СПб., 1889, помещено с небольшими сокращениями и затем повторено без изменений в двух последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 19–24.

Правка этого рассказа, публиковавшегося при жизни Чехова девятнадцать раз, была небольшой. В первом издании «Пестрых рассказов» снят подзаголовок, во втором – юмористическая деталь («в разварной рыбе было найдено неизвестно как туда попавшее ушко от сапога»). В последующих изданиях (шестом и десятом) сделано несколько стилистических поправок.

Сокращения, сделанные в сборнике «Детвора», не были учтены в тексте собрания сочинений, в основу которого было положено последнее издание «Пестрых рассказов», исправленное лишь в двух местах: «экстраординарное» заменено на «необыкновенное» и «Альфа и омега кухни – кухарка Пелагея» на «Кухарка Пелагея».

Разбирая в своем критическом обозрении «Обо всем» рассказ «Кухарка женится», Л. Е. Оболенский отмечал «тонкую наблюдательность, удивительную вырисовку всех действующих лиц двумя-тремя штрихами или словами» («Русское богатство», 1886, № 12, стр. 172). «Хорошо удаются автору и очерки детской психологии», – заметил в

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru связи с этим рассказом К. Арсеньев («Беллетристы последнего времени». – «Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 770).

Л. Н. Толстой относил рассказ к числу лучших у Чехова (письмо И. Л. Толстого к Чехову от 25 мая 1903 г. – т. III этого изд., стр. 537).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, датский, венгерский, немецкий, польский, румынский, сербскохорватский и чешский языки.

Стена

Впервые – «Осколки», 1885, № 38, 21 сентября (ценз. разр. 20 сентября), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Включено без изменений в первое издание сборника «Пестрые рассказы».

Сохранилась журнальная вырезка с авторской пометой: «НВ. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 373–375.

При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорватский язык.

После бенефиса

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 261, 23 сентября, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с актерской пометой: «НВ. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

К свадебному Сезону

Впервые – «Осколки», 1885, № 39, 28 сентября (ценз. разр. 27 сентября), стр. 4–5. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

О 39-м номере «Осколков», где печаталась также «Записка» (см. ниже), Лейкин писал Чехову 26 сентября 1885 г.: «Сегодня на „Осколки“ обрушился сильный цензорский погром». Цензору «был нагоняй за то, что он пропускает слишком резкие статьи в „Осколках“ и именно за № 39 <...> Сам журнал еле уцелел». Далее Лейкин сообщал, что при этом погибли несколько строк из «последних мелочишек» Чехова (ГБЛ).

Для того же номера «Осколков» был набран, но запрещен цензурой рассказ Чехова. 26 сентября 1885 г. Лейкин писал Л. Н. Трефолеву: «Сейчас только получил от цензора корректуру № 39 „Осколков“, многоуважаемый Леонид Николаевич. Разгром полный: Чехова Антона рассказ зачеркнут, мой фельетон<ный> рассказ зачеркнут, „Осколки петерб<ургской> жизни“ Билибина в разных местах вымараны так, что еле смысл остался, два стихотворения Пальмина целиком пропали, у его политического стихотворения оторваны четыре последние строчки» (ЦГАЛИ, ф. 507, оп. 1, ед. хр. 201, л. 17).

Вероятно, это был рассказ «На чужбине», пропущенный для № 41 «Осколков» после повторного рассмотрения в цензурном комитете.

Записка

Впервые – «Осколки», 1885, № 39, 28 сентября (ценз. разр. 27 сентября), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Пародирование названий газет, книг, картин и т. д. – характерный и весьма распространенный прием юмористической журналистики, не однажды использованный Чеховым (например, «Мысли читателя газет и журналов», «Библиография» – т. II этого издания, стр. 14 и 17) и многими писателями малой прессы. В частности, «Записке» Чехова соответствует юмореска Ал. П. Чехова «Бабушкино наследство (Письмо управляющего из деревни)»:

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

«После покойной бабушки вашей Соломонины Петровны оставшиеся картины все покрадены, и оные мне пришлось отыскивать по разным местам, а именно <...>

7. Подвиг унтер-офицера Семенова в каморке у ключницы Федосьи <...>

8. Дедушка Иван Герасимыч, повешенный против окна без ног по пояс <...>

13. Апофеоз в конюшне греческого стиля...» («Будильник», 1885, № 30, стр. 361).

В юмореске упомянуты названия следующих русских газет и журналов:

«Стрекоза», «Нива», «Развлечение», «Шут», «Русский курьер», «Друг женщин»;

«Свет», «Заря», «Русский инвалид», «Сибирь», «Русская мысль», «Врач»;

«Техник» – иллюстрированный журнал, посвященный новостям и изобретениям по технике вообще и ее приложениям к жизни, промышленности, фабричному и заводскому делу и ремеслам»; выходил в Москве с 1882 по 1889 г., редактор-издатель М. П. Фабрициус;

«Странник» – «духовный учено-литературный журнал», издававшийся в Петербурге с 1860 г., в 1885 г. издатели-редакторы А. Васильков и А. Пономарев;

«Жизнь» – ежедневная политическая и литературная газета, издавалась в Москве в 1885 г.; изд. – Е. И. Погодина, ред. – Д. М. Погодин;

«Новь» – «общедоступный иллюстрированный двухнедельный вестник современной жизни, литературы, науки и прикладных знаний»; издавался в Петербурге с 1884 по 1898 г. А. М. Вольфом;

«Осколки» – художественно-литературный еженедельник; выходил в Петербурге с 1881 г. под ред. Н. А. Лейкина;

«Русский еврей» – еженедельник, выходил в Петербурге в 1879–1884 годах;

«Нувеллист» – музыкальный журнал для фортепиано; выходил в Петербурге с 1840 г. Основан музыкальным издателем М. И. Бернардом;

«Семья и школа» – ежемесячный педагогический журнал; издавался в Петербурге с 1871 по 1888 г. в двух частях: «Родителям и воспитателям» и «Семейное чтение. Иллюстрированный отдел для детей»;

«Пчелка» – еженедельная политическая, общественная и литературная газета; издавалась в Одессе с 1881 г.; изд. – В. В. Кирхнер, ред. – В. В. Навроцкий;

«Ваза» – «дамский журнал», издававшийся в Петербурге с 1831 по 1884 г.; в 80-е годы издательница С. Лепковская, издатель-редактор Б. И. Сестрженцевич-Богуш;

«Дело» – журнал литературно-политический; выходил в Петербурге с 1866 по 1888 г., являясь фактически продолжением журнала «Русское слово»; среди редакторов «Дела» в разные годы были Г. Е. Благосветлов, К. М. Станюкович, Н. В. Шелгунов.

Общее образование

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 268, 30 сентября, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

Врачебные советы

Впервые – «Будильник», 1885, № 39 (ценз. разр. 2 октября), стр. 469. Подпись: Врач без пациентов.

Печатается по журнальному тексту.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Мнения по поводу шляпной катастрофы
Впервые – «Будильник», 1885, № 39 (ценз. разр. 2 октября), стр. 469. Подпись:
Брат моего брата.

Печатается по журнальному тексту.

По установившемуся обычаю, русские зрительницы не снимали головных уборов во время театральных представлений; в сезон 1885/86 г. этот обычай был официально отменен. Газета «Русский курьер» сообщала также об «изгнании дамских шляп из Венского придворного театра» – 1885, № 251, 12 сентября.

Два газетчика

Впервые – «Осколки», 1885, № 40, 5 октября (ценз. разр. 4 октября), стр. 4.
Подпись: А. Чехонте.

Включено без изменений в первое издание «Пестрых рассказов».

Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 375–378.

Психопаты

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 275, 7 октября, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с пометой Чехова: «НВ. В полное собрание не войдет» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

На чужбине

Впервые – «Осколки», 1885, № 41, 12 октября (ценз. разр. 11 октября), стр. 4–5.
Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Невинные речи», М., 1887.

Напечатано во втором издании сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1891; включалось во все последующие издания сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 14–18.

Как сообщал 10 октября 1885 г. чехову Н. А. Лейкин, рассказ был запрещен цензором «Осколков» и пропущен лишь после повторного рассмотрения в цензурном комитете: «„На чужбине“ пропущено по определению комитета и ушло в № 41» (ГБЛ).

В сборник «Невинные речи» рассказ был отдан с тремя поправками (снята авторская ремарка «Какишев встает из-за стола и идет в комнату француза», восстановленная затем, в измененном виде, в собрании сочинений; «играться» изменено на «играть», «сцапают» на «сцарапают»). Для второго издания «Пестрых рассказов» текст был существенно выправлен: устранены черты характерного для «Осколков» грубоватого юмора (фамилия помещика Какишев изменена на Камышев и пр.).

При подготовке рассказа для собрания сочинений Чехов ограничился перестановкой слов в нескольких фразах и пунктуационными изменениями.

Л. Н. Толстой относил «На чужбине» к числу лучших рассказов Чехова (письмо И. Л. Толстого к Чехову от 25 мая 1903 г. – т. III этого изд., стр. 537).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, немецкий, польский, румынский, сербскохорватский, французский и чешский языки.

Циник

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 345, 16 декабря, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание «Пестрых рассказов».

В гранках сохранился текст под заглавием «Звери», посланный в «Осколки» и

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
запрещенный цензурой (ЦГИАЛ).

Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 162–166.

Рассказ был отослан Н. А. Лейкину в конце сентября или начале октября 1885 г. Представленный в гранках в Петербургский цензурный комитет, он был запрещен 9 октября 1885 г. На следующий день Лейкин сообщил Чехову: «Целый погром. Цензор всё захерил: и ваших „Зверей“, и стихи Трефолева, стихи Гиляровского, S обозрения Билибина, мой фельетонный рассказ <...> Я просил пропустить „Зверей“ и утверждал, что это невинный рассказ, но в комитете мне сказали: „Неужель мы не понимаем, что тут идет речь не о зверях!“... Корректуру „Зверей“ посылаю при сем. Рассказ у вас не пропадет. Перепишите его (непреренно перепишите) и пошлите в „Петербургскую газету“. Там напечатают. Рассказ невинен» (ГБЛ).

По мнению цензора, в рассказе «слышится какая-то пессимистическая тенденция, чувствуются тенденциозные намеки и смех на превратность судьбы не только малых, но и могущественных людей, на безвинные несчастья и страдания, на безнадежность побежденных, поработанных...». Цензор запретил рассказ, «имея в виду неопределенность тенденции и возможность понимать ее в дурную сторону» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 3, ед. хр. 97, лл. 183, 183 об., 184, 184а).

Отправляя рассказ в «Петербургскую газету», Чехов изменил заглавие на «Циник» и в ряде мест расширял текст: Сюсин, представляя зверей, всякий раз замечает, что они примирились с клеткой («Примирился», – добавлено о льве; «Да еще привыкнешь, примиришься! Мало того, что привыкнешь, но еще нам, мучителям твоим, руки лизать будешь! Хо-хо-хо...» – о дикой кошке). Стилистическая правка была невелика.

При подготовке для сборника «Пестрые рассказы» снят подзаголовок и сделано несколько поправок.

Индийский петух

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 282, 14 октября, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

Средство от запоя

Впервые – «Осколки», 1885, № 43, 26 октября (ценз. разр. 25 октября), стр. 4–5. Заглавие: Битая знаменитость, или Средство от запоя (Из актерской жизни). Подпись: А. Чехонте.

Включено под заглавием «Битая знаменитость» в сборник «Невинные речи», М., 1887.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 151–157.

Рассказ был отослан в «Осколки» 12 октября 1885 г. Н. А. Лейкину Чехов писал: «Рассказ немножко длинен, но он трактует об актерах, что в виду открытия сезона весьма кстати, и, как мне кажется, юмористичен».

В цензуре рассказ препятствий не встретил, но в «Осколках» был отложен в запас по причинам, изложенным в ответном письме Лейкина от 17–18 октября: «Рассказ Ваш „Битая знаменитость“ набран и пропущен цензурой, но как ни старался я его втиснуть в № 42 – никак не мог и оставил в запасе. Рассказ вышел 220 строк... а и весь номер – то 1000 строк – ну, ни мелочей, ни стихов и не входит в достаточном количестве» (ГБЛ).

Готовя рассказ для сборника «Невинные речи», Чехов изменил заглавие, снял подзаголовок и грубые обороты в речи Гребешкова; правка текста для собрания сочинений свелась к замене одного слова в начальной фразе (вместо «В город Дебелов» – «В город Д.») и к нескольким стилистическим уточнениям в авторском повествовании.

В рассказе отразились впечатления от таганрогских гастролей Иванова-Козельского

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru («А. П. Чехов. Сборник статей и материалов», Ростов-на-Дону, 1959, стр. 366).

При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорватский, словацкий и шведский языки.

Сонная одурь

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 289, 21 октября, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы» (СПб., 1886).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 96–100.

В сборнике «Пестрые рассказы» рассказ был дан без подзаголовка (другие мелкие отличия от газетного текста производят впечатление корректорских замен; в частности, в «Петербургской газете» было «чернилица» вместо «чернильница» – слово «чернилица» встречается в письмах Чехова начала 80-х годов). Для собрания сочинений рассказ был переписан заново. Чехов существенно сократил текст, опустив, в частности, ряд подробностей в характеристике жены и тещи, в описаниях домашнего быта, и провел сплошную стилистическую правку, последовательно устраняя иноязычные слова, искусственные обороты («варварское поломоиство») и нарочито неграмотные написания.

К. Арсеньев отнес «Сонную одурь» к числу лучших рассказов Чехова: «...всего выше поднимается он тогда, когда рисует душевное состояние, когда средоточием рассказа служит не „происшествие“, а момент – комический или трагический, это всё равно – из внутренней жизни человека. В „Сонной одури“, например, мы точно видим собственными глазами залу судебных заседаний, над которой царит безнадежная, непроходимая скука, – и для нас понятны смутные образы, навеваемые ею на дремлющего адвоката» (К. Арсеньев. Беллетристика последнего времени. – «Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 770).

При жизни Чехова рассказ был переведен на английский, болгарский и чешский языки.

Домашние средства

Впервые – «Осколки», 1885, № 49, 7 декабря (ценз. разр. 6 декабря), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Юмореска была написана между 12 и 20 октября 1885 г. и отправлена в «Осколки» вместе с «филологической заметкой» об октябре. О том, что «филологическая заметка» и «Домашние средства» были посланы в одном конверте (вероятно, около 15 октября 1885 г.), Лейкин узнал из не дошедшего до нас письма Чехова, на которое отвечал 31 октября 1885 г.: «Ни статьи „Об октябре“, ни „Домашние средства“ я не получал, стало быть, письмо пропало на почте или не было опущено Вашим посланным в почтовый ящик <...> Статью „Домашние средства“ прошу восстановить, если возможно, и выслать мне вновь, что же касается до „Октября“, то эту статью не посылайте» (ГБЛ).

Дорогая собака

Впервые – «Осколки», 1885, № 45, 9 ноября (ценз. разр. 8 ноября), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Невинные речи», М. 1887.

Перепечатано под заглавием «Собака» без авторского разрешения в журнале «Сверчок», 1889, № 1.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 163–165.

По-видимому, к рассказу «Дорогая собака» относится замечание Чехова в письме к Н. А. Лейкину: «Такие же вещи, как посылаемая, я пишу обыкновенно наотмашь».

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Отвечая на это не датированное Чеховым письмо, Лейкин сообщал: «Во вторник (22 октября) получил Ваш рассказ при записке без числа <...> Рассказ Ваш, присланный при записке без числа (забыл его название), пропущен цензурой» (ГБЛ).

В сборнике «Невинные речи» рассказ был помещен без исправлений, если не считать замены «Михаила Иваныча» на «Михаила Ивановича».

Перепечатка рассказа в начале 1889 г. журналом «Сверчок» вызвала протест Чехова. В его архиве сохранилось письмо издателя «Сверчка» М. Вернера от 16 января 1889 г.:

«Инцидент сей произошел вследствие легкомысленности моего метранпажа. К первому №-ру не хватило матерьяла; метранпаж прибегает ко мне с оригиналом (вырезкой из „Осколков“) „Дорогой собаки“ и заявляет, что этот рассказ не вошел в „Невинные речи“ и остался у него на руках. Ввиду того, что я приобрел у Вас право печати одним изданием данных Вами рассказов, я счел благовидным и возможным поместить „Собаку“ <...> Но едва было отпечатано 300 экземпляров для городских подписчиков, как брат Евгений заметил ошибку. Тогда мы вставили сноску, которую Вы найдете на прилагаемом экземпляре, и все остальные отпечатаны с него <...> Во всяком случае у меня не было ни малейшего помышления Вас оскорбить бесцеремонным поступком. Поступок Вам показался таким, потому что Вам попался случайно № без сноски» (ГБЛ).

Письмо Чехова к М. Вернеру по поводу «Дорогой собаки» не сохранилось.

Готовя текст для собрания сочинений, Чехов изменил фамилию персонажа (Дубов вместо Дубоносов), в разговоре поручика с собакой опустил фразу: «Дусецка... сельмоцка... ладость моя...» – и сделал несколько стилистических поправок, устранив, в частности, бранные слова и вульгаризмы. Вместе с тем, усиливая эмоциональную характерность речи раздосадованного поручика в конце рассказа, добавил: «Мерзкая собака! Отвратительная!», «п-п-подлая», «помесь дворняжки со свиньей».

При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, немецкий, польский, сербскохорватский, чешский и шведский языки.

Контрабас и флейта

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 296, 28 октября, стр. 3–4, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «НВ. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (Лит. музей А. П. Чехова, Таганрог).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

Руководство для желающих жениться

Впервые – «Осколки», 1885, № 44, 2 ноября (ценз. разр. 1 ноября), стр. 4. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Название и тема юморески перекликаются с «Руководством для мужчин, желающих вступить в брак» И. Грэка (В. В. Билибина; включено в его сборник «Любовь и смех», СПб., 1882, стр. 41–43).

Ниночка

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 303, 4 ноября, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «НВ. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

Тапер

Впервые – «Будильник», 1885, № 45 (ценз. разр. 14 ноября), стр. 535–536. Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание «Пестрых рассказов».

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (Лит. музей А. П. Чехова, Таганрог).

Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 266–271.

Как видно из письма Чехова к Н. А. Лейкину от 23 ноября 1885 г., рассказ «Тапер» был отдан в «Будильник» еще в октябре. Появление этого рассказа (и в особенности подписи «А. Чехонте») в конкурирующем журнале накануне новогодней подписки вызвало недовольство Лейкина. «Сегодня, получив № 45 „Будильника“, к несказанному моему удивлению и прискорбию увидел за Вашей подписью рассказ „Тапер“, – писал он Чехову 20–21 ноября 1885 г. – Целый год Вы не писали в „Будильник“ или по крайней мере не выставляли Вашей подписи, а перед самой подпиской Вас словно прорвало! В прошлом году было то же самое, Вы сунули на подкраску „Будильника“ и „Развлечения“ по два–три рассказа. А публика глупа. Видя раз Ваш рассказ в журнале, она может думать, что Вы и постоянно будете писать в нем <...> Своим появлением перед самой подпиской и во время подписки (в декабре и январе) в „Будильнике“ и „Развлечении“ Вы и Пальмин сделали то, что в 1885 году я утерял против 1884 года около четырехсот подписчиков» («Новый мир», 1940, № 2–3, стр. 380).

Отвечая издателю «Осколков», Чехов писал 23 ноября 1885 г.: «...почем я знаю, что „Будильник“ печатает меня теперь только потому, что теперь время подписки? Попросил он у меня рассказа, как всегда просит, я и дал, ничего не подозревая и не желая подозревать, тем более, что и летом я давал им рассказы, – летом, когда подписка и не снитя...»

Писатель

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 310, 11 ноября, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 212–216, с исправлением: большой запас чаев (стр. 210, строка 42) – вместо большой запас чая (по согласованию со словами: «продавать их»).

Для собрания сочинений Чехов снял подзаголовок и существенно выправил весь текст. Ввел прозвище «Гейним» для писателя, именовавшегося в первоначальном варианте «субъект» (пародийное имя «Гейним» придумано, по-видимому, Ал. П. Чеховым – таким обращением начинаются многие из его писем к Антону. – Письма Ал. Чехова, стр. 138, 169, 174 и след.); устранил неудачные остроты газетной прозы (например, «находился в самых интимных отношениях с европейской цивилизацией»); сократил текст рекламы, сняв рассуждение о «назойливых рекламистах» – «quasi-конкурентах»; заменил утрированно-комическое название чая «Ачхи-Прунды-Чха» на «Богдыханскую розу» (у Ал. П. Чехова в письме от 3 августа 1882 г.: «Великий визирь Джафар, прощаясь с Гарун-аль-Рашидом, говорил ту же самую фразу, какую и я пишу вам, т. е. „Ачхи-тпру-нды-чха!“» – Письма Ал. Чехова, стр. 71).

Рекламные трюки московских чаеоторговцев Чехов высмеял в «Осколках московской жизни» (1884, № 33, 18 августа).

При жизни Чехова рассказ был переведен на польский и словацкий языки.

Пересолил

Впервые – «Осколки», 1885, № 46, 16 ноября (ценз. разр. 15 ноября), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; перепечатывалось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 85–89.

Правка рассказа при переизданиях была небольшой. В «Пестрых рассказах» изменения были внесены в первом, втором, шестом, десятом и двенадцатом изданиях: опущено

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
сравнение «неподвижного, как соляной столб», иноязычное «комбинировать» заменено на «соединять», вычеркнуто слово «анафема». Готова текст для собрания сочинений, Чехов исправил лишь два слова в речи возницы («Дай ей только разбежаться» вместо «Дайте ей только разбежаться»; «не остановишь» вместо «не проймешь»).

Автор статьи «Беллетристы последнего времени» К. Арсеньев, безоговорочно осуждая «анекдотические» рассказы Чехова (например, «Орден», «Дочь Альбиона»), отмечал в то же время: «Очень недурны <...> рассказы: „У предводительши“, „Оба лучше“, „Пересолил“, „Комик“ <...> здесь источник комизма заключается в контрасте, не притянута за волосы, но вполне естественном и жизненном» («Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 769–770).

При жизни Чехова рассказ был переведен на английский, болгарский, венгерский, немецкий, польский, румынский, сербскохорватский, словацкий и чешский языки.

Без места

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 317, 18 ноября, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

Брак через 10–15 лет

Впервые – «Будильник», 1885, № 46 (ценз. разр. 21 ноября), стр. 552. Подпись: Брат моего брата.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по журнальному тексту.

Старость

Впервые – «Осколки», 1885, № 47, 23 ноября (ценз. разр. 22 ноября), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 183–188.

Рассказ был послан в «Осколки» 17 ноября 1885 г. Отвечая на письмо Чехова от этого числа, Лейкин сетовал по поводу того, что рассказ «Тапер» напечатан в «Будильнике», и упоминал «Старость»: «Отчего Вам было не прислать этого „Тапера“ в „Осколки“? Он тотчас же был <бы> в них напечатан без очереди, если бы Вы об этом попросили, был бы напечатан даже вместе с другим рассказом, „Старость“, и деньги за него были бы высланы даже авансом, если бы Вы того захотели» (20–21 ноября 1885 г. – «Новый мир», 1940, № 2–3, стр. 381).

В первое издание «Пестрых рассказов» рассказ вошел без изменений. Для второго издания сборника Чехов несколько сократил и выправил текст, устранив следы невзыскательного юмора той поры (опущено, например, название города – «Цирюльск», «вечно пьяная рожа» исправлено на «вечно пьяную физиономию» и т. д.). Несколько языковых поправок реализовано в десятом и двенадцатой изданиях сборника.

Готова текст для собрания сочинений, Чехов поправил лишь конец рассказа, устранив серьезный и несколько сентиментальный оттенок в описании грустного настроения Узелкова: сняты фраза «Остановившись около него <памятника>, он предался грусти» и заключительное рассуждение: «Старость! – думал он. – Одно удовольствие – слезы, да и те не текут».

Сопоставляя «Старость» с рассказом «В рождественскую ночь», К. Арсеньев писал: «В „Вербе“, в „Горе“, в „Старости“ меньше претензий, но психология автора остается до крайности элементарной и рассказ соприкасается, по временам, с

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru дневником происшествий» («Беллетристы последнего времени». – «Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 769).

При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, немецкий, румынский, сербскохорватский и финский языки.

Горе

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 324, 25 ноября, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Зимняя картинка). Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

В 1895 г. книгоиздательство И. Д. Сытина выпустило рассказ в дешевом издании: «Горе. Рассказ А. П. Чехова. Дележ. Рассказ Эж. Манюэля» (в 1897 г. – второе издание).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 189–195.

В первое издание «Пестрых рассказов» «Горе» было включено без подзаголовка и с небольшими поправками («поезжай» – вместо «езжай», «высокоблагородие» вместо «высокородие»). Для второго издания сборника Чехов несколько сократил текст, главным образом за счет слов автора о душевном состоянии Григория Петрова (снято: «Не менее также странно: откуда у него могла взяться такая нежность к старухе?»; «Сразу сознаться в том, что он видит истину, токарю страшно, и он старается дойти до сознания не прямо, а окольными путями»).

В сытинском сборничке, предназначенном для народного чтения, правка свелась в основном к замене иностранных слов русскими («энергия» – «силенка», «машинально» – «сам не знает что»), но в собрании сочинений эти замены не были учтены; Чехов взял для издания А. Ф. Маркса текст «Пестрых рассказов». При этом была сделана небольшая стилистическая правка, исключены три строки.

Критик Звенигородцев (псевдоним В. И. Покровского) писал: «В двух верстах от Воскресенска была Чикинская земская больница, которой заведовал известный тогда земский врач П. А. Архангельский <...> Скоро он <Чехов> близко сошелся с Архангельским, часто принимал у него больных, и вообще любил бывать в Чикине. Больница эта дала ему темы для многих его рассказов: „Хирургия“, „Горе“, „Беглец“» (сб. «Антон Павлович Чехов. Его жизнь и сочинения», М., 1907, стр. 7).

Прочитав рассказ, Л. И. Пальмин писал Чехову 27 ноября 1885 г.: «По-моему, это лучшее, что когда-нибудь Вы до сих пор писали. Странное впечатление производит этот полный жизненной правды очерк, становится и смешно и грустно. Тут, как и в народной жизни, смешное переплетается с мрачным. Жаль, что этот блестяще удавшийся Вам рассказец не поместили Вы в „Осколках“» (ГБЛ).

Рассказ был упомянут В. А. Гольцевым в статье «А. П. Чехов. Опыт литературной характеристики»: «...старый и пьяный токарь везет к доктору больную жену. Дорогой она умирает, и в душе токаря встает тяжелое раскаяние, глубокая жалость к заколоченной и замученной им женщине. Это душевное состояние передано Чеховым со свойственной ему силой, сжатостью и безыскусственностью» («Русская мысль», 1894, № 5, стр. 43).

Л. Н. Толстой относил «Горе» к числу лучших рассказов Чехова (письмо И. Л. Толстого к Чехову от 25 мая 1903 г. – т. III этого изд., стр. 537).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, немецкий, норвежский, сербскохорватский, словацкий, чешский и шведский языки.

Ну, публика!

Впервые – «Осколки», 1885, № 48, 30 ноября (ценз. разр. 29 ноября), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 80–84, с восстановлением по «Осколкам» и сб. «Пестрые рассказы» фразы: «Вы извольте подтвердить ваши доводы!» (стр. 236, строка 22), а также с исправлением: «Послушайте, г. обер-кондуктор!» (стр. 237, строка 38) – вместо: «Послушайте, обер-кондуктор!»

Правка рассказа при переизданиях выразилась лишь в замене и перестановке нескольких слов.

П. Краснов, автор статьи «Осенние беллетристы», отметил рассказ «Ну, публика!» в ряду ранних произведений Чехова, отобразивших «болезненное, чисто нервное беспокойство», которым «отличается современный человек». Рассмотрев в этой связи «Смерть чиновника», П. Краснов писал: «Того же нервного типа человек кондуктор Подтягин, тревожащий сонного пассажира один раз, чтобы спросить билет, другой раз, чтобы, приведя начальника станции, доказать пассажиру свое право будить его, а в третий, чтобы извиниться за причиненное беспокойство» («Труд», 1895, № 1, стр. 206).

Л. Н. Толстой относил рассказ к числу лучших у Чехова (письмо И. Л. Толстого к Чехову от 25 мая 1903 г. – т. III этого изд., стр. 537).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, немецкий, польский, румынский, сербскохорватский, словацкий и чешский языки.

Тряпка

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 331, 2 декабря, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «НВ. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

Моя беседа с Эдисоном

Впервые – «Осколки», 1885, № 49, 7 декабря (ценз. разр. 6 декабря), стр. 6–7. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Святая простота

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 338, 9 декабря, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «НВ. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

Эпизод с адвокатом, сыном священника, оплачивающим стоимость целого спектакля, имеет, по-видимому, реальный источник. М. П. Чехов вспоминал о том, как Ф. Н. Плевако, приехавший в провинциальный город для выступления на судебном процессе, уплатил сумму полного сбора (458 р. 50 к.) и смотрел спектакль с галерки, при совершенно пустом зале (Вокруг Чехова, стр. 121–123).

Шило в мешке

Впервые – «Осколки», 1885, № 50, 14 декабря (ценз. разр. 13 декабря), стр. 4–5, с подзаголовком: (Рассказ). Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 25–29.

В первом издании «Пестрых рассказов» Чехов снял подзаголовок и внес одно изменение в речь возницы («норовит мужика нанять» вместо «норовит мужика нанять»

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru и едет»). Во втором издании сделаны две поправки («последнего паршивца-писаря» исправлено на «последнего писаря», опущена фраза: «Молодчина, волк его заешь...»). При подготовке изд. А. Ф. Маркса, продолжая работать над речью возницы, Чехов ввел характерные диалектизмы: «увольнил» вместо «сменил», «принимать» вместо «принимать», «цельный день» вместо «целый день».

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, датский, немецкий, польский, румынский, сербскохорватский, финский и чешский языки.

Mari d'elle

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 347, 18 декабря, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

Антрепренер под диваном

Впервые – «Осколки», 1885, № 51, 21 декабря (ценз. разр. 20 декабря), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 244–247.

Для собрания сочинений рассказ был сокращен и существенно выправлен. Изменена фамилия актрисы, уменьшены суммы прибавок, которые обещает ей антрепренер, опущена финальная фраза: «И торжествующий антрепренер пошел дальше», текст освобожден от грубовато юмористических оборотов и вульгаризмов.

При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий, польский, сербскохорватский и чешский языки.

Восклицательный знак

Впервые – «Осколки», 1885, № 52, 28 декабря (ценз. разр. 27 декабря), стр. 4–5. Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 74–79.

При переизданиях правка была небольшой. В первом издании «Пестрых рассказов» изменена лишь одна фраза – видимо, ошибка первопечатного текста («написал он их тысячи» вместо «написал их тысячи»). Во втором издании Чехов опустил обороты, уместные в юмористическом журнале, но обычно устранившиеся при подготовке сборников (например, «как он ни жил в мозгах»). Небольшие поправки были внесены в шестом и десятом изданиях. При подготовке собрания сочинений изменены лишь два слова и восклицание «Машина!» переделано на «Пишущая машина!»

В статье «Осенние беллетристы» П. Краснов писал: «Чрезвычайно художественно выражено состояние нервного беспокойства в рассказе „Восклицательный знак“, в котором старый чиновник не спит ночь, стараясь припомнить, в каких случаях в казенных бумагах ставится этот знак препинания» («Труд», 1895, № 1, стр. 206).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, немецкий, польский, румынский, сербскохорватский и чешский языки.

Зеркало

Впервые – «Петербургская газета», 1885, № 358, 30 декабря, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 177–182.

В первом издании «Пестрых рассказов» был снят подзаголовок. Во втором издании сборника Чехов сократил рассказ и внес многочисленные поправки, в частности, снял фамилию героини и финальную фразу: «Идя спать, она уже не мечтает о замужестве». Впоследствии текст перепечатывался почти без изменений: при подготовке собрания сочинений заменены два иноязычных слова и опущена фраза: «Лучше тысячу раз остаться старой девой, чем хоть раз пережить такую ночь».

Ряженные

Впервые – «Петербургская газета», 1886, № 1, 1 января, стр. 2. Подпись: Рувер.

Печатается по тексту газеты.

Новогодние великомученики

Впервые – «Осколки», 1886, № 1, 4 января (ценз. разр. 3 января), стр. 5.
Подпись: А. Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

Рассказ был отправлен в «Осколки» 28 декабря 1885 г. Чехов писал Н. А. Лейкину: «Сегодня послан Вам не совсем удавшийся новогодний рассказ. Хотел написать покороче и испортил».

Шампанское

Впервые – «Осколки», 1886, № 1, 4 января (ценз. разр. 3 января), стр. 6.
Подпись: Человек без селезенки.

Сохранилась журнальная вырезка с авторской пометой: «НВ. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по журнальному тексту.

Визитные карточки

Впервые – «Осколки», 1886, № 1, 4 января (ценз. разр. 3 января), стр. 6.
Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Письма

Впервые – «Осколки», 1886, № 1, 4 января (ценз. разр. 3 января), стр. 7,
подпись: Рувер и Ревур; № 3, 18 января (ценз. разр. 17 января), стр. 6, без подписи.

Печатается по журнальному тексту.

Художество

Впервые – «Петербургская газета», 1886, № 5, 6 января, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Рассказ). Подпись: А. Чехонте.

Перепечатано в журнале «Наше время» (бесплатное приложение к «Петербургской газете»), СПб., 1899, № 52, стр. 420–422, с иллюстрациями худ. Ф. Козачинского.
Подпись: А. Чехов.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 130–136, с исправлением по «Петербургской газете» и журналу «Наше время»: Не вымерявши (стр. 287, строки 21–22) – вместо Не вымерявши.

Рассказ «Художество» Чехов не включил ни в один из своих сборников. Второй том собрания сочинений, куда вошел рассказ, увидел свет в 1900 г. В конце 1899 г., когда первый том марксовского издания был уже напечатан, редактор «Петербургской газеты» С. Н. Худеков попросил у Чехова разрешения на перепечатку в журнале «Наше время» опубликованного ранее рассказа: «Разрешите поместить Ваш рассказ, помещенный шесть лет тому назад Петербургской газете» (ГБЛ, телеграмма от 21

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru (ноября 1899 г.). Чехов ответил 25 ноября разрешением, попросив согласовать перепечатку с А. Ф. Марксом (название рассказа ни в телеграмме, ни в письме не обозначено).

Получив письмо Чехова, Худеков писал 1 декабря 1899 г.: «Спасибо Вам, дорогой Антон Павлович, за любезное разрешение. Маркс дал свое согласие на перепечатку в „Петербургской газете“ Вашего рассказа, не попавшего еще в полное собрание Ваших сочинений. Прибавьте или убавьте, но не откажите приложить к рассказу свою „резолюцию“ о том, что Вы не встречаете препятствий к напечатанию этого рассказа в „Петербургской газете“» (ГБЛ). Чехов, однако, всё еще не знал, о каком рассказе идет речь, и Худеков телеграфировал в Ялту 2 декабря 1899 г.: «Рассказ называется „Художество“. Помещен газете 1886 году. Корректуру выслал» (ГБЛ).

Можно думать, что первоначально Худеков намеревался перепечатать не «Художество», а другой рассказ, опубликованный в «Петербургской газете», как указано в первой телеграмме Чехову, именно шесть лет тому назад (в 1892 г.) – рассказ «Радость» («После театра»). Поэтому Худеков не сразу сообщил Чехову название рассказа. Возможно, свое первоначальное намерение он вынужден был изменить после переговоров с А. Ф. Марксом.

В корректуре Чехов снял подзаголовок, существенно выправил рассказ, сократив его и устранив, в частности, иноязычные и жаргонные слова («азарт», «chef d’oeuvre Сережки», «проект», «процессия», «филинуга» и т. д.). 27 декабря 1899 г. Худеков сообщил: «Иллюстрированный номер с Вашим рассказом вместе с сим посылаю» (ГБЛ).

Для собрания сочинений Чехов вновь просмотрел текст, внося в него несколько небольших стилистических поправок.

Ночь на кладбище
Впервые – «Сверчок», 1886, № 1, 8 января (ценз. разр. 7 января), стр. 3 и 6.
Подпись: А. Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

Рассказ Чехова появился в первом номере организованного в Москве нового юмористического журнала. Н. А. Лейкин, чрезвычайно ревниво относившийся к сотрудничеству Чехова в других изданиях, писал ему 13–14 февраля 1886 г.: «Ну-с, господин сотрудник „Сверчка“, скажите мне, если это не тайна, сколько вам заплатили за то, чтобы напечатать Ваш рассказ в № 1? Наверное уж не больше 20 р.? А я бы предложил Вам 50 р. только за то, чтобы этот рассказ не появился в № 1 „Сверчка“. Очень похвально подпирает своим плечом издание журналистов, которые начинают его вести с благословения Каткова» (ГБЛ).

В письме от 17 февраля Лейкин снова упрекал Чехова: «Но относительно того, что Вы вздумали благословить № 1 „Сверчка“ своим рассказом – просто удивляюсь» (там же).

Чехов отвечал 20 февраля 1886 г.: «Не пишите мне про „Сверчка“... Я дал Вам слово, что в декабре и в январе в Москве я не буду подписываться А. Чехонте... Памятуя об этом, я давал просящему Вернеру рассказ и, кроме гонорара, взял с него подчеркнутое честное слово, что он не выставит моего псевдонима... Но он не нашел нужным сдержать это слово...»

Обещание не появляться в московских журналах под псевдонимом А. Чехонте было дано 23 ноября 1885 г. (в этом письме Чехов отвечал на сетования Лейкина по поводу рассказа «Тапер», опубликованного в «Будильнике»).

Возможно, что намек Чехова в письме Лейкину от 12 января 1886 г.: «Ах, как меня надули! Впрочем, прежде чем Вы не начнете ругаться, я не скажу, в чем дело... Ужасно и подло надули!» – связан с издателем «Сверчка» Е. А. Вернером, поставившим «осколочный» псевдоним вопреки данному слову.

В письме к Чехову Е. Вернер утверждал, что «никаких честных слов не давал», заверяя в то же время Чехова: «...подписал так Вашу статью брат, который читал без меня корректуру и, следовательно, ничего не знал о Вашем желании» (январь 1886 г., ЦГАЛИ). Аналогичная путаница и ссылки братьев Вернеров друг на друга повторились в 1889 г. при перепечатке в «Сверчке» рассказа «Дорогая собака». Е.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Вернер в том же письме советовал: «Лейкину Вы можете написать, что этот рассказ у меня сохранился от старых матерьялов „Зрителя“, секретарем которого я был, и что я пустил его самовольно».

При жизни Чехова рассказ был переведен на словацкий язык.

Конкурс

Впервые – «Осколки», 1886, № 2, 11 января (ценз. разр. 10 января), стр. 3, под общим заглавием: От редакции. Без подписи. Повторено в № 7, 15 февраля (ценз. разр. 14 февраля), стр. 6. Без подписи.

Печатается по журнальному тексту.

В декабре 1885 г. Чехов гостил у Н. А. Лейкина в Петербурге. Во время этой встречи обсуждались способы оживить «Осколки», улучшить оформление журнала, поднять подписку. Чехов, в частности, предложил открыть новый отдел («Специальная почта „Осколков“») и попытался привлечь к работе в журнале А. И. Левитана. По возвращении в Москву он писал Лейкину 5 января 1886 г.:

«Шлю Вам всё, что успел выжать из своих мозговых полушарий, и даю отчет:

Левитану заказ передан с объяснением <...> Для оживления журнала будем сочинять открытые письма, вопросы, загадки, конкурсы... и всё это во вся тяжкая. Для образчика предлагаю Вам на обороте конкурс... Такие штуки любит читатель. У меня вышло шероховато, но если Билибин возьмет на себя труд перефразировать, то получится нечто более лучшее... Премированные ребусы уже заезжены, а конкурсов еще, кажется, кроме Вольфа, никто не начинал».

Лейкин отвечал 7 января 1886 г.: «За „Конкурс“ спасибо. Действительно, это понравится подписчикам. Жаль только, что приходится становиться à la „Стрекоза“ на шутовскую ногу, тогда как до сих пор я в юморе придерживался серьезного тона. Ну, да ничего» (ГБЛ). Конкурс был объявлен в № 2 «Осколков» от 11 января. Спустя месяц Лейкин сообщал Чехову: «Конкурс на любовное письмо, очевидно, не удался. До сих пор присланы только два безграмотные письма в стихах. Впрочем, подождем» (6–7 февраля 1886 г., там же).

Неудача

Впервые – «Осколки», 1886, № 2, 11 января (ценз. разр. 10 января), стр. 4. Заглавие: Сорвалось! Подпись: А. Чехонте.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 137–139.

Рассказ был отправлен в «Осколки», очевидно, 5 января 1886 г. Н. А. Лейкин писал Чехову 7 января: «Получил Ваше письмо с приложением оригинала для „Осколков“, добрейший Антон Павлович, и просто ужаснулся, не найдя в нем мелочишек, а только один рассказ. А между тем я рассчитывал, полагая сделать № 2 полуторным <...> Рассказы есть, но ведь одними рассказами нельзя наполнять номер» (ГБЛ).

Для собрания сочинений Чехов изменил заглавие и выправил текст, освободив его от грубоватого юмора (имя мамы Егоза Петровна исправлено на Клеопатра Петровна, фраза «Берите, лопаите!» – на «Берите, я побежден» и т. п.). Существенно изменен финал: вместо бойкой фразы «Всё погибло!» появился спокойный авторский рассказ о сконфуженных Пепловых и бежавшем учителе.

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий, польский, сербскохорватский, финский, чешский и шведский языки.

К сведению мужей

Впервые – «Красная газета», вечерний выпуск, 1927, № 294, 30 октября. Опубликовано по цензурным гранкам, сохранявшимся в архиве «Осколков». Подпись: А. Чехонте.

Печатается по тексту гранок (ЦГАЛИ, собрание Ю. Г. Оксмана).

Юмористическая «научная статья» была написана в начале января и предназначалась для журнала «Осколки» (Н. А. Лейкин предполагал поместить ее в № 3, 18 января

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru 1886 г.). Однако цензор П. Г. Сватковский, читавший гранки номера, отложил юмореску до заседания комитета, о чем Лейкин известил Чехова 16–17 января 1886 г.: «Сообщаю Вам нечто невероятное: цензор не решился пропустить Вашу статью „В предупреждение мужей“ и оставил ее до рассмотрения в полном собрании комитета, что значит на обыкновенном языке: статья для „Осколков“ погибла. Так мы это всегда решаем, ибо Сватковский, цензурующий „Осколки“, либеральнее во сто раз председателя комитета Кожухова и всех его катковцев, выписанных из Москвы и заседающих нынче в комитете. Что за причина, что статья не прошла – только руками развожу. Думаю, что не нашли ли там цинизма и сальности, которые теперь приказано цензорам строго преследовать» (ГБЛ).

На заседании цензурного комитета 22 января 1886 г. цензор Сватковский дал следующее заключение:

«Статья эта излагает в шутовском роде несколько способов покорения чужих жен. Несмотря однако на шутовской тон ее, по безнравственности самого предмета, неприличию сладострастных сцен и цинических намеков, цензор полагал бы к печати не допускать».

Комитет определил: «Согласно мнению цензора, статью, по неприличию и безнравственности содержания, к напечатанию не допускать» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 514, л. 38 об., 39).

На сохранившейся гранке канцелярская помета: «Журнал заседаний» 22 января 1886 г. Ст<атья> 5»; в тексте вычеркнуто красными чернилами: «но уехал муж ~ не говорить» (стр. 300, строки 20–21); «а нечаянно ~ лунной ночи» (стр. 300, строки 30–32); «Подаете милостыньку ~ ошеломляющих моментов» (стр. 302, строки 15–27); «и бедной женой ~ падает в пасть удава» (стр. 304–305, строки 18–11).

Об окончательном запрещении сообщил Чехову В. В. Билибин в письме от 22–23 января 1886 г.: «„Атаку–то жен“ цензор не пропустил! А?.. Так Вам и надо. А еще жениться собирается» (ГБЛ). Чехов отвечал шутовски 1 февраля 1886 г.: «Ваше злорадство по поводу запрещенной цензурой „Атаки на мужей“ делает Вам честь. Жму Вам руку».

«С прискорбием „души и тела“, – писал Чехову Лейкин 25–26 января 1886 г. – пересылаю Вам корректуру Вашей статейки „К сведению мужей“ <...> Статья у Вас не пропадет. Перепишите ее, пошлите в „Петербургскую газету“, и там она будет напечатана» («Новый мир», 1940, № 2–3, стр. 382).

Однако юмористическая «статья», по жанру своему вполне уместная в «Осколках», не годилась для «Петербургской газеты». Сюжетная основа заключительной части юморески была использована в рассказе «Удав и кролик», появившемся в «Петербургской газете» 20 апреля 1887 г.

Первый дебют

Впервые – «Петербургская газета», 1886, № 12, 13 января, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту «Петербургской газеты».

Сюжет рассказа Чехову предложил В. В. Билибин. 17 января 1886 г., когда рассказ был напечатан, он писал: «Вы, кажется, с моих слов написали в „Петербургской газете“ очерк насчет помощника присяжного поверенного. Одобряю, хотя краски немножко густы: таких наивных теперь мало» (ГБЛ).

У телефона

Впервые – «Будильник», 1886, № 3, 19 января (ценз. разр. 16 января), стр. 34. Подпись: Брат моего брата.

В архиве А. П. Чехова сохранилась писарская копия рассказа (ГБЛ).

Печатается по журнальному тексту.

Первые телефонные станции (ручного обслуживания) появились в России в 1882–1883

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru годах. В юмористических журналах тех лет часты насмешки над несовершенством нового вида связи. В журнале «Сверчок», например, появилось прямое подражание юмореске Чехова («На телефоне. С натуры». – «Сверчок», 1887, № 15, стр. 118, без подписи).

Детвора

Впервые – «Петербургская газета», 1886, № 19, 20 января, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Входило в сборник «Детвора», изд. А. С. Суворина (1–3), СПб., 1889–1895.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 10–16.

При переизданиях правка была совсем небольшой. В «Пестрых рассказах», как обычно, снят подзаголовок. По первому изданию сборника печатался рассказ и в «Детворе», с единственным отличием (вероятно, ошибка набора): «не подлог ли это» вместо «не подвох ли это». Несколько стилистических поправок было сделано в десятом и двенадцатом изданиях «Пестрых рассказов». Для собрания сочинений Чехов в одном месте изменил предлог, в другом – приставку и поправил одно слово: «к величайшему сожалению» вместо «к великому сожалению».

Материалом для рассказа, по-видимому, послужили наблюдения Чехова над детьми полковника Б. И. Маевского, командира расквартированной в Воскресенске артиллерийской батареи. У Маевского, свидетельствует М. П. Чехов, «были очаровательные дети – Аня, Соня и Алеша, с которыми сдружился мой брат Антон Павлович и описал их в рассказе „Детвора“» (Вокруг Чехова, стр. 133).

О рассказе «Детвора» с одобрением писал Н. Ладожский («Обещающее дарование». – «С.-Петербургские ведомости», 1886, № 167). Критик «Русского богатства» Л. Е. Оболенский отмечал: «Дети и детская душа выходят у г. Чехова поразительно» («Русское богатство», 1886, № 12, стр. 173). К. Арсеньев сопоставлял «Детвору» с рассказами «Агафья», «Ведьма», «Панихида»: «С психологией „простых людей“ близко соприкасается психология детского возраста – и в этой области г. Чехов также чувствует себя как дома» («Беллетристы последнего времени». – «Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 773). Выделил «Детвору» и П. Краснов в статье «Осенние беллетристы»: «...рассказы из быта детей г. Чехова вполне правдивы – дети в них не нарядные ангелочки, но и замараны, и жадны, и легкомысленны, и способны выводить взрослых из себя капризами и шалостями...» («Труд», 1895, № 1, стр. 208).

«Детвору» упомянул В. А. Гольцев, указав, что в рассказе «тонко подмечены черты детских характеров» (В. Гольцев. А. П. Чехов. Опыт литературной характеристики. – «Русская мысль», 1894, № 5, стр. 44). Позднее Гольцев написал статью «Дети и природа в рассказах А. П. Чехова» (изд. редакции журналов «Детское чтение» и «Педагогический листок», М., 1904).

Л. Н. Толстой относил «Детвору» к числу лучших рассказов Чехова (письмо И. Л. Толстого к Чехову от 25 мая 1903 г. – т. III этого издания, стр. 537).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, датский, немецкий, польский, румынский, сербскохорватский и чешский языки.

Открытие

Впервые – «Осколки», 1886, № 4, 25 января (ценз. разр. 24 января), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

Рассказ был послан в «Осколки» 19 января 1886 г. «Как ни старался <...> послать рассказ к понедельнику, но не успел, – писал Чехов в этот день Н. А. Лейкину. – Много всякой работы, да и не клеилось писанье. Шлю сейчас рассказ».

Самый большой город

Впервые – «Осколки», 1886, № 4, 25 января (ценз. разр. 24 января), стр. 6.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Подпись: Рувер.

Печатается по журнальному тексту.

В письме от 19 января 1886 г. Чехов обещал Н. А. Лейкину выслать «завтра», если успеет, мелочи «с курьерским». Очевидно, здесь имелся в виду и «Самый большой город».

Тоска

Впервые – «Петербургская газета», 1886, № 26, 27 января, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 201–207, с исправлением по «Петербургской газете» и сборнику «Пестрые рассказы»: сипенья (стр. 327, строка 16) – вместо сопенья.

При переизданиях правка рассказа была небольшой. Для второго издания сборника «Пестрые рассказы» Чехов изменил иноязычное слово «традиция» на «привычку», заменил «необходимость» – «нуждой» и опустил авторские обращения к читателю: «Одна боль всегда уменьшает другую. Наступите вы на хвост кошке, у которой болят зубы, и ей станет легче»; «Ничего ведь нет лучше, как выслушать человека».

В тексте собрания сочинений сделана единственная поправка. Фраза «гул уличной суматохи достигает своего forte» изменена: «уличная суматоха становится шумнее».

Пересказывая содержание «Тоски», Н. Ладожский в статье «Обещающее дарование» отметил: «Любимейшею темою г. Чехова служит развязка какой-нибудь большой закулисной драмы, о которой во всех ее деталях предоставляется судить самому читателю. Рассказ Чехова оставляет нас на последней сцене такой драмы или подчеркивает силу ее заключительного аккорда» («С.-Петербургские ведомости», 1886, № 167).

Л. Е. Оболенский в своем «критическом обозрении» подробно разбирал рассказ «Тоска» и в заключение писал о таланте Чехова: «Куда он ни посмотрит, везде для него является источник творчества: где мы с вами ничего не увидим, не поймем, не почувствуем, где для нас всё просто, обыденно, – там для него целое открытие <...> Что такое, что извозчик задумался и натывается на экипажи и прохожих? Пьян, верно, или глуп непроходимо, подумаем мы с вами. Но едва на всё это взглянет Чехов, перед ним раскрываются тайны, его любящее сердце видят за всем этим целую жизнь, которую умеет так понять, так полюбить, что и мы начинаем ее любить и понимать!» («Русское богатство», 1886, № 12, стр. 178).

К. Арсеньев отнес «Тоску» к числу рассказов, свободных от «анекдотического элемента» и поэтому значительных («Беллетристы последнего времени». – «Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 770).

Ал. П. Чехов вспоминал этот рассказ в 1892 г., когда у него тяжело болел маленький сын (Михаил Александрович, впоследствии знаменитый драматический артист). 4 апреля 1892 г. он писал: «Невольню вспоминаются слова твоего рассказа, где Иона говорит кобыле: „Был у тебя, скажем, жеребеночек и помер, и ты ему, скажем, – мать... Ведь жалко?“ Я, конечно, перевираю, но в этом месте твоего рассказа ты – бессмертен» (Письма Ал. Чехова, стр. 258).

Л. Н. Толстой относил «Тоску» к числу лучших рассказов Чехова (письмо И. Л. Толстого к Чехову от 25 мая 1903 г. – т. III этого изд., стр. 537).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, немецкий, сербскохорватский, словацкий, финский, французский и чешский языки.

Переполох

Впервые – «Петербургская газета», 1886, № 33, 3 февраля, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Отрывок из романа). Подпись: А. Чехонте.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 197–203.

При подготовке для собрания сочинений был снят подзаголовок, весь текст существенно выправлен и сокращен. Изменена фамилия героини (в первоначальном тексте – Поплавская), опущены подробности в описании дома Кушкиных, подчеркивавшие его богатство и пышность («Золоченое и устланное коврами антре глядело внушительно, сурово»), в портрете Кушкина устранены резкие авторские определения («тряпичное лицо», «жидкие волосы», «пьяненький, мочалистый человек»); существенно изменена характеристика героини: сняты ее негодующие реплики («Я... воровка! А? Тварь! Мерзкая! Гадина!»). Опущен рассказ Кушкина о жизни до женитьбы, но в реплике горничной добавлено: «Нас раздевали всех догола и обыскивали». В финале рассказа появилась фраза об отъезде гувернантки.

Л. Н. Толстой относил «Переполох» к числу лучших рассказов Чехова (письмо И. Л. Толстого к Чехову от 25 мая 1903 г. – т. III этого изд., стр. 537).

При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий, польский и сербскохорватский языки.

Беседа пьяного с трезвым чёртом
Впервые – «Осколки», 1886, № 6, 8 февраля (ценз. разр. 7 февраля), стр. 4–5.
Подпись: Человек без селезенки.

Сохранилась журнальная вырезка с авторской пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по журнальному тексту.

Рассказ находился у Н. А. Лейкина в запасе – он поставил его вместо не пропущенной цензором в № 6 «Анюты».

Анюта
Впервые – «Осколки», 1886, № 8, 22 февраля (ценз. разр. 21 февраля), стр. 4.
Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы» (СПб., 1886).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 149–154.

Рассказ был отослан в «Осколки» 3 февраля 1886 г. Чехов писал Н. А. Лейкину: «Шлю рассказ... В нем тронуты студиозы, но нелиберального ничего нет. Да и пора бросить церемониться».

Рассказ, однако, был задержан цензором. Лейкин сообщил Чехову 6–7 февраля: «Ваш рассказ, назначенный в № 6, не пропущен. „Анюта“ оставлена цензором до комитета, но это равносильно уже, что рассказ погиб для „Осколков“. Пуританство какое-то, непременно хотят, чтобы в рассказах не были люди, состоящие в внебрачном сожительстве, что ли? Чёрт знает что! Ужасно взбешен <...> Корректуру „Анюты“ пока не прилагаю. Завтра днем поеду к цензору и переговорю с ним» (ГБЛ).

Цензурный комитет пропустил «Анюту» с целым рядом купюр, о которых Лейкин сообщил Чехову 13–14 февраля 1886 г.: «Сейчас получил из цензурного комитета пакет с Вашим рассказом „Анюта“. Комитет пропустил его, но с пометками. Помарки заключаются в том, что затуманено внебрачное сожитие с Анютой студента, затуманено, что и раньше она жила с другими студентами. На мой взгляд, рассказ не очень испорчен и все-таки остался хорош <...> Корректуру рассказа „Анюта“ в неиспорченном виде при сем прилагаю» (ГБЛ).

Получив корректуру, Чехов писал 16 февраля: «Помарки в „Анюте“ действительно неважны. Благодарю, что выручили этот мой рассказ, – все-таки ведь движимое имущество!».

Гранки, посланные Чехову Лейкиным, не сохранились; однако набор для «Пестрых рассказов» производился с неиспорченного цензурой текста. Об этом 4 апреля 1886

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
г. Лейкин писал Чехову: «Дабы не прерывать работы, хочу давать набирать из „Осколков“ 1886 г. <...> но „Анюту“ не в испорченном цензором виде, а по первой корректуре, как статья была прислана в „Осколки“» (ГБЛ).

Для собрания сочинений Чехов переработал текст, сделал ряд сокращений и замен и провел сплошную стилистическую правку. Существенно изменен образ Анюты: в ее речах и портрете опущены подробности, подчеркивавшие бесхарактерность и забитость («живой манекен безропотно последовал за хрипевшим Флюсовым», «Я... я буду слушаться»); устранен один из персонажей – юрист Кликушин, его монолог переработан и передан художнику Фетисову (в первоначальном варианте – Флюсов); опущены натуралистические подробности в описании номера и вульгаризмы в речах персонажей. Финал рассказа написан заново.

Как видно из письма к Ю. О. Грюнбергу, рассказ был отправлен из Мелихова в Петербург 21 мая 1899 г. В письмах к А. Ф. Марксу от 25 сентября и к Грюнбергу от 21 октября 1899 г. Чехов просил поместить «Анюту» после рассказа «Белолобый». Эта просьба не была выполнена: «Анюта» напечатана в середине тома II, а «Белолобый» в томе III.

В рецензии на «Пестрые рассказы», опубликованной в журнале «Наблюдатель» без подписи, в целом недоброжелательной и поверхностной, «Анюта» отнесена к «десятку действительно замечательных очерков» («Наблюдатель», 1886, № 12, стр. 38).

«За этот рассказ, – писал В. В. Билибин Чехову 16 февраля 1886 г., – я приношу Вам самые глубокие похвалы: прекрасно!»

Позднее А. И. Богданович относил «Анюту», вместе с рассказом «Переполох», к числу тех, где «вся низость человеческой души выступает с особенной наглядностью» («Мир божий», 1900, № 11, стр. 93).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий, сербскохорватский и чешский языки.

Актерская гибель

Впервые – «Петербургская газета», 1886, № 40, 10 февраля, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 165–172, с исправлением по «Петербургской газете» и сб. «Пестрые рассказы» (ПР1–6): и падал в обморок (стр. 345, строка 9) – вместо и падать в обморок.

При переизданиях правка была небольшой. В первом издании «Пестрых рассказов» – три поправки, с характерной заменой «папашечки» и «мамашечки» – на «папашеньку» и «мамашеньку»; во втором издании Чехов изменил фамилию актера (Щипцов вместо Щипцов-Закоулкин) и в двух случаях снял просторечия.

При подготовке текста для собрания сочинений в конце рассказа была опущена фраза: «Жуков велел за жалованьем приходить» – и сделано несколько стилистических поправок.

При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий язык.

Панихида

Впервые – «Новое время», 1886, № 3581, 15 февраля, отдел «Субботники». Подпись: Ан. Чехов.

Включено в сборник «В сумерках», СПб., 1887; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 304–310.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Этим рассказом Чехов дебютировал в газете «Новое время», издававшейся в Петербурге А. С. Сувориным.

Посылая рассказ, Чехов подписал его своим обычным псевдонимом: А. Чехонте. Однако 14 февраля 1886 г. редакция газеты телеграммой запросила разрешения печатать рассказ под настоящей фамилией. По воспоминаниям А. С. Лазарева (Грузинского), «Чехов дал разрешение, но пожалел, что так вышло, так как думал напечатать кое-что в медицинских журналах и оставить свою фамилию для серьезных статей» (А. Грузинский. О Чехове. – «Русская правда», 1904, № 99).

Как видно из письма Чехова А. С. Суворину от 21 февраля 1886 г., конец «Панихиды» был отредактирован самим Сувориным: «Благодарю Вас за лестный отзыв о моих работах и за скорое напечатание рассказа <...> Ваше мнение о выброшенном конце моего рассказа я разделяю и благодарю за полезное указание. Работаю я уже шесть лет, но Вы первый, который не затруднился указанием и мотивировкой» (письмо А. С. Суворина, как и все другие письма его к Чехову, до нас не дошло).

На следующий день после опубликования рассказа В. В. Билибин писал Чехову: «Прочитал с удовольствием Ваш рассказ в „Новом времени“, только не нашел там „старой девы“, о которой Вы сообщали. Жду: верно будет еще» (ГБЛ).

При переизданиях правка рассказа была очень небольшой. Готовя текст для сборника «В сумерках», Чехов исключил одну фразу в речи купца («Сволочь места!»); потом сделал еще ряд поправок во втором, третьем и пятом изданиях. Начиная с пятого издания восклицание дочери-актрисы, приехавшей к отцу погостить: «Какие чудные у нас места!» – изменилось: «Какие чудные у вас места!» (так и в тексте изд. А. Ф. Маркса). По всей видимости, исправление сделано самим Чеховым. Для собрания сочинений Чехов поправил одно слово: вместо «шлендой-актерской» стало: «актрисой».

При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, немецкий, румынский, сербскохорватский и финский языки.

Глупый француз

Впервые – «Осколки», 1886, № 7, 15 февраля (ценз. разр. 14 февраля), стр. 4.
Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась журнальная вырезка с авторской пометой: «НВ. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по журнальному тексту.

Блины

Впервые – «Петербургская газета», 1886, № 49, 19 февраля, стр. 2. Подпись: Рувер.

Печатается по тексту газеты.

О бренности

Впервые – «Осколки», 1886, № 8, 22 февраля (ценз. разр. 21 февраля), стр. 6.
Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Персона

Впервые – «Осколки», 1886, № 9, 1 марта (ценз. разр. 28 февраля), стр. 4.
Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась журнальная вырезка с авторской пометой: «НВ. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по журнальному тексту.

Об этом рассказе Чехов сообщал Н. А. Лейкину 16 февраля 1886 г.: «Рассказ <...> который уже наполовину написан, пошлю с курьерским...» Но 20 февраля рассказ еще не был окончен: «Я вас надул, но вы простите... Так я утомлен, очумел и обалдел в последние недели две, что голова кругом ходит... В квартире у меня вечная толкотня, гам, музыка... В кабинете холодно... пациенты... и т. д. Недописанный

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
рассказ будет дописан и своевременно прислан...»

Поскольку Цензурный комитет разрешил, с купюрами, рассказ «Анюта», пошедший в № 8, срочность в новом рассказе отпала; отправленным, очевидно, не позднее 23–24 февраля, он успел к следующему номеру.

Иван Матвеич

Впервые – «Петербургская газета», 1886, № 60, 3 марта, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы» (СПб., 1886).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 340–346.

Для «Пестрых рассказов» Чехов, видимо, совсем не правил текст (были устранены лишь ошибки газетного набора: «расскажите» вместо «расскажете» и «бить ею» вместо «бить ей»).

Когда готовилось издание А. Ф. Маркса, литератор П. П. Перцов обратился к Чехову с письмом (24 марта 1899 г. – ГБЛ) от имени читателей. Он просил включить в собрание сочинений несколько рассказов, входивших в первое издание «Пестрых рассказов», но затем исключенных из сборника. В их числе был назван и «Иван Матвеич» («Очень хорош!»).

Готовя текст для собрания сочинений, Чехов сократил рассказ, изменил профессию персонажа (в первоначальном тексте «ученый» именовался «одним из достаточно известных русских писателей») и провел большую стилистическую правку.

М. П. Чехов вспоминал: «Самый герой этого рассказа, Иван Матвеич, списан с моего же брата Ивана, когда тот еще до поступления своего в учителя, нуждаясь в заработке, ходил через всю Москву к жившему тогда в Сокольниках писателю П. Д. Боборыкину записывать под его диктовку» (Вокруг Чехова, стр. 103).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий и сербскохорватский языки.

Ведьма

Впервые – «Новое время», 1886, № 3600, 8 марта, стр. 2, отдел «Субботники». Подпись: Ан. Чехов.

Включено в сборник «В сумерках», СПб., 1887; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

М. П. Чехов вспоминал, что недалеко от Бабкина «близ Дарагановского леса стояла одинокая Полевщинская церковь, всегда обращавшая на себя внимание писателя. В ней служили всего только один раз в год и по ночам до Бабкина долетали только унылые удары колокола, когда сторож звонил часы. Эта церковь, с ее домиком для сторожа, у самой почтовой дороги, кажется, дала Чехову мысль написать „Ведьму“ и „Недоброе дело“» (М. П. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923, стр. 34–35).

Судя по замечанию Чехова в письме к Д. В. Григоровичу от 28 марта 1886 г., «Ведьма» была написана за одни сутки.

Отправляя рассказ в «Новое время», Чехов писал 21 февраля 1886 г. А. С. Суворину: «На этот раз шлю рассказ, который ровно вдвое больше предыдущего и... боюсь, вдвое хуже...» (до «Ведьмы» в газете «Новое время» был напечатан рассказ «Панихида» – стр. 351 этого тома).

Однако опасения Чехова были напрасны. В письме от 6 марта 1886 г. Лейкин сообщал ему: «Рассказывал мне Суворин, что Вы прислали ему большую повесть. Хвалил» (ГБЛ).

После выхода «Нового времени» Чехов писал В. В. Билибину: «„Ведьма“ многим <...> не понравилась... Но что делать! Нет тем, да и чёрт толкает под руку такие штуки

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru писать...» Билибин отвечал 14 марта: «Говорят (НВ. Лейкин), что Суворину очень понравилась „Ведьма“ Ваша, что он просто в восторге. О себе этого не скажу. Прочитал я с истинным удовольствием по поводу мастерства, с которым написан рассказ. В нем много таланта. Описание природы превосходно. Но, я думаю, не вполне достойно употреблять талант на воспроизведение крайне чувственных картин, граничащих... с „заграничными картинками“ <...> „Реальность?“ А Тургенев не был разве реалистом? Так ли бы он написал эту тему? Я поклонник реализма, но меня коробит от описания грязных ног дьячка. Потом, рядом с такой реальностью – чисто фантастический элемент в образе дьячка, который серьезно считает свою жену ведьмой. Это не вяжется» (ГБЛ).

Ф. О. Шехтель писал Чехову 12 марта, что натуралистические подробности в описании дьячка «круче всякого золаизма» (ГБЛ).

Высоко оценил рассказ Д. В. Григорович, указав, однако, на те же погрешности: «Правдивость, реализм не только не исключают изящества, но выигрывают от последнего. Вы настолько сильно владеете формой и чувством пластики, что нет особой надобности говорить, например, о грязных ногах с вывороченными ногтями и о пупке у дьячка. Детали эти ровно ничего не прибавляют к художественной красоте описания, а только портят впечатление в глазах читателя со вкусом. Простите мне великодушно такие замечания; я решился их высказать потому только, что истинно верю в Ваш талант и желаю ему ото всей души полного развития и полного выражения» (письмо от 25 марта 1886 г. – Слово, сб. 2, стр. 200–201). В этот же день в письме к А. С. Суворину Григорович сообщил о Чехове: «Я сегодня написал ему длинное письмо. Думаю, оно будет ему приятно и не совсем бесполезно» (ЦГАЛИ).

Отвечая Д. В. Григоровичу, Чехов писал 28 марта 1886 г.: «Я с Вами во всем согласен. Циничности, на которые Вы мне указываете, я почувствовал сам, когда увидел „Ведьму“ в печати».

«Ведьму» другому рассказу – «Тина» противопоставила М. В. Киселева в письме 18 января 1887 г.: «Рассказ Ваш „Ведьма“ весьма реалистичен, но меня он подкупает правдой <...> Брезгливости во мне нет, что я и доказываю непритворным восхищением той самой „Ведьмой“, за которую Вас ругнули люди более меня компетентные, но и более чопорные. Вся обстановка в „Ведьме“, сама она, ее муж и приезжие изображены мастерски; читая, я могу, пожалуй, немного покраснеть, но сказать, что Вы солгали, – я не в состоянии» (ГБЛ).

Натуралистические подробности в портрете дьячка были опущены при подготовке сборника «В сумерках». Для собрания сочинений Чехов сделал всего две поправки: опустил иноязычное слово «ансамбль» и заменил глагол «езжай» на «поезжай».

Выход в свет сборника «В сумерках» вызвал противоречивые отзывы о рассказе.

Рецензент «Петербургской газеты» считал, что описание метели в рассказе «Ведьма» напоминает лучшие из описаний Диккенса: «Г-н Чехов несомненно поэт, хотя и пишет прозой, – более поэт, чем иные патентованные стихослагатели...» («Петербургская газета», 1887, № 248, 10 сентября).

А. М. Скабичевский писал: «По поводу первого сборника очерков г. Чехова („Пестрые рассказы“) в „Северном вестнике“ было уже упомянуто о том газетном много– и скорописании, которое не доведет талантливого автора до добра. Мы, может быть, уже присутствуем при начале исполнения этого печального предсказания. Взять хоть бы ту же „Ведьму“. Полежи она лишнюю неделю в письменном столе у автора, дай он себе потом труд перечитать ее с карандашом в руках, – и, конечно, гневные речи дьячка не резали бы ухо своим спокойствием и вместе деланностью» («Северный вестник», 1887, № 9, стр. 83).

По-видимому, подразумевая отзыв «Северного вестника», В. П. Буренин в духе обычных выпадов против передовой журналистики заметил в своей статье «Рассказы г. Чехова»: «При рутинных оценках и взглядах нашего журнального чиновничества, прохождение автором литературной службы не в аристократических департаментах, а в мелких канцеляриях журнализма вредило и вредит его карьере <...> Но что будешь делать: у нас издавна так повелось, что в литературе тоже существуют видные и не видные места, как на службе». Буренин вместе с тем отметил совершенство пейзажных описаний в «Ведьме»: «Из молодых беллетристов положительно никто не умеет рисовать так ярко и так тонко, так поэтически и вместе с тем такими

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru немногими штрихами и картины природы и самые разнообразные типы» («Новое время», 1887, № 4157, 25 сентября).

П. Краснов писал в связи с «Ведьмой» о чистоте нравственного чувства, свойственного Чехову, и в этом смысле противопоставлял его Мопассану: «В рассказах „Ведьма“ и „Бабы“ чрезмерная чувственность героинь является результатом их несчастья, и вообще нигде и никогда у Г. Чехова женская честь не рассматривается слегка... повсюду является она важным жизненным вопросом, и преступление против нее является несчастьем и влечет за собою глубокие последствия» (П. Краснов. Осенние беллетристы. – «Труд», 1895, № 1, стр. 205.). П. Краснов сравнил «Ведьму» с величайшими образцами русской классической литературы: «Завывания ветра, точно борьба двух начал, торжествующего, сердитого, и побежденного, жалобного, но злого, производят глубочайшее впечатление. Из прозаических описаний вьюги это лучшее, какое нам попадалось, и выше его мы можем поставить только тютчевское стихотворение „О чем ты воешь, ветер ночной“» (там же, стр. 209).

Л. Н. Толстой относил «Ведьму» к числу лучших рассказов Чехова (письмо И. Л. Толстого к Чехову от 25 мая 1903 г. – т. III этого изд., стр. 537).

При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий и чешский языки.

1
Давали «Синюю Бороду». – Оперетта «Синяя Борода», муз. Ж. Оффенбаха, по мотивам сказки Ш. Перро «Семь жен Синей Бороды» (русский текст Г. С. Вальяно и Г. А. Лишина), шла в Москве в театре М. В. Лентовского зимой 1885 г. (объявление в газете «Московский листок», 1885, № 20).

2
что вы хотите? (нем.)

3
что же вы хотите? (нем.)

4
что вы еще хотите? (нем.)

5
я хочу... (нем.)

6
Да! (нем.)

7
Иродиад... Ксантиппа... – По евангельской легенде, жестокая и развращенная внучка царя Ирода, Иродиада, добилась казни Иоанна Крестителя. Ксантиппа, по преданию, – злая жена древнегреческого философа Сократа.

8
Лодий, Чернов – актеры театра «Эрмитаж», принадлежавшего М. В. Лентовскому. П. А. Лодий (1855–1920), известный певец-тенор, исполнял роль Синей Бороды; А. Я. Чернов (р. 1858), певец-баритон; в 1876 г. пел на сцене Таганрогского театра.

9
я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.) Замечу кстати, что, учась в гимназии, я имел по-латыни всегда пятерки.

10
после первой брачной ночи (лат.)

11

ради удовольствия (франц.)

12

Тестов – владелец ресторана в Москве на Театральной площади.

13

...с романом Габорио... – Эмиль Габорио (1835– 1873) – французский писатель, автор «уголовных» романов («Господин Лекок» и др.), пользовавшихся сенсационным успехом. Упоминается в рассказе «Шведская спичка» (т. II, стр. 216).

14

...походов на беднягу Бобеша... – Король Бобеш, персонаж оперетты «Синяя Борода» (упоминается также в рассказе «Сапоги», стр. 9 этого тома).

15

Волей-неволей (лат.)

16

к праотцам (лат.)

17

...«Я вновь пред тобою...» – Романс на слова В. Красова. Вошел в популярный «Альбом золотых мотивов для любителей и любительниц пения». СПб., 1884, стр. 215.

18

...проглотила всех Боклей и Миллей... – Аналогичное упоминание Бокля и Милля – в томе III, стр. 478.

19

...«спасите нас, о неба херувимы»... – Цитата из «Гамлета» (акт I, сцена четвертая), в переводе А. Кронеберга, СПб., 1844.

20

Каломели два грана, сахару пять гран, десять порошков! (лат.)

21

Да! (нем.)

22

Ввиду пересмотра «Уложения о наказаниях»... – Проект нового уголовного уложения рассматривался комиссией под председательством статс-секретаря Фриша в конце 1884 – начале 1885 г. и деятельно обсуждался в газетах (например, «Русский курьер», 1885, № 16, 17 января).

23

Прудон – П.-Ж. Прудон (1809–1865), французский социолог и публицист.

24

...«Всемирную»... – «Всемирная иллюстрация», еженедельный журнал; выходил в Петербурге с 1869 г.

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

25

..Некрасов сказал, что в нашей судьбе что-то лежит роковое... – Цитата из стихотворения «В больнице» (1855).

26

Слава ~ яркая заплатка на грязном рубище слепца... – Перефразировка слов книгопродавца в стихотворении А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом»:

Что слава? – яркая заплатка
На ветхом рубище певца.

27

..в «Луче» статьи по еврейскому вопросу... – О журнале «Луч» и его издателе В. А. Окрейце.

28

«Месяц плывет по ночным небесам... ~ ветерочек чуть колышет»... – Начальные строки популярной серенады К. С. Шилковского и цыганской песни «Ветерочек» (вошла в «Альбом золотых мотивов для любителей и любительниц пения», СПб., 1884, стр. 272–273).

29

..серенаду Шуберта? ~ лети-ит с мольбо-о-о-ю»... – «Вечерняя серенада» Ф. Шуберта на стихи Л. Рельштаба (русский перевод Н. П. Огарева). Напечатана в том же альбоме, стр. 282.

30

Затихли ветерки, замолкли птичек хоры, и прилегли стада. – Цитата из басни И. А. Крылова «Осел и соловей».

31

Стояли мы под Ахалцыхом... – Грузинский город-крепость, находившийся под властью турок. В XIX веке России удалось отвоевать Ахалцых. Последние сражения происходили в ноябре 1853 г.

32

..причесан à la Капуль. – Жозеф Капуль (1839–1924), известный французский тенор, пел в Петербургской опере; пользовался большим успехом как певец и как законодатель мод.

33

Нынче в Англии перемена министерства... – О парламентском кризисе в Англии начиная с июня 1885 г. сообщали многие русские газеты; Гладстон вынужден был подать в отставку, новый кабинет возглавил Солсбери.

34

Огнегасительные средства Бабаева и Гардена... – «Изобретатель огнеупорного состава и разных из него изделий» Ф. Г. Бабаев рекламировал в московских газетах свою продукцию («Московский листок», 1885, № 17 и след.). В июне 1885 г. газеты рассказывали о следственном деле, возникшем по поводу изобретения крестьянина Бабаева и подделок его компаньонов («Новости и биржевая газета», 1885, № 157, 10 июня, № 165, 18 июня). Объявления об «огнеспасательных ручных гранатах» Гардена появились в «Московском листке», 1885, № 225, 15 августа.

35

Горелки пушкаревских свеч... – «Газовые свечи системы Пушкарева» рекламировались в различных газетах (например, «Московский листок», 1885, № 10): «горят без копоти и запаха, чистым ровным пламенем, от силы света двух стеариновых свечей до самого малого». Изобретенные в 1883 г., «пушкаревские свечи» упоминаются Чеховым

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru в «Осколках московской жизни» и в письме к И. П. Чехову, октябрь 1884 г.

36

Вариант этой песни имеется у Киреевского, выпуск седьмой, разряд третий, песнь одиннадцатая... – «Песни, собранные П. В. Киреевским» вышли в свет в 1861–1874 годах в 3 частях, десяти выпусках (2-е стереотипное изд. – 1868–1879). В рассказе Чехова ссылка носит пародийный характер: у Киреевского нет ни деления на разряды, ни нумерации песен.

37

...скопинского дела ~ за Сарру Беккер не возьмусь... – Относительно дела о банковской растрате в г. Скопине см. в т. I наст. изд. примеч. к стр. 450. Судебный процесс об убийстве ростовщиком Мироновичем тринадцатилетней Сарры Беккер слушался в С.-Петербургском окружном суде в 1884 г., по протесту прокурора был возобновлен и широко освещался в печати (например, большие статьи в газете «Русский курьер», 1885, № 47, 18 февраля, № 65, 8 марта).

38

Плевако бы осекся... – Ф. Н. Плевако (1843–1908), известный русский адвокат, блестящий оратор, участник многих уголовных процессов 80-х годов.

39

«Ненавидящие Сиона... посрамятся от господ»... – Пятый стих 128 псалма.

40

Белого Орла имеет... – Орден Белого орла – один из высших в Российской империи.

41

«Родное слово» – книга известного русского педагога К. Д. Ушинского (1824–1870), предназначенная для первоначального обучения; вышла впервые в 1864 г. и много раз переиздавалась.

42

извините (франц.)

43

как от Расплюева, ничего не добьетесь, кроме того, что земля черная, лес зеленый. – Имеется в виду сцена в комедии А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (д. третье, явл. III). 7 марта 1892 г., когда было куплено Мелихово, Чехов писал о самом себе А. А. Киселеву: «Я, как Расплюев, в сельском хозяйстве знаю только, что земля черная – и больше ничего».

44

сунуть в карман (франц. *empocher*).

45

...револьвер для «Блуждающих огней». – Мелодрама Л. Н. Антропова (1873).

46

...бедный Йорик... – Слова Гамлета в одноименной трагедии Шекспира (акт пятый, сцена I).

47

И Боткин доктор... – С. П. Боткин (1832–1889), знаменитый русский ученый, врач-терапевт.

48

Клеманс, Бланш и Анжелики. – Имена Клеманс и Бланш упомянуты ранее в сходном контексте в рассказе «Ворона» (1885, стр. 431 и 518 III тома).

49

Писали ~ о Цукки... – Знаменитая итальянская балерина Вирджиния Цукки (1847–1930) жила в 1885–1892 гг. в России, выступала в Мариинском театре. Фельетонист «Новостей и биржевой газеты» писал о ней: «Прелестна без сравнения воздушная сеньора Цукки со своими умопомрачительными „пуантами“ и очаровательной грацией» (1885, № 177, 30 июня). В «Петербургской газете» о выступлениях Цукки писал С. Н. Худеков, впоследствии посвятивший ей несколько страниц в своей книге «История танцев», ч. 3. П., 1915.

50

...Бисмарк бы в магометанскую веру перешел... – Отто фон Шёнгаузен Бисмарк (1815–1898), ставший после франко-прусской войны 1870–1871 гг. рейхсканцлером Германии.

51

Румелия – южно-болгарская провинция. Восточная Румелия объединилась с Болгарией после восстания в сентябре 1885 г. Известия о волнениях в Румелии появились в русских газетах задолго до переворота (например, «Русский курьер», 1885, № 147, 31 мая, и след.).

52

И Франция не утерпит ~ пять миллиардов! – По заключенному в 1871 г. Франкфуртскому мирному договору Франция уступила Германии Эльзас и Восточную Лотарингию и обязалась уплатить пять миллиардов франков контрибуции.

53

...в табакерку его чемерицы насыпать! – Чемерица – ядовитое болотное растение.

54

подойдите сюда (нем. kommen Sie her).

55

говорите ли вы по-немецки? (нем. sprechen Sie deutsch?). Цитата из «Мертвых душ» Гоголя (в сходном контексте употреблена в рассказе «Надлежащие меры», 1884).

56

...Испания насчет Каролинских островов... – В августе 1885 г. русские газеты сообщали о попытке германского правительства завладеть одним из Каролинских островов: «Официозные органы прямо заявляют, что если Германия не откажется от своего намерения занять эти острова, то Испания порвет с ней дипломатические отношения» («Новое время», 1885, № 3400, 16 августа). На эту же тему откликнулись и «Осколки» – «К вопросу о Каролинских островах (из испанско-немецкой политики)», 1885, № 36, 7 сентября, обложка.

57

...процесс Мироновича. – Упоминается в рассказе «Староста», стр. 116 и 482 этого тома.

58

Семенову и Безака? ~ Семенова сейчас созналась... – Семенова, бывшая сельская учительница, привлекавшаяся по делу Мироновича, признала себя виновной в убийстве девочки Сарры Беккер («Семенова созналась...» – «Новое время», 1885, № 3444, 29 сентября). Безак – один из обвиняемых по делу Мироновича.

59

...Карабчевский кружить начнет... – Н. П. Карабчевский (1851–1925), известный русский адвокат, выступавший на процессе.

60

...послать за гирей водолаза под Тучков мост! – Семенова объясняла на суде, что «гимнастическую гирю, которой она убила Сарру, она бросила в воду с Тучкова моста» («Новое время», там же).

61

...Ашанин... – Судебным следователем на процессе был Ашинов (не Ашанин).

62

Прокурор не соглашается с Эргардом, а Карабчевский с Сорокиным... – Эдгард и Сорокин – судебные эксперты, врачи.

63

...пошлют за Ивановским... – И. И. Ивановский (1807–1886) – профессор международного права в Петербургском университете.

64

это очень мило! (франц. *c'est tris joli*).

65

Спасибо немцам за то, что побили... – Подразумевается франко-прусская война 1870–1871 гг., закончившаяся поражением Франции.

66

То у вас Наполеон великий человек, то Гамбетта... Наполеон III Бонапарт (1808–1873) – император Франции; Леон Мишель Гамбетта (1838–1882) – лидер буржуазных республиканцев, бывший в 1881–1882 гг. премьер-министром и министром иностранных дел; создал «Лигу патриотов» и прослыл защитником национальных интересов Франции; отстаивал идеи реваншистской войны против Германии и союза с Россией.

67

Хорошо! (лат.)

68

...оставьте всякую надежду! – Данте. Божественная комедия, песнь 3, стих 9 (надпись у входа в ад).

69

идите сюда (франц. *venez ici*).

70

Да! (нем.)

71

...Ротшильда, барона Гинцбурга и Полякова... – Имеется в виду Лионель Ротшильд (1808–1879), бывший в течение многих лет финансовым агентом русского правительства, или его сын Натаниель, стоявший в 1880-х годах во главе лондонской биржи.

72

Мессалина и Нана. – Мессалина Валерия (I в. н. э.), третья жена римского императора Клавдия, отличавшаяся властолюбием, развращенностью и жестокостью; кокотка Нана – героиня романа Э. Золя.

73

Репетилов – персонаж комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

74

высочка (франц. parvenu)

75

невежа (франц. mauvais genre)

76

есть и пить (франц. manger et boire)

77

«Боккаччио» – Оперетта, муз. Ф. Зуппе (1819– 1895), либретто Ф. Целля и Р. Жене.

78

«Жених удивлен, или Невеста под корытом», рассказ Игривого Весельчака. – Намек на литературную продукцию Л. А. Фейгина, работавшего с 1883 г. в «Будильнике», «Новостях дня» и «Развлечении» под псевдонимом «Игривый поэт». Обычные темы его стихов и прозы – любовные похождения, супружеская неверность.

79

дядюшка... (франц.)

80

волей-неволей (лат.)

81

Тысяча извинений (франц.)

82

...похищать сабинянок. – По легенде, древние римляне похищали женщин из племени сабинян, поселившихся близ Рима.

83

Вход (франц. entrée)

84

...à Ta Генрих в Каноссе... – У ворот горного замка Каносса в 1077 г. германский император Генрих IV, отлученный папой римским Григорием VII от церкви, простоял три дня на коленях в одежде кающегося грешника, чтобы заслужить прощение.

85

А ведь счастье было так близко, так возможно! – Перефразировка стихов из «Евгения Онегина»: «А счастье было так возможно, так близко!..» (гл. восьмая, строфа XLVII).

86

Рассказы. Юморески. 1885–1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
...живую картину «Юдифь и Олоферн»... – По древнееврейской легенде, Юдифь, спасая жителей осажденного города, проникла в лагерь врагов, соблазнила ассирийского полководца Олоферна и, когда тот уснул, отрубила ему голову.

87

У нас бишопизм... – Бишопизм – от фамилии Бишоп. Бишоп, «всемирно известный чтец чужих мыслей», гастролировал в России в 1885 г. (объявление о «чрезвычайном сеансе» Бишоп в газете «Новости дня», 1885, № 290, 25 октября).

88

«А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!» – Не вполне точная цитата из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (действие первое, явл. I); у Гоголя – Ляпкина-Тяпкина.

89

Почему, например, Лентовский прогорел? – М. В. Лентовский основал в 1883 г. Новый драматический театр, просуществовавший два сезона: О крахе театра Лентовского газеты сообщили в августе 1885 г. («Новости и биржевая газета», № 239, 31 августа). «О дальнейшей судьбе антрепризы г. Лентовского в настоящее время сказать ничего нельзя, – отмечалось позднее в газете „Новое время“. – По его собственным заявлениям, он вошел было в компанию с г. г. Сетовым и Губониным, но кончилось тем, что его постарались удалить из этого тройного союза. Зимний („Новый“) театр перешел к г. Сетову...» («Новое время», 1885, № 3436, 21 сентября).

90

Сарду – Викторьен Сарду (1831–1908), французский драматург. Многие его водевили и комедии были переведены или переделаны для русской сцены.

91

Вольф – М. О. Вольф (1826–1883), основатель петербургской книгоиздательской и книготорговой фирмы.

92

...ухвати жена Пантефрия ~ у нее в руках осталась бы... – По библейской легенде, жена Пантефрия (Потифара), начальника стражи фараона, воспылала страстью к Иосифу, своему рабу, и, соблазняя его, сорвала с него одежды.

93

...Станислава третьей степени. – Орден св. Станислава имел три степени, третья – низшая.

94

...ложью и наглостью Гоморры... – По библейской легенде, города Содом и Гоморра за нечестивость жителей были уничтожены ливнем огня и серы.

95

...ищущий по свету, где оскорбленному есть чувству... – Перефразировка слов Чацкого из заключительного монолога («Горе от ума», действие IV, явл. 14).

96

между нами будь сказано (франц. *entre nous soit dit*)

97

«Живописное обозрение» – «живописное обозрение стран света», иллюстрированный еженедельный журнал; издавался в Петербурге Н. И. Зуевым в 1872–1905 годах.

98

...от г. Леухина... – Книгоиздатель.

99

Тогда, может быть, и курс совсем поднялся бы. – Падение курса рубля – следствие тяжелого экономического кризиса 1882–1886 годов. В 1885 г. о падении курса русских денег писали, например, «Новости дня» (1885, № 103» 17 апреля), «Русские ведомости» (1885, № 135, 19 мая). В 1885 г. для поднятия курса была введена дополнительная пошлина на ввозимые в Россию товары.

100

...хвалят у нас и г. Метцля... – Л. М. Метцль (Метцель) – владелец «центральной конторы объявлений в Москве» (объявление в газете «Московский листок», 1885, № 2), с 1884 г. – издатель журнала «Радуга»; в 1886–1888 годах издавал также ежемесячный литературный журнал «Эпоха».

101

Депре, Бауэр, Арабажи – марки вин.

102

Непременное условие (лат.)

103

Некрасов писатель был ~ показан его почерк. – Факсимиле автографа песни «Русь» (из поэмы «Кому на Руси жить хорошо») воспроизведено в посмертном издании «Стихотворения Н. А. Некрасова» (в четырех томах), т. I, СПб., 1879, и затем повторено в Полном собрании стихотворений в одном томе, СПб., 1884.

104

капля долбит камень не силою, но частым падением (лат.)

105

...влечение, род недуга... – Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», д. IV, явл. 4 (слова Репетилова, обращенные к Чацкому). У Грибоедова – «влечение».

106

донельзя, до крайних пределов (лат.)

107

Навозну кучу разрывая ~ жемчужное зерно... – Цитата из басни И. А. Крылова «Петух и жемчужное зерно».

108

...«пламя гаснущих свечей она улыбкой оживляла»... – Источник цитаты не установлен.

109

Кому повем печаль мою?.. – Начало духовного стиха «Плач Иосифа и былль»:

Кому повем печаль мою,
Кого призову к рыданию?
Токмо тебе, владыко мой,
Известна печаль моя.

(П. Бессонов. Калеки переходные, ч. I, М., 1861, стр. 187).

110

Извините (франц.)

111

...камеру с мышами и мокрицами ~ в какой сидела княжна Тараканова. – Так изображена княжна Тараканова на известной картине К. Д. Флавицкого (1864).

112

моя дорогая (франц.)

113

Всё понять, всё простить (франц.)

114

между нами будь сказано (франц. *entre nous soit dit*)

115

до ости лопатки (лат.)

116

...в «Князе Серебряном» Митьку играть. – Речь идет об инсценированной С. Добровым (Е. С. Попов) повести А. К. Толстого. Была поставлена впервые в Малом театре в сезон 1868/69 г. Митька – один из персонажей пьесы, добродушный увалень и силач.

117

первый любовник (франц.)

118

Чечевица Исава, казнь Содомы и бедствия маленького мальчика Иосифа... – Исав, по библейскому сказанию, старший из двух близнецов, родившихся у Ревекки, жены Исаака; за миску чечевичной похлебки он продал второму брату, Иакову, право первородства. Иосиф, младший сын и любимец Иакова, возбудил ненависть своих братьев; решив избавиться от Иосифа, братья продали его в рабство.

119

...консоме ~ пашотом... – бульон с яйцом (франц. *consommé* – крепкий бульон и *œuf rossié* – яйцо, сваренное в мешочек).

120

Извините (франц.)

121

с яйца, с момента возникновения... (лат.)

122

Недаром дьяволила! – «Хорошенькое словцо: баба дьяволит!» – подмечено Чеховым в 1885 г. (письмо к Н. А. Лейкину от 22 марта этого года).

123 ...Юдифь у ложа Олоферна. – Упоминается также в рассказе «Тряпка»

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://chekhovanton.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных

Рассказы. Юморески. 1885-1886. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!